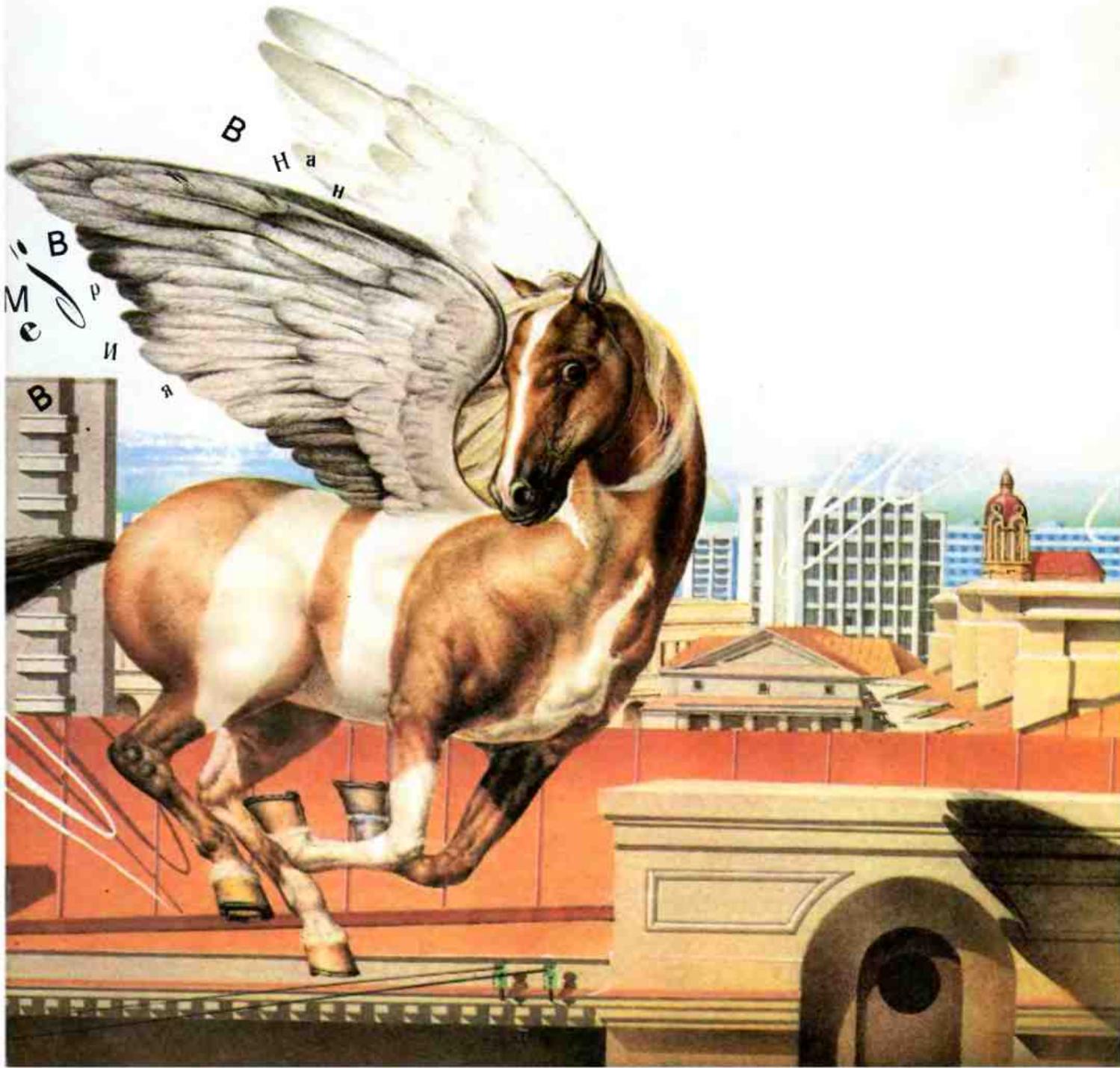
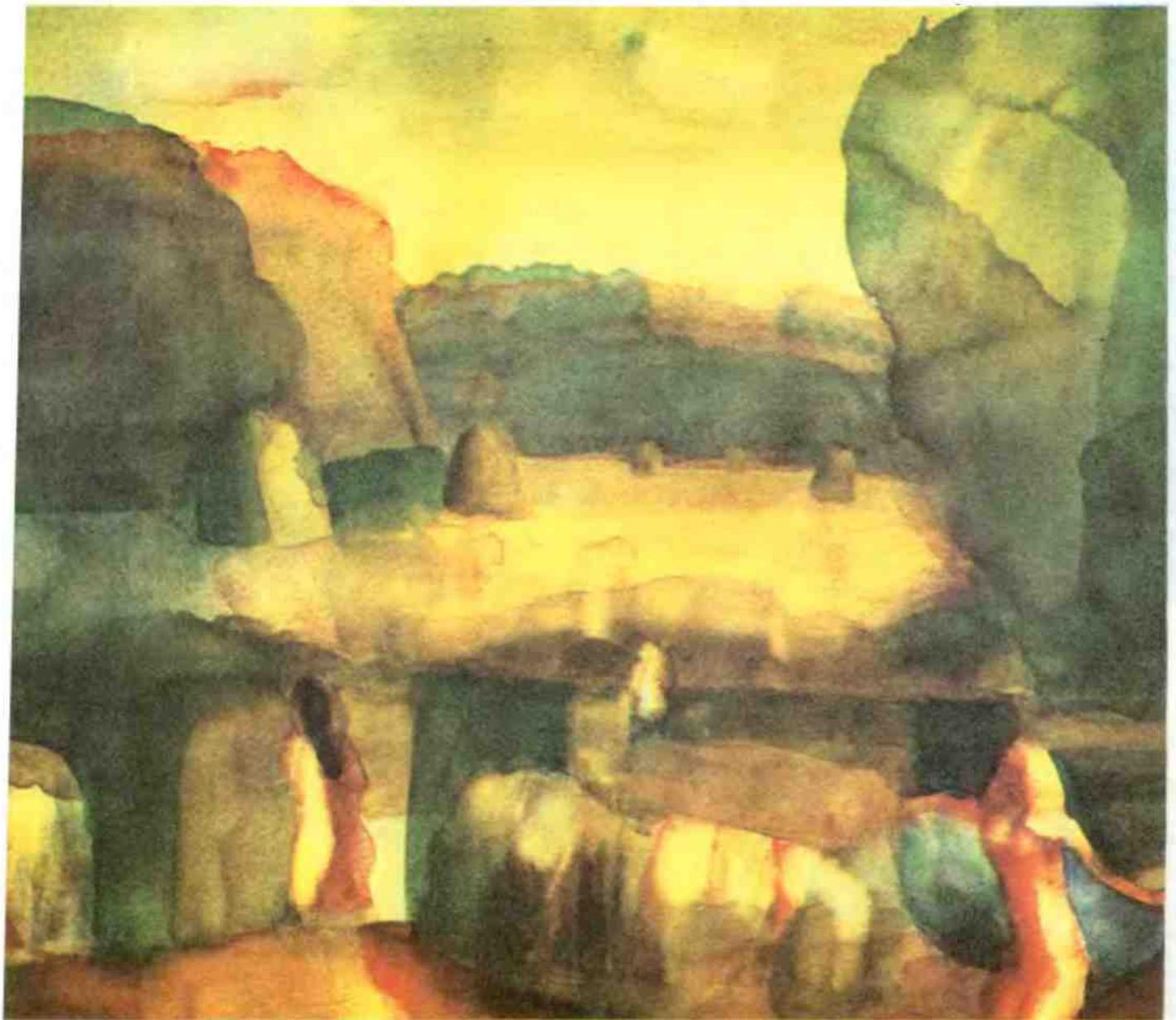


ЮНОСТЬ

ISSN 0132-2036

8 '88





З. ЛИТВИНОВА. г. Минск.

Август. Остывающий свет. Акварель.

ЮНОСТЬ

8

(399)

'88



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955 ГОДУ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:
Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Виктор ЛИПАТОВ
(заместитель главного редактора)
Игорь ОБРОСОВ
Мария ОЗЕРОВА
Виктор РОЗОВ
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Александр СЕРЕБРОВ
Евгений СИДОРОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ



Леонид
ЖУХОВИЦКИЙ

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ С ЭТОЙ МОЛОДЕЖЬЮ?

Проблема контакта

Человечество, по сути, глубоко провинциально: мы привыкли отсчитывать мир от своего Урюпинска или Крыжополя. Сейчас вот грезим инопланетянами, ждем гостей из далеких миров, очень серьезно обсуждаем проблему контакта — верней, Контакта с заглавной буквы. Научная фантастика идет просто косяком. И везде, хоть в книге, хоть в кино, проблема решается однотипно: вылезло из огромной тарелки симпатичное чудище в скафандре, задало случившемуся поблизости почтальону дядя Вася вопрос на непонятном наречии, дядя Вася возразил по-нашенски, а затем в ранце инопланетянина что-то хрустнуло, пискнуло, хрюкнуло (компьютер заработал!), и гость тоже заговорил по-нашенски, да еще с приятным крыжопольским акцентом. И правильно: хочет контакта — пусть выражается понятно. То есть как мы.

В общем-то проблема встречи делегации в скафандрах меня волнует во вторую очередь. А в первую тревожит контакт — Контакт! — иной...

Если судить по периодической печати — а она довольно точно улавливает потребность читателя, — наиболее популярный круг тем связан ныне с молодежью. Статьи о металлистах и люберах, юных наркоманах и рокерах просто из рук рвут, а валютные проститутки занимают на страницах прессы место не менее почетное, чем в более спокойные времена передовые доярки. Молодежной модой телевидение проправляет скучноватые передачи, как жесткое мясо шашлычным соусом. Молодежный жargon проникает в быт интеллектуалов: вечерами серьезные социологи спешат на тусовку, чтобы там, за чашкой чая, обсудить тусовки молодежи. Неологизм «неформал» прочно вошел в устную речь и быстро внедряется в письменную. Да и в моей почте все больше писем с одним, по сути, вопросом: что нынче за молодежь, чего они хотят, почему такие? И — как с ними разговаривать?

Увы, мы можем знать молодежь или не знать, понимать или не понимать, это, как говорится, наши сложности, но разговора с нею не избежать. Везде — дома и на улице, в цехе и аудитории, в магазине и на пляже — возникает множество ситуаций, когда интересы поколений так или иначе сталкиваются. Тут-то и необходим если не общий взгляд на вещи, то хотя бы общий, обоим собеседникам понятный язык. Проблема контакта. Контакта.

Активный пассив

А ведь совсем недавно все было так спокойно и хорошо. Главное — ясно. Вот вам комсомол, передовой отряд, вот сплотившаяся вокруг него активная, сознательная молодежь, вот, к сожалению, пассив, болото, социально инертная небольшая часть юношества, пока еще недоохваченная нашим влиянием. И как с этой болотистой категорией обращаться, тоже было ясно: по-дружески,

терпеливо вовлекать в общественную жизнь, изобретательней проводить лекции и политинформации, помогать им, отсталым, заполнить пустоту своего существования яркими, интересными делами...

И вдруг — словно граната взорвалась, брызнув в толпу яркими, опасными, непонятной формы осколками. Что случилось, где, почему? Суета, тревога, растерянность...

Стоило снять очков защитные фильтры, а с общественного мнения ограничительную узду, и оказалось, что болото вовсе не болото, что именно «пассив» наиболее самостоятелен и социально активен, что жизнь его вовсе не пуста, а, наоборот, заполнена нестандартными, трудными, рискованными и потому особо привлекательными делами. Выяснилось, что инертная, неорганизованная часть молодежи на самом деле прекрасно организована, сплочена — вот только сплочена не вокруг тех, кому из года в год, исправно или неисправно, но все же платит комсомольские взносы.

Кстати, поговорка, восходящая к классическим строчкам, нынче как бы изменила направление: сегодня комсомол, задрав штаны, бежит за неформалами, уговаривает работать вместе, предлагает помещения, деньги, помошь и защиту. Однако неформалы ко всем этим, в основном искренним и бескорыстным, призывам относятся проходя (вот тут — инертны!). Ибо, как правило (еще одна неожиданность), в жизни они совсем исплохо устроены: и кровом обеспечены, и не нищие, и великолепно защищены, и сами при желании могут кому угодно помочь — хоть бы и комсомолу! Вот только желание это возникает предельно редко. Да и в чем помочь-то? Помогать можно только в конкретном деле. А много ли таких дел у комсомола? Роль всеобщего помощника, не имеющего ни реальных прав, ни реальных обязанностей, ни, в силу этого, реальной ответственности, не тяжела, но и не слишком уважаема.

А неформалы, хороши ли они, плохи, умны или глупы, образованы или невежественны — по крайней мере самостоятельны. И умны по своей воле, и глупы не по приказу.

Говорят, у них нет ни целей, ни идеалов. Сомнительное утверждение! Люди без цели разве станут годами собираться вместе чуть ли не ежедневно? А цель предполагает идеал — хотя бы просто наилучший вариант собственного будущего.

Другое дело, что их цели и идеалы могут не совпадать с нашими, а то и впрямую противоречить им. Кстати, именно в этом сплошь и рядом обвиняют неформалов раздраженные взрослые, настаивающие, что все свои загадочные группы подростки создали по прямым указаниям «Би-би-си» и «Немецкой волны». Разумеется, на таком уровне мышления никакой контакт не получается (если не считать контактом обмен взаимными оскорблением).

Так что же это за странное явление? Что за организованный хаос? Как нам, взрослым, понять собственных детей? В духе нашей же научной фантастики мы все ждем, что вот сейчас что-то хрустнет, пискнет, хрюкнет, сработает некий внутренний компьютер, и странные молодые люди заговорят точно по-нашему, причем непременно с крикожопским акцентом. И все станет ясно: где недовоспитали, где перебаловали, какую гайку ослабить, а какую подкрутить. Боюсь, ожидания эти напрасны. Не заговорят! Ибо, во-первых, мало нуждаются в нашем понимании (иногда, наоборот, заинтересованы в непонимании), во-вторых, сами не столь уж хорошо понимают себя, а в-третьих, слишком часто не понимают нас: мы гадаем, что их тянет на тусовку, а они — что нас влечет на собрание...

Ну и что?

О неформалах известно довольно много. Известно, как стригутся, как одеваются, что поют и танцуют, какую музыку предпочитают и еще всякое разное. И облик их, и манеры, и танцы вызывают порой просто шок. И тянет предположить, что у людей, одетых и стриженных до такой степени не так, и все прочее должно быть тоже предельно не так. И по-человечески я могу понять коллегу, который требует пресечь рок-музыку, ибо она якобы толкает молодежь к бездуховности, наркомании и свободной любви. Но предположить наличие связи — еще не значит ее доказать.

В любой из наших столиц, в городах-миллионерах, в портах, на курортах, в областных центрах молодежная толпа яркая и разномикая. Но даже в этой толпе выделяются необычностью группы парней и девушек, порой сдважды переступивших подростковый возраст, порой уже вошедших

в зрелость. Попробуем всмотреться в них без предвзятости, учитывая только факты и отстраняя домыслы.

Вот идет парень лет двадцати, на шее у него цепочка из белого металла, на куртке — заклепки, а в правом ухе серьга. О чём это говорит? Если опираться на одни лишь факты — только о том, что на шее у него цепочка, на куртке заклепки, а в правом ухе серьга.

Нелепость, уродство, вызов? Не знаю. Может быть...

Но навстречу ему идет женщина лет сорока, почтенная во всех отношениях, мать семейства, член месткома и даже председатель кассы взаимопомощи. Разве придет нам в голову шальная идея объявить ее наркоманкой и жрицей свободной любви? А ведь у нее на шее тоже цепочка, да еще из желтого металла, а на блузке крупная брошка, а в ушах даже не одна, а целых две серьги!

Вот торопится к автобусу миловидная девушка, стриженная почти «под ноль». Зачем? С какой стати? Что она этим хочет сказать? Не знаю. Но вижу, как поблизости пересекает улицу колонна солдат, и каждый стрижен не почи, а вовсе «под ноль». Понимаю, у них на то есть причины. Но, может, и у нее есть причины?

Непривычное пугает. Когда почтенный гражданин, проходя по бульвару, видит на одной скамейке шестерых или восемьерых молодых людей, у каждого из которых на запястье нитка с бисером, он невольно убирает шаг: уж не затевают ли чего? Почему же его не страшат десять незнакомцев — у каждого на шее галстук! — которые закрываются на два часа в кабинете и велят никого не пускать? Уж эти-то точно что-то затевают!

Я не оправдываю крайности моды и не осуждаю их. Я просто предлагаю на них не сосредоточиваться. Ведь, уткнувшись глазом в блестящие заклепки или двухцветные волосы, можно проглядеть нечто гораздо более интересное и значительное. Серьга в ухе? Да, серьга в ухе. Ну и что?

Конечно, иногда в пестром мире неформалов происходят события, далеко не забавные: то скандал, то драка, то кое-что совсем уж страшное.

Недавно позвонила знакомая журналистка из республиканской столицы и рассказала о жутковатой истории, случившейся в их красивом и культурном городе. Раскрыто преступление, вернее, цепь преступлений, совершенных группой «металлистов», в основном ребят из ПТУ. Парни насилировали девушек. Технология мероприятия была по-современному проста: знакомство на улице, предложение съездить за город послушать музыку и повеселиться, короткое путешествие в ближние окрестности на чью-то дачу, стакан-другой для настроения, а дальше собственно «веселье», существенно выходившее за рамки предварительной договоренности.

Поскольку речь сейчас о преступниках, а не о жертвах, не будем задавать вопрос, почему юные красавицы так легко соглашались прямо в вечер знакомства на романтический загородный вояж. Хотя одна деталь в какой-то степени может послужить им оправданием: и знакомились с будущими потерпевшими, и предлагали путешествие с музыкой и весельем не парни, а девушки — девушки из той же «металлической» компании.

Обо всем этом кошмаре город только и говорит. Особых расхождений в оценках не наблюдается. Моя знакомая, которой журналистское удостоверение открыло двери следственной тюрьмы, солидарна с подавляющим большинством: дикарская музыка будет в человеске дикаря.

Полный невежда в сфере современных ритмов, я окотно принял бы это объяснение, такое простое и удобное. Увы, мешает другая история, произошедшая лет двадцать назад.

Тогда я приехал в воспитательную колонию, где за колючей оградой учились, работали, занимались в самодеятельности и с песней маршировали строем девчонки от четырнадцати до восемнадцати лет: и охотницы до чужого имущества, и хулиганки, и юные магдалины, уже познавшие все разновидности и группового, и корыстного секса. Там я, в частности, познакомился со стеснительной девушкой лет пятнадцати из большого уральского города. Спросил, за что попала. Покраснев, она ответила, что плохо себя вела. А заместитель начальника колонии сказал мне:

— Вы ее личное дело прочитайте. Просто Мопассан!

Я прочитал. Оказалось, что скромненькая девочка была в банде подростков от тринадцати до семнадцати лет, а руководила бандой тоже девушка, но постарше, лет восемнадцати. Любимым развлечением компании как раз и было заманивать в глухое место чужих девчонок и отдавать на забаву

своим парням. Причем, повторяю, происходило это в начале шестидесятых, когда о металлороке и смысли не было, а злонамеренные радиоволны перехватывались в эфире мощным улюлюканием глупилок.

Наверное, в каждом человеке есть жестокость, угрожающая ближнему, и совесть, оберегающая его. Не стану гадать, почему злое начало время от времени берет верх, — на анализ этой проблемы надо положить жизнь, и то без всякой гарантии на успех. Но выводить причины преступления целиком из музыкальных пристрастий нескольких подонков — это ведь тоже жестокость, ибо попутно мы шельмует сотни и сотни ни в чем не повинных людей. Вероятно, любая случайность достойна анализа, но без всяких оснований объяснять ее закономерностью — не стоит. Когда бухгалтер в поволжской деревне топором убивает тещу, мы ведь не говорим, что его до этого довела бухгалтерия...

Три вопроса

Явление современных неформалов ставит перед нами целый ряд парадоксальных проблем и вопросов, на которые, даже крепко подумав, непросто ответить.

В последние десятилетия в сфере потребления и организованного досуга бесспорно лидерство женщин. Тут даже исследований проводить не надо: загляните в театральный зал или в обувной отдел универмага. В пансионатах, домах отдыха, на турбазах женщины составляют стойкое большинство. Да и на дискотеках куда заметнее лучшая половина юного человечества.

А вот во всех неформальных группах, как в ордах древних кочевых завоевателей, — полная и безоговорочная гегемония мужчин. Конечно, и девушки присоединяются к движению, но позже — их место в обозе, у котлов. Они напоминают не столько добровольных спутниц, сколько полонянок, захваченных в разоренных городах, торопливо и невнимательно рассованных по походным гаремам и увлеченных нужим порывом, цель которого им непонятна, а направление неизвестно.

Мужская гегемония — почему?

Еще вопрос. Как бы энергично ни заявляло себя новое течение, какими бы привлекательными атрибутами ни обладало, как быстро ни завоевывало бы массовых сторонников, вершинный его период невелик: два-три года. А там уже новое воинство выходит на жизненное ристалище.

Конечно же, все течет, все изменяется — но почему так быстро? Чем объяснить эту калейдоскопичность? По какой причине, шумно отработав свои два-три раунда, покидают ринг общественного внимания сперва хиппи, потом футбольные фанаты, центровые ребята, караисты, панки... Почему металлисты, при мощной музыкальной поддержке стремительно прорвавшиеся к центральной арене, уже теснятся брейкерами, а у тех за спиной исподволь набирает вес и влияние таинственная «система»?

Каждый раз, когда возникает новое движение, мы, оправившись от первого шока, пытаемся его логично объяснить, чаще всего выводя ошеломляющую атрибутику из изменившихся жизненных условий. Так, недавно я был гостем минисимпозиума молодых московских психологов, где умненькая и симпатичная аспирантка Оля, позываявши шейной цепью, подробно объясняла, почему именно «металлизм» отвечает глубинным потребностям времени. Аргументы были убедительны: грохот эпохи требует и от музыки грохочущих ритмов, «металл» в наушниках плейера заглушает шум трамвая и метро, что имеет положительный медицинский эффект, и т. д. Молодая аспирантка даже привела цитату из сочинения какого-то человека, популярного в меломанских кругах: мол, металлисты видом и поведением как бы имитируют людей, уже переживших ядерную войну. Вот ведь какие молодцы — одной пяткой уже вступили в тревожное будущее!.. Я соглашался с Олей, но думал: а что она скажет через год-полтора, когда металлисты уйдут на периферию молодежной жизни и юные идеологи новых групп с неменьшей убедительностью докажут, что лязгающий век толкает людей к шепоту, что примета времени — флейта, или скрипка, или вообще молчание?

Эпоха велика, при известном старании к ней приложится любой аргумент, но ни звездный час гитары пятнадцать лет назад, ни торжество меди сегодня одними ее противоречивыми пожеланиями не объяснишь. Причины регулярной смеси пристрастий в молодежной среде требуют, пожалуй, иных толкований.

4

Может, просто меняется мода — надоедает одно, хочется другого? Но — и это третий вопрос, который встает перед любым внимательным наблюдателем: этот процесс лишен хоть сколько-нибудь разумной логики.

Длинноволосых и бородатых вытесняют стриженые и бритые? Ясно. Тихую музыку побеждает громкая? Обидно, однако вполне в рамках диалектики. Но как уловить скрытую пружину молодежных течений, если вместо песен под гитару подростками вдруг овладевает псевдофутбольный ажиотаж, не слишком даже нуждающийся в самой игре, а в столкновении с ним приходит, допустим, не столь же фанатичная страсть к бадминтону, а тяга к панкам с их грубой одеждой и зелено-розовыми всклокоченными волосами. Следующая волна неформалов будет аккуратна в одежде и стрижке? Как бы не так! Она объединится вокруг рок-групп с усиленной ролью меди. А вслед за металлистами придут, оттянув на себя общественное внимание, не отвергающие их путь музыканты и меломаны, а вовсе танцоры — брейкеры, которые сейчас как раз вошли в силу и славу. Ну, а с брейкерами, в свою очередь, конкурируют отнюдь не сторонники классического балета — их антагонисты, люберы, к танцам вообще равнодушны, зато умеют грамотно «дуть в челистях». Бессмыслица, мешанина, полный хаос!

Именно эта кричащая алогичность и раздражает больше всего, заставляя говорить о массовом безумии молодежи, о зловредном влиянии западных радиостанций, о духовном СПИДЕ и даже о закате подлинной культуры — ибо какую культуру сумеют унаследовать рокеры и брейкеры?

Однако нравственный суд над неформалами страдает целим рядом недостатков, начиная с процессуальных. Прокуроров полно, но адвокатов не видно, а подсудимые, похоже, в зал заседаний вообще не заглядывают по причине крайней занятости: то слушают металлорок, то танцуют брейк, то гоняют на мотоциклах, то просто «гусуются» как бог на душу положит. Главный же недостаток процедур, на мой взгляд, состоит в том, что в суд пошло дело, даже минимально не расследованное. Прежде чем судить о мере вины неформалов, да и просто о наличии вины, надо как минимум разобраться в мотивах их странного поведения.

Три ответа

Пожалуй, хватит вопросов — пора переходить к ответам.

Итак, почему все неформальные объединения, так будоражащие общественность, в основном мужские и уж, во всяком случае, функционируют при безоговорочном мужском лидерстве? Очевидно, потому, что проблемы, которые они призваны решить, — мужские. Это парни объединяются. Жизнь толкает их друг к другу: в одиночку со своими заботами не справиться, а, кроме как на сверстника и приятеля, опереться не на кого.

Что за заботы? Мы почему-то с порога подозреваем, что пополнования юного акселерата непременно антисоциальны. А они в большинстве случаев естественны, просты и полностью правомерны. Парню хочется в принципе того же, что и любому из нас: завести друга, компанию, которая обеспечивает общение и хотя бы минимальную защиту, найти девушку (желание вполне оправданное!) и, наконец, самоутвердиться. То есть как бы узаконить в глазах окружающих сам факт своего пребывания на земле.

Короче — парню хочется стать мужчиной. Благородное и своеевременное стремление! Кто-нибудь против?

Против никого, все — за.

Но вот вам конкретная ситуация. По улице идет шестнадцатилетний мальчик, не слишком красивый, особыми талантами не отмеченный, зато вежливый, скромный, не броско, но чисто одетый, постриженный без претензий. Что вы о нем скажете?

Да ничего вы о нем не скажете! Потому что просто его не заметите. И ровесники не заметят. И девочки, что вовсе уж обидно. Ибо главное его достоинство как раз в том и состоит, что он нам не мешает, не требует ни времени, ни сил, ни денег, ни умственного напряжения. Не отличник, но зато и не двоечник, не активист, но и не хулиган, не модник, но и не оборванец. Прекрасный молодой человек, побольше бы таких. И живет рядом, и словно бы не существует. Очень удобный мальчик.

Только это ведь нам с ним удобно. А ему, как бы не существовавшему, каково?

Девочка в шестнадцать лет — юная королева. Перед ней одна за другой распахиваются самые заманчивые жизненные

двери. На нее обращают внимание двадцатилетние, а то и двадцатипятилетние парни, она кокетничает со всеми по-дядя, жизнь набирает высоту, словно самолет на взлете. А парень в те же годы? Для него это возраст комплексов, косноязычия и прыщей. У него, как выразилась одна юная знакомая, ни кожи, ни рожи, ни имени.

Но стоит надеть на шею железную цепь, а на запястье железный браслет, а на куртку прикрепить десяток железных блямб — и жизнь в корне меняется. Теперь он не мальчик без имени и лица — теперь он «металлист». И незнакомые парни, категорно звеня цепями, на улице подходят как к своему. И взрослые обрачиваются с интересом и страхом. И девочки сгорают от любопытства и жаждут познакомиться. Всем кажется, что человек, на котором столько железа, и живет не так, как мы, а лучше, рискованней, азартней. О нем пишут в газетах, говорят «по телеку». При таком количестве черного металла даже в желтом металле особой необходимости нет: и без того в центре внимания.

Словом, нехитрый маскарад позволяет подростку решить целую кучу личных проблем, в том числе и самую важную: окружающее человечество безоговорочно признает факт его существования на земле.

Становится ли он мужчиной в результате всех этих метаморфоз? Да нет, конечно. Но его словно бы берут на должность мужчины, как техника на инженерную ставку. И то хлеб!

Появление новых неформальных объединений каждые два-три года тоже объясняется вполне понятными практическими причинами. В основном одной: на жизненное ристалище выходит новое поколение.

Это только нам, взрослым, кажется, что зеленый клок волос или серьга в ухе — наглый вызов именно нам. Да, конечно, и нам тоже, но в последнюю очередь. Ибо главный недруг и конкурент пятнадцатилетнего Васи не родитель и не учитель, а восемнадцатилетний Петя, плечистый, самоуверенный нахал, принадлежащий к группе неформалов, стоящей в центре общественного интереса. Петя, который и одет броско, и взрослыми, хоть и нехотя, признан, и напропалую гуляет с Васиними ровесницами — словом, начисто вытесняет Васю со всех лакомых пастищ, как вожак оленевого стада молодого самца.

Что делать Васе? Примкнуть к Петиной неформальной команде в бесперспективной роли последнего в строю?

Так что для пятнадцати-шестнадцатилетнего парня новое неформальное течение не забава, а необходимость. В чужом доме все квартиры заселены, кроме разве что дворницеей, — значит, надо строить свой дом. Вася и строит.

А почему столь хаотична смена пристрастий, почему после музыки — стрижка, а потом танец, а потом гоняют на мотоциклах, а потом нитка на запястье и манера жить? Да просто потому, что все это не имеет значения. Новому поколению нужен новый фирменный знак, новый флагшток, новый клич, на который сбегутся сторонники. Главное, чтобы знак был заметный, а флаг яркий, а клич громкий. Робкий вызов просто не заметят, ношеную перчатку не поднимут. «Металл» — годится, брейк — годится, зеленые волосы — в самый раз!

Разумеется, подростки не собираются раз в три года на некую конференцию для выработки новой идеи и униформы. Просто из циркулирующих в обществе разнородных идей какая-то начинает одерживать верх, а там уж срабатывает закон толпы, и новобранцы собираются именно под победное знамя. Как в универмаге: где очередь — туда и бегут.

Что останется?

Говорят, что любое неформальное молодежное движение — просто мода и, как всякая мода, быстро проходит. Словно пена морская: вздулась, опала, и нет ее, как и не было, одна ровная поверхность. Или эволюция прически: отпустили волосы, потом сбрали — вот и весь результат.

Вспомним для начала смешных, жалких, со всех сторон пинаемых «стиля» — любимых героев сатиры начала пятидесятых. Что осталось от их зеленых шляп, кричащих-пестрых галстуков, желтых туфель на толстой микропоре?

А ведь осталось! Стремление к яркости, даже наивное до анекдотичности, принесло пользу, помогло расшатать серый

стереотип. И сегодняшняя московская, ленинградская, ростовская толпа украшает улицы, как парижская или варшавская. И, готовясь в зарубежный вояж, наш отечественный турист уже не мечтается в панике по городу в поисках «выездного» костюма — спокойно надевает тот, что висит в шкафу.

А романтическая волна «бардизма-менестрелизма»? Как же возмущала она чиновников шестидесятых годов полной своей неподконтрольностью! Уличную песню нельзя было ни запретить, ни, что еще обидней, разрешить: фольклор космической эры переходил из уст в уста, с гитары на гитару, с кассеты на кассету, и просто некуда было влепить даже благожелательный штамп...

Мода ушла, а как много осталось! И дело не только в том, что поющая молодежь выучила наизусть и разнесла по огромной стране удивительные стихи Булата Окуджавы, не только в том, что сохранила и передала сильно запоздавшим издателям сотни песен Владимира Высоцкого. Самодеятельная песня (этот хитроумный термин в конце концов кое-как примирил культуру с руководителями культуры) невольной, но жесткой конкуренцией заставила и профессиональную песню резко поднять планку — «Ландыши, ландыши, светлого мая привет» нынче уже не споешь...

А хиппи «первого призыва», элегантные неряхи обоего пола, длинноволосые оборванцы в джинсах, демонстративно заштопанных белыми нитками, поднявшие над страной своей толпой беззащитный лозунг «Любовь, а не война»? Сколько практической пользы принесли человечеству эти предельно непрактичные неформалы! Ведь совсем недавно на собрании, в театре, даже на дружеской вечеринке мы обязаны были походить друг на друга, как униформисты в цирке: черный костюм, черные ботинки, белая рубашка, черный галстук. А нынче доктор наук встречает зарубежного коллегу в старом свитере и нисколько по этому поводу не комплектует, ибо зарубежный коллега скорей всего сам явится в старой куртке. Из века в век драные локти считались позором. И только интеллектуальные оборванцы послевоенной эпохи освободили нас от рабства перед собственным пиджаком.

Самым любопытным из сегодняшних неформальных объединений мне кажется «Система». Кто эти ребята? Последние хиппи, арьергард, далеко отставший от основных сил, чудаки, прибывшие в зал как раз к концу спектакля, к гаснущим огням и печальному разъезду? Похоже на то.

Но, пожалуй, есть в них и нечто новое: нитка с бисером на запястье, «феня». Зачем она?

Опознавательный знак. Чтобы свой узнал своего. Чтобы помог нуждающемуся или сам получил помощь. Словом, система. Что-то вроде кассы взаимопомощи, только денег в той кассе, как правило, нет.

Впрочем, новые хиппи, как и их предшественники, пытаются убедить человечество, что для счастья много денег не надо: были бы понимание, доброта и любовь.

Все изложенное выше — это, конечно, в идеальном варианте. С ниткой на запястье ходят и бездельники, и циничные попрошайки, и наркоманы. Но что делать, если у всякой идеи не только свои вершины, но и свои бездны?

В «Системе» особенно откровенно и наглядно выражена главная цель всех неформальных объединений: взаимная поддержка. И ясно видно, что неформалы решают, по сути, те же проблемы, что и мы, взрослые, но по-своему. Что вполне оправданно — ибо решать проблемы по-нашему у них возможности нет.

Скажем, я еду по своим делам в Ригу или Новосибирск. Еду и не слишком беспокоюсь о крыше над головой: приду в таможенный Союз писателей, попрошу помочь — уж куданибудь да устроят, на улице не останусь. И с обратным билетом пособят. Вообще, позабоятся. Я им, правда, не брат и не сват, но ведь Союз писателей на то и существует, чтобы помогать писателям.

А инженер — ему как? Ведь Союза инженеров нет. Но он тоже найдет выход. Скажем, металлург первым делом выяснит, есть ли в городе металлургический завод. И туда: выручайте, коллеги, я из вашей системы... Да что там, мне знакомый газетчик рассказывал, как в результате какой-то транспортной неполадки в чужой стране очутился в незнакомом городе без языка и без гроша. Что делать? Бедствующий странник не слишком колебался: чуть не знаками выпросил адрес местной газеты и отправился туда. И ведь помогли — страны разные, языки разные, но система все же одна.

Кстати, даже слово то же самое!

Все мы стоим в какой-нибудь системе: ведомственной,

дружеской, родственной. И «феньки» имеем, только иные — когда форменный китель, когда погоны, когда служебный пропуск, когда командировочное удостоверение. А десятикласснику или студентке техникума командировку никто не даст, вот они и предъявляют нитку с бисером.

Взрослые проблемы

Мы без конца обсуждаем молодежные проблемы.

Почему? Да просто пытаемся разобраться в их потребностях, желаниях, заблуждениях, просто хотим понять, что же с ними, с молодыми, происходит, почему так странно, так нелепо себя ведут.

Ну, а у нас, у взрослых, разве проблем нет? Мы не ведем себя странно и даже нелепо?

Самый простой пример: почему на каждую новую моду мы бросаемся остервенело, как дворовый пес на незнакомые штаны? Танец, песню, прическу, юбку — все в штыки! А уж стиль отношений и тем более манеру жить...

Ну откуда в нас, умудренных, такая агрессивная аллергия на все, идущее от молодых? Что с нами-то происходит? Может, прежде чем разбираться в подростках, надо понять себя?

Жизнь трудна. каждая ее ступенька оплачена синяками и потом. И как же быть нам — зреющим людям, ценой усилий и потерь наконец-то более или менее удобно устроившимся в непасковом мире,— как нам быть, когда сперва по углам, а потом и в парадных комнатах начинает вольготно располагаться поколение, еще ничего путного не сделавшее в жизни? И стулья переставлены, и вещи перевешены, и книги переложены. Мы включаем радио, а они телевизор, мы телевизор, а они видеомагнитофон. Сколько лет мы потратили, чтобы до тонкостей понять наши традиционный, национальный, исконно русский канадский хоккей,— а они болеют ладно бы еще за теннис, а то ведь вовсе за дельтапланеризм! В конце концов кто в доме хозяин?!

И дело не только в самолюбии, не только в престиже. Постоянная смена вкусов и стилей вынуждает нас тратить энергию на множество ненужных дел: перешивать вполне хорошие брюки, прислушиваться к песням, которые нам не нравятся, осваивать информацию, в которой нет никакого практического смысла. Скажем, что такое металлорок, кто такие рокеры и почему один и тот же корень объединяет музыку и мотоцикл. Каждому взрослому хочется найти общий язык с молодежью. А как это сделать? Либо выучить чужой, либо добиться, чтобы они говорили на нашем. Какой путь лучше — тут можно спорить. А вот какой легче, ясно и без дискуссий. Я не одобряю, но по-человечески понимаю седого председателя колхоза, который утверждает, что от компьютеров на селе один беспорядок — кому охота на ночь глядя переучиваться!

У каждого поколения есть своя королевская пора, золотой возраст, когда и сила есть, и опыт набран, и знаний хватает. Каждая любовь взаимна, как же хочется именно в этот момент дать команду быстро текущему времени: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» Как же хочется, чтобы отныне и навек лучшей стрижкой считался полуоукс, чтобы на всех танцплощадках царило танго «Брызги шампанского», чтобы по всем программам Всесоюзного радио звучали песни Пахмутовой на слова Добронравова!

Команду-то дать можно — да кто послушает? Не успел порадоваться избытку сил, а уже у другого, у вчерашнего соплика каждая любовь взаимна. И как же хочется отодвинуть эту смену власти подальше! Но где тот Фауст или Мефистофель, которому под силу остановить мгновение?

Известно, что с выросшими детьми, даже хорошими, лучше разъезжаться: пусть у себя делают, что хотят, а к нам в гости ходят. Но поколению с поколением не разъехаться — на всех одна коммуналка, большой неблагоустроенный мир. В нем живем, в нем и дальше жить. Молодежь и рада бы своими дискотеками нам не мешать, да куда ж ей деться? И нам некуда. Значит, и существовать надо по всем разумным коммунальным правилам, не отправляя друг другу жизни, не превращая площади, парки, дома культуры и прочие места общего пользования в поля бестолковых и бесмысленных сражений...

Новая ложь

В очень талантливом документальном фильме Юриса Пондикеса «Легко ли быть молодым?» есть любопытная

и очень характерная для наших дней сценка: парень лет семнадцати, укоризненно глядя на зрителя, выставляет счет эпохи и всему поколению родителей. Мы ни во что не верим — так или примерно так говорит он,— но это не наша вина: мы ваши дети, это вы воспитали нас такими... И дальше в том же роде.

Хорошо помню реакцию взрослых зрителей на этот монолог: какая искренность, какая открытость! Наконец-то с экрана звучит правда о молодежи...

Мне речь паренька тоже очень понравилась, но совсем иным: как естественно держится перед камерой, как знает взрослую аудиторию, как умело ею манипулирует, точно попадая в незащищенные места!

Каких-нибудь десять, даже пять лет назад симпатичные юноши того же возраста в аналогичных ситуациях ясноглазо веяли: мы дети великой эпохи, романтики и оптимисты, преданные продолжателям дела отцов...

Кстати, куда они девались, звонкоголосые ребята, почти профессионально приветствовавшие подряд все съезды, конференции, фестивали? Мучительно пересматривают лакейское прошлое? Или торопливо заучивают новый текст? Ведь не так уж они и постарели — еще вполне годятся для наших молодежных трибун.

В недавние времена именно не замутненный мыслью оптимизма и беззаботная вера во все без исключения идеалы оплачивались по высшей ставке и гарантировали быстрое продвижение по службе и почти бескапитальное решение множества материальных проблем. Нынче ветер перестроился: в общественном мнении критическое слово уже куда предпочтительней похвального. Тотальное беззверие теперь в той же цене, как прежде оптимизм и всеобъемлющая вера. И первые ученики эпохи спешно перестраиваются под ветер. Вот только интонации выдают: юные хитрецы твердят о глобальном разочаровании со вкусом и удовольствием, успевая косынки глазом отметить произведенный эффект.

В отличие от лизоблюдствующей старой лжи я определил бы это явление как новую ложь.

Ведь эти ребята, которые, рванув рубаху на груди, лепят истину в лицо человечеству, откровенно врут. Но врут в полном соответствии с веяниями. Требовалось хвалить — хвалили. Требуется ругать — пожалуйста. Ребята просто перевернули пластиинку. Надо послушать, как они говорят между собой или со взрослыми, которым доверяют. Там разговоры практические и вполне конструктивные. Парни очень толково используют общество, используют возможности ругаемых родителей и при этом прекрасно себя чувствуют. Кстати, на самом деле они и верят во многое: и в собственное удачное будущее, и в заботу старших, и даже в любовь. Да, да, и в любовь верят, и надеются на долгую жизнь под ее надежным кровом после того, как вдоволь набалуются заманчивыми плодами безверия.

Откровенно говоря, деловая хватка самодеятельных печориных вызывает у меня даже нечто вроде уважения: уж в чем в чем, а в глупости их не обвинишь. Уловили момент, переориентировались и лихо режут правду-матку на аппетитные бутерброды. Тоже ведь надо уметь!

Любая жизненная мерзость вызывает естественный протест и у зреющих, и у юных. Но, как сказал когда-то Михаил Светлов, не надо делать из протesta амплуа...

Неформальная группа маляров

В Софии, удивительной болгарской столице, был создан Международный дискуссионный клуб по проблемам молодежи. Мне посчастливилось участвовать в его первом заседании.

Сказано было много интересного. Но больше всего поразили и озадачили, пожалуй, цифры из выступления социолога Марии Динковой. Вот какие. В Болгарии девяносто процентов людей до тридцати лет и пятьдесят процентов людей до тридцати пяти лет не могут обойтись без материальной помощи родителей.

Такая вот цифры.

Очень хотелось бы знать аналогичные данные о нашей молодежи. Но не знаю. То ли их нет, то ли есть, но не печатались, то ли печатались, да мне на глаза не попадались. По ощущению, у нас дела с молодежью обстоят примерно так же, как в братской славянской стране.

Говорим о социальном и духовном инфантилизме молодежи, справедливо говорим. Но откуда взяться чему-нибудь иному, если инфантилизм экономический давно стал нормой? Разве взрослое сознание вырастет из детского бытия?

Не в том ли, кстати, одна из основных причин многочисленных ранних разводов? Привычная и потому необременительная зависимость от родителей порождает приятное чувство независимости друг от друга. Ведь не цепью же прикованы! Умилительно слушать, как два иждивенца спорят, кто из них глава семьи... Там же, в Софии, я услышал острый и мудрый вопрос, который не идет из головы: «Мы охотно утверждаем, что молодежи принадлежит будущее. Почему мы никогда не говорим, что ей принадлежит настояще?»

Мы без конца пытаемся изменить систему воспитания подростков, один эксперимент сменяет другой. В этой связи у меня вот какое предложение. Почему бы где-нибудь на просторах Родины чудесной не заложить нам еще один опыт — дать реальную возможность зарабатывать деньги ребятам четырнадцати, двенадцати, даже десяти лет? Может, тогда годам к семнадцати и сложатся неформальные группы краснодеревщиков, автомехаников, маляров?

Если отойти подальше

Когда пытаешься обобщить и оценить пестрое явление неформалов, первый, лежащий на поверхности вывод обескураживает: почти все не ново. И смена мод, и вольности в прическах, и мятах в музыке, и шок втанце, и скандальность, и драчливость, и эпатаж. Многое, слишком многое было. Так что же происходит? Перелицовка известного? Старьевщик в очередной раз перетряхивает свои сундуки? Юбка, упавшая до щиколотки, вновь взлетает к бедру? Но откуда же тогда столь четкое и тревожающее ощущение новизны?

Мне кажется, ощущение новизны дает новизна. Да, многое было. Но чего-то не было. Что-то пришло впервые.

Вот уже целый ряд лет мы живем терпимо, то есть не голодно и не бедно. Но — скучно. Нет, душа не бездельничает, мозги не простаивают. Однако ведущий цвет нашего досуга — серый.

Города пустеют рано. Театров мало, и лишь единичные резко выбиваются из ряда. Фильмы, которые стоит посмотреть, порядочно, но такие, которые не смотреть нельзя, наперечет. Кафе, рестораны, вообще общепит лучше не вспоминать: тут мы не только не великкая держава, но даже и не развивающаяся страна, только по очередям у входа первые в мире. Клубы оказены, зоны отдыха однообразны. Самая оптимистичная формулировка, которая приходит на ум: работы тут непочатый край.

Эту непочатость мы и сами чувствуем, ругаем себя, время от времени производим разные энергичные телодвижения: объявляем конкурсы на новые обряды, сочиняем и утверждаем высокохудожественные сценарии массовых мероприятий, придумываем отраслевые праздники — скоро в календаре придется отмечать красивым редкие бесхозные дни, не принадлежащие ни ткачам, ни врачам, ни пожарным, ни мелиораторам. Словом, не сидим сложа руки, стараемся.

Общенародные праздники стремимся проводить не только торжественно, но и весело: загодя сколачиваем временные эстрады в парках и на площадях, готовим иллюминацию, стимулируем самодеятельность, активно ищем новые формы.

Недавно я наблюдал такое зрелище: под моросящим дождиком ослик тащил тележку, а в ней трое — мужчины в розовой рубашке с поясом и две разукрашенные, нарядные девушки в ярких сарафанах. Мужчина погонял, одна девушка ела мороженое, другая просто сидела, устало сгорбившись, свесив с тележки ноги в стилизованных башмачках. Что ж, не только воинский парад, но и карнавал нуждается в репетициях, в освоении маршрута, в подгонке костюмов, в отработке шуток. Веселье и яркость с неба не упадут...

А с чего это я вдруг про ослика и тележку? По делу ли такой зигзаг в разговоре о неформалах?

По делу. Очень по делу.

Художники-пунктилисты пишут картину точечными мазками. Смотришь вблизи — полный сумбур. Отойдешь подальше — все на месте, и сюжет, и контуры, и идея. Наши неформалы, по сути, и есть такие точки, вроде бы хаотично и даже бесполково разбросанные на холсте. Но не поленились, отойдите подальше.

С расстояния огромное полотно приобретает новые качества — отчетливость, осмысленность и даже своеобразную красоту. Ведь что произошло, что случилось с молодежью? А вот что: на наши улицы и площади выплынулся карнавал. Да, да, товарищи, карнавал. Никем не организованный, никак не оплаченный, на зрителе не апробированный, в инстан-

циях не утвержденный, а потому естественный, живой, изобретательный и энергичный. Эпатируют, раздражают? Так ведь карнавал и должен дразнить. Изощряются в одежде и прическах? А как не изощряться, если карнавал — одновременно и парад масок, и их состязание, где премируется самая неожиданная, самая броская. Бросают вызов привычной морали? Но и это традиционная черта празднества: во время карнавала все знакомы, все открыты, все на «ты». Карнавальность — вот то новое, что принесли с собой неформалы восьмидесятых...

В конце хрущевской эпохи страна начала застраиваться однотипными кварталами панельных пятиэтажек — их не зло, но метко тут же окрестили «хрущбами». Многолетние поселенцы коммуналок и бараков стали получать скромное, зато отдельное жилье. Это было время хрупкого, неумелого, бедного, но какого же радостного уюта! А вот на улице, увы, глаз зверел от серой унылости типовухи. Хорошо, молодые художники нашли частично приемлемый выход: стали расписывать глухие торцы пятиэтажек «под плакат». Не красота, так хоть разнообразие.

Сегодняшние неформалы — это фрески наших улиц, красочные пятна на нейтральном фоне быта. Как зелень, хаотично разрастаясь, скрывает неприглядность садово-огородных «скворечников», так пестрая толпа неформалов маскирует ошибки наших градостроителей. Вот обновили старый Арбат, сотней одинаковых фонарей беспощадно высветив нехватку опыта и вкуса. Ну, и что делать? Миллионы ухлопали, не перестраивая же заново... Ладно, не беда — пришли неформалы, притянули мольберты и гитары, разложили картины, раскинули зонтики, вольно расселись прямо на плитах прогулочной мостовой — и ведь обжили, пусть не облагородили, но хотя бы одомашнили холодное пространство между фонарями. Прогулялся недавно от малого до большого кольца, прошел назад, от большого до малого, и вдруг сквозь морери под ретро простиупила узкая любимая улица, вдруг опять ощущалось, что не где-то, а именно здесь, в каком-то из тесных двориков в уже давние давние годы вырастал замкнутый мальчик с курчавыми волосами, экзотическим именем и огромным песенным даром...

Карнавал непредсказуем, и это с непривычки пугает. Но может, не стоит пугаться? Пусть изощряются кто во что горазд, пусть готовят сюрпризы, развивая в процессе конечности и мозги? Вот представьте на один только момент: утром в понедельник наши юные возмутители спокойствия все без исключения облекутся в школьную форму, постригутся под полубокс, выучат одну на всех романтическую песню про БАМ — и стоп! Все. На веки веков. Конец развилию.

Вот тогда, пожалуй, станет уже не тревожно, а страшно. Нет, пусть развлекаются, как умеют и хотят!

Все равно ведь карнавал необходим. Так уж лучшие эти задиристые и смешные по молодости, чем оплаченные весельчики в розовых рубахах из театрального реквизита...

Как к ним относиться?

Так как же относиться к неформалам?

Я бы предложил три модели, дополняющие друг друга.

Первая — не относиться никак, то есть просто принимать их как факт, спокойно и с пониманием, как принимаем мы, например, весеннюю распутицу, или листопад, или (пожалуй, наиболее точная аналогия) любовные волны мартовских котов, которые, правда, мешают спать, зато в перспективе обещают решить важную народнохозяйственную задачу, освободив страну победившего социализма от амбарных вредителей.

Вторая, более трудоемкая, но и более продуктивная, — поощрять и стимулировать в неформалах творческое начало, выделяя хотя бы скромные средства на всевозможные смотры, конкурсы и фестивали. Когда-то наша неторопливая общественность успела ухватиться за самый хвост движения бардов, но даже эта весьма запоздавшая акция дала прекрасный результат — густую и жизнеспособную поросль доныне существующих клубов самодеятельной песни, которые, продолжая, по сути, оставаться неформальными, сумели все же самостоятельно найти форму, равнодобную и для них, и для общества.

Наконец, третья модель: считать неформалов датчиками на теле эпохи, внимательно изучать их показания и не обижаться на этот нестандартный инструмент познания, как при анализе крови мы не обижаемся на лейкоциты, когда их слишком много, и на гемоглобин, когда он упал.

20 КОМНАТА

ЗАСЕДАНИЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

«Пишут вам люди, которые пришли на Арбат петь, общаться, думать. Люди, для которых Арбат — уникальная возможность выразить свое мировоззрение, поделиться своими тревогами и мыслями со всеми. Почему нас разгоняют? Нас уже разгоняли осенью 1987 года, и Арбат умолк, стал обыкновенной улицей, без голоса и лица. Потом всю зиму в прессе — в «Московских новостях», «Комсомольской правде», «Московском комсомольце» — писали, что это была ошибка, что нельзя было лишать молодежь



Арбат, Арбат,
мой Арбат...

такой редкой возможности самовыражения. И этой весной Арбат опять начал петь. А работники милиции снова разгоняют нас, объясняя, что собираться можно только по праздникам. Но мы не дебоширим, не орем — мы только слушаем друг друга...

Товарищи! Если вы не хотите, чтобы Арбат опять — и уже, видимо, навсегда — умолк, помогите нам!»

И много, очень много подписей под этим письмом в «20-ю комнату». Поэтому мы продолжаем разговор об Арбате, который шел у нас на одиннадцатом и тринадцатом заседаниях. Сегодня обсуждаем:

— Можно ли нарушить постановление, которого не знаешь?

— Нужно ли дожидаться четырнадцатой пятилетки, чтобы решить сегодняшние проблемы?

— Спасут ли ситуацию двадцать «резиновых» Арбатов?

— Зачем «разрешать» то, что уже разрешено? (Точка зрения юриста.)

Он был разным, этот Арбат. Полтора года назад он стал социальной творческой лабораторией города. И вдруг: 11 августа 1987 года — постановление Моссовета № 2075 и «Временные правила проведения митингов, собраний, демонстраций и иных мероприятий на улицах города Москвы»; 23 сентября — постановление Киевского райисполкома № 3128 «О состоянии общественного порядка на пешеходной улице Арбата... «Арбат закрыт», — прокатился слух по Москве, и резонансом откликнулись другие города, где власти прикрыли свои «микро-Арбаты»: Ленинград, Рига, Свердловск... Все это выглядело как директивное творчество бюрократических сил. Что же случилось?

Мы пригласили к нам многих из тех, кто причастен к судьбе неоконченного эксперимента...

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

От 11 августа 1987 г. РЕШЕНИЕ № 2075.

«О собраниях, митингах, уличных шествиях, демонстрациях и иных мероприятиях в парках, садах, скверах и других общественных местах города Москвы».

В целях реализации требований статьи 50 Конституции СССР и статьи 48 Конституции РСФСР и в интересах обеспечения государственного и общественного порядка, охраны прав и интересов граждан при проведении собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и иных мероприятий на улицах, площадях, проспектах, парках, садах, скверах и других общественных местах города Москвы в соответствии со ст. 31 закона РСФСР «О краевом, областном Совете народных депутатов РСФСР» исполнительный комитет Московского городского Совета народных депутатов решил:

1. Утвердить временные правила организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и иных мероприятий в г. Москве (приложение).

2. Исполкомам районных Советов народных депутатов, Главному управлению внутренних дел, городскому и районному штабам добровольных народных дружин, Главному управлению культуры, Главмосдоруправлению, Управлению лесопаркового хозяйства, Горспорткомитету обеспечить строгое соблюдение указанных правил.

Председатель исполкома
Моссовета

За секретаря исполкома
Моссовета

В. Т. Сайкин

В. А. Жаров

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕШЕНИЮ ИСПОЛКОМА
МОССОВЕТА

11 августа 1987 г. № 2075.

«Временные правила организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и иных мероприятий на улицах, площадях, проспектах, в парках, садах, скверах и других общественных местах г. Москвы».

1. Общие положения.

1.1. Настоящие правила определяют порядок организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и иных мероприятий (в дальнейшем — «мероприятия») на улицах, площадях, проспектах, в парках, садах, скверах и других общественных местах г. Москвы.

2. Порядок выдачи разрешений.

2.1. Разрешение на предоставление трудящимся и их организациям зданий, улиц, площадей, парков, скверов, садов и других общественных мест г. Москвы с определением времени проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и иных массовых мероприятий выдается председателями исполкомов соответствующих Советов народных депутатов в письменной форме...

2.2. За разрешением могут обращаться: руководители государственных предприятий, учреждений, организаций, а также общественных и кооперативных организаций, любительских объединений, клубов, секций и т. п. и отдельные граждане.

2.3. Заявление о предоставлении места и времени для проведения мероприятия подается в письменной форме и должно содержать:

2.3.1. Точное наименование органа государственной, обще-

ственной, кооперативной организации, любительского объединения, клуба, секции и т. п.;

2.3.2. Цель, форму, место или маршруты движения, время начала и окончания проведения мероприятия, примерное количество участников;

2.4. Заявление подается в соответствующий исполком Совета народных депутатов не менее чем за 7 дней до предполагаемой даты проведения мероприятия, рассматривается председателем исполкома, как правило, в 3-х дневный срок...

Справка «20-й комнаты», постановления, аналогичные московским «Временным правилам...», были приняты в 20 городах СССР: Вильнюсе, Казани, Ереване, Краснодаре, Ленинграде, Новороссийске, Одессе, Риге, Свердловске, Уфе...

ВЕДУЩИЙ: Постановление и «Временные правила» так и не были опубликованы, несмотря на обещания. Текст, который мы сейчас цитировали, взят из рукописного (в прежние времена говорили «самиздатовского») журнала «Меркурий». Журнал, издаваемый ленинградскими неформалами, публикует московские «Временные правила». Значит — слишком схожи проблемы. Случившееся с Арбатом — лишь один из примеров того, как под видом борьбы за порядок и спокойствие скрывается неумение управлять силами, раскованными демократизацией общества. Налицо желание окриком, запретом возродить времена, когда каждое «можно» обрастало таким количеством «но», что превращалось в непреодолимое «нельзя». «Временные правила» — попытки неумело, антиконституционно обуздеть демократию. Мотивировки просты: народ, мол, еще не научился жить в условиях демократии. Но, может быть, дело не в пресловутом «народе», на который так привыкли ссылаться в прошлые десятилетия, оправдывая любые, даже антинародные действия. Когда мы готовили эту встречу, в ответ на приглашение нас не раз спрашивали: «А ваша точка зрения какова?» Чтобы сразу обозначить направление нашего разговора, скажу: точка зрения «20-й комнаты» совершенно определена — необходимо срочно возвратить Арбат Москве. Возвратить таким, каким он всем нам запомнился летом восемидесяти седьмого: поющим, читающим стихи, спорящим, рисующим... Что мешает?

Игорь АНДРЕЕВ, первый секретарь Киевского райкома комсомола: Прежде всего то, что ребята с Арбата не идут с нами на контакт. Хотя поиски контактов мы ведем. И не только на самой улице Арбат, но и в прилегающих переулках. Слышали ли вы, что создан общественный центр «Наш Арбат», в состав которого входят около сотни подростков? Больше половины из них состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Ребята сами ремонтировали помещение для клуба, участвовали в создании музыкальной гостиной...

ВЕДУЩИЙ: Игорь, давайте все же начнем прямо с Арбата, а не с прилегающих переулков. Вы говорите о контакте...

И. АНДРЕЕВ: Мы пытались побеседовать с брейкерами. Пригласили выступить в кафе-клуб «Метелица». Это было осенью прошлого года... В общем-то ребята остались довольны, мы — тоже. Что же касается серьезных, плодотворных контактов, то они затруднены. И вы, наверное, представляете, почему. Во-первых, из-за частой сменяемости этих групп на Арбате. Сегодня там одни, завтра другие. Сегодня — московские ребята, завтра — из Хабаровска, Петропавловска-Камчатского. Я сам с ними сталкивался не раз, может быть, с кем-то (обращаясь к залу) из вас беседовал, предлагал конкретные точки соприкосновения с Киевским райкомом комсомола. Однако (не буду говорить конкретно о вас, не помню по лицам, в этом зале много лиц) на контакт никто нешел.

ВЕДУЩИЙ: Кроме вас, на Арбат, наверное, ходили и другие работники райкома?

И. АНДРЕЕВ: Естественно, все наши комсомольские работники встречались с неформалами. Но никто из неформалов после бесед в райкоме не появился.

Сергей МОЛЧАНОВ, студия «Прямая речь»: Мне не совсем понятно слово «контакт». Что это за контакт, какую цель он преследует? Не значит ли это, что от того, удастся или не удастся контакт, зависит, будет существовать Арбат или нет? Непонятна позиция самого райкома в отношении к неформалам. Какую цель вы преследуете, добиваясь такого контакта? Вы хотите встать над неформалами?

И. АНДРЕЕВ: Мы поставить себя над какой-то группой, естественно, не хотим.

Александр ГРИШИН: На Арбате постоянные гости «КСПЭшники» и хиппи. Устанавливали ли Киевский райком контакты с ними?

И. АНДРЕЕВ: Любители самостоятельной песни, КСПЭшники, как вы говорите, хорошо знают Аркадия Гербовицкого, Ирину и Игоря Каримовых — с ними у нас контакты наладились. А тем, кто выступал и выступает на Арбате, мы предлагали сотрудничество...

А. ГРИШИН: Кому конкретно?

И. АНДРЕЕВ: Я не готов сейчас назвать фамилии.

А. ГРИШИН: Дело в том, что те люди, которые выступают на Арбате, плохо относятся к городскому Клубу самостоятельной песни и в него не входят. Они практически независимая от него организация.

И. АНДРЕЕВ: Если вы говорите о тех, то я лично задержал одного из них, молодого человека из Хабаровска. Послушайте, ребята, это не смешно...

ГОЛОСА В ЗАЛЕ: Конечно, не смешно.

И. АНДРЕЕВ: Не помню его фамилии. Он приехал из Хабаровска, пробыл в Москве порядка десяти дней. Я вместе с членом оперотряда отвел его в отделение милиции. Почему это сделал? Он собрал около себя человек триста (вы знаете, как это невозможно сделать на Арбате) и исполнял песни с нецензурной бранью. Что было делать? Слушать? А есть и другие, у кого нецензурная брань и в стихах звучит. Не говорю сейчас о литературных объединениях, представители которых здесь присутствуют (я не знаю вас, наверное, это были не вы).

Сергей ПОДГОРНЫЙ, студент факультета журналистики МГУ: Я тоже часто бываю на Арбате, рядом живу. Вы все время говорите о неформалах, а там, кроме неформалов, есть еще огромное количество просто местной и приезжей молодежи, не относящейся ни к каким объединениям. Вы все время говорите о контактах с молодежью в стенах райкома или ДЭЗа. А вам не кажется, что такие контакты надо искать каждый вечер с семи до одиннадцати прямо на улице Арбат? И что вы можете противопоставить всем этим самоцелям выступлениям?

Валерий ТАРАКАНОВ, секретарь комитета комсомола Министерства внешних экономических связей: Наша комсомольская и партийная организация курирует ДЭЗ-14 — один из пяти ДЭЗов, расположенных на Арбате. Занимаемся в основном работой с жителями района, с молодежью района. Что мы сделали? Оборудовали спортивный зал (обошлось это в шестьдесят тысяч рублей), оборудовали кафе-клуб «Арбат-53». Там ведь живут шестьсот подростков до шестнадцати лет, и целенаправленная работа ведется прежде всего с ними.

А. ГРИШИН: Сколько из них выступает на Арбате?

В. ТАРАКАНОВ: Ни одного.

А. ГРИШИН: А почему работа ведется тогда именно с ними?

В. ТАРАКАНОВ: Потому что шестьдесят человек из них находится на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Есть у нас еще клуб «Собеседник» на улице Вахтангова, дом 7. Там и видеоклуб, и дискуссионный клуб... Программы самые разные, ребята долго готовятся к ним, видеоролики готовят, людей интересных приглашают. Скажем, обсуждают такие темы, как «1000-летие принятия христианства», «Рок-музыка Запада», «Звезды эстрады», «Океан: мифы и реальность»... Мы вывешиваем объявление — приходят со всей Москвы. Про это можно долго говорить, и сейчас от этой встречи в «20-й комнате» я жду выработки конкретных решений, каким быть Арбату.

Лично я за то, чтобы Арбат был демократичным, чтобы там выступали, чтобы разрешено было все, что не запрещено законом. Пойте, танцуйте, рисуйте, спорьте — пожалуйста. Вопрос: какая в этом роль комитетов комсомола, райкома комсомола? Тут товарищ сказал: «Надо противопоставить...» Зачем противопоставлять? Райком комсомола, в котором 18 человек штатных работников, никогда тут ничего не противопоставит, потому что на Арбате собирается вся Москва, и это вам прекрасно известно.

Проблема Арбата — это не проблема Киевского района, это проблема общегородская и, если хотите, общесоюзная. Арбат — это пока единственная в своем роде улица. И от того, как будет жить и развиваться Арбат, многое зависит не только в городе Москве. Девиз должен быть один: самостоятельность! Только через самостоятельность мы придем к тому, что надо. Никакой исполнком, никакой райком комсомола никогда, ни через какие контакты не будут ведущими на Арбате. Остается только самостоятельность молодеж-

ных групп! А комсомол свою лепту, конечно, должен внести.

Боль за Арбат у нас общая. Поэтому польза от нашей встречи будет лишь в том случае, если мы решим, как нам взаимодействовать, что будет дальше. На Арбате живет ни много ни мало 20 тысяч с прилегающими районами. Молодежь выступает за свободный Арбат — это хорошо. Но поймите и коренных жителей, вот житейская вещь: общественного туалета на Арбате нет, и поэтому «общественным туалетом» становятся соседние подъезды. Представьте свою реакцию, если вы живете в этом подъезде. Да вы не то что в 5-е отделение милиции пойдете жаловаться, вы в ЦК КПСС напишите, лишь бы этот Арбат закрыли. Летом Арбат — это сплошное море голов. Около 30 тысяч находятся там ежеминутно. Сейчас начали кампанию за предоставление различным группам, различным клубам территории Арбата. Но объясните коренным арбатским жителям, которые живут здесь с рождения, почему именно Арбат должен стать общегородской улицей, общесоюзной улицей. Пусть молодежь собирается там, где живет, рассуждают они, а у нас своих проблем хватает. И они по-своему правы.

ВЕДУЩИЙ: Валера, и последний вопрос: вы читали постановление Мосгорисполкома № 2075?

В. ТАРАКАНОВ: В общих словах представляю, о чем там речь...

ВЕДУЩИЙ: А постановление Киевского райисполкома № 3128, на которое ссылается милиция, когда забирает с Арбата людей с гитарами и декламирующих стихи?

В. ТАРАКАНОВ: Тоже не читал.

Наталья ЗИМЯНИНА: Почему вы не задаете вопрос представителям Моспроекта: когда будет реконструкция арбатских домов, будут ли выселены все жители? Что там будет потом: учреждения, жилье или что-то другое?

Виктор ШТЕЛЛЕР, главный архитектор МОСПРОЕКТА-2: Мы начали разрабатывать проект застройки кварталов на Арбате. Проект предусматривает реконструкцию не только домов, выходящих фасадом на Арбат, но и домов в глубине кварталов... В общем-то мы и собирались сделать это несколько лет назад, но не было возможности, и об этом никто нас не просил. Мы привели тогда в порядок лишь фасады, теперь предстоит сделать реконструкцию внутри. Но когда дом ставится на капитальный ремонт или реконструкцию, приходится ломать все перекрытия. Значит, и сейчас придется уничтожить все первые этажи, которые уже сделаны, где находятся кафе и магазины, то есть сделать всю работу заново.

НЕФОРМАЛЫ (мягко говоря, в шоке): Зачем строить так, чтобы потом все ломать и начинать заново?

В. ШТЕЛЛЕР: Ну, как вам сказать... Ведь не архитекторы все решают, как и что делать. Есть городские власти... На тот Арбат, который вы видите, была выделена определенная сумма. И на ту работу, которую сейчас начинаем, тоже выделяются деньги.

Евгений КРАСНИКОВ, клуб «Демократическая перестройка»: Мы сейчас ведем разговор с представителями райкома комсомола, с проектной организацией. Это уважаемые организации, и нам, конечно, интересно познакомиться с их мнением. Но положение дел на Арбате связано в основном с постановлением Киевского райисполкома № 3128. Хотелось бы узнать у представителей райисполкома, чем было вызвано принятие этого постановления, почему оно до сих пор не опубликовано?

Валерия МОТОВА, заведующая отделом культуры Киевского исполнкома: Ни одно постановление исполнкома никогда не публиковалось. Исполнком принимает решение, решение доводится до тех, кому оно предназначается, и никогда не вставал вопрос о публикации. Решение Моссовета — другое дело. И то не все решения Моссовета публикуются.

В ЗАЛЕ НЕРАЗБЕРИХА, ШУМ, КРИК, ВСЕ ХОТЯТ ЗАДАТЬ ВОПРОС.

В. МОТОВА (тем временем продолжает): Почему вдруг именно оно должно быть опубликовано? Для кого? К тому же было два постановления по Арбату, и я не знаю, о каком вы тут говорите.

НЕФОРМАЛЫ: О сентябрьском! Мы — о сентябрьском!

В. МОТОВА: Вы имеете в виду Постановление «Об общественном порядке на пешеходной улице Арбат»? В этом постановлении все очень хорошо написано...

ПУБЛИКА БУНТУЕТ, СМЕЕТСЯ И ШУМИТ.

В. МОТОВА: ...и ничего в этом смешного нет. Постановление было вынужденным, потому что увеличились правонарушения. Исполнком буквально завален жалобами жителей

на то, что невозможно там жить, что они боятся зайти в подъезды, что им страшно по улице ходить. Летом там пели до двух часов ночи! Ну, товарищи неформалы, вы молодые, здоровые, вам, как говорится, весело, но надо уважать население. Нам звонят: у нас маленькие дети, мы не можем уснуть, когда кончится это безобразие? Следствием всего этого и явилось наше постановление об Арбате. Нужно было восстановить там порядок для того, чтобы наш нормальный советский человек мог спокойно жить, могходить в магазин, мог нормально лечь спать и так далее. Так появилось постановление № 3128. Но почему все кричат, что «улица закрыта»? Вот единственная фраза со словом «запрещается»:

«Установить, что на улице Арбат ЗАПРЕЩАЕТСЯ курение, нарушение тишины после 22 часов вечера до 10 часов утра: громкое пение, игра на музыкальных инструментах, пользование радиоприемниками, установленными на повышенную громкость, и другие проявления, нарушающие тишину...»

Второе постановление приняли в ноябре. Речь шла о создании досугового центра. Для чего? Во-первых, организовать досуг людей, которые приходят на Арбат. Во-вторых, организовать досуг арбатских жителей. Представитель Моспроекта уже говорил, что принято решение Моссовета о колossalной реконструкции Арбата. Сейчас на Арбате, кроме самой улицы, мы почти ничего не имеем. Из культурных объектов — лишь выставочный зал, Грузинский центр, театр имени Вахтангова, музей-квартира Пушкина, видеотека. Кафе маленькие, в основном стоячие. То есть практически люди с улицы убрать некуда. А по новой реконструкции в первых этажах домов предусмотрено двадцать объектов культурного назначения: художественные салоны, литературные, музыкальные, театральные...

ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: Когда это будет?

В. МОТОВА: В четырнадцатой пятилестке.

В ЗАЛЕ СМЕХ, ШУМ, КРИКИ: Это же через десять лет! К двухтысячному году!

ВЕДУЩИЙ: Давайте все же из прекрасного будущего вернемся в сегодняшний день. Проекты светлы и обнадеживающи. Хорошо, что находятся люди, думающие настолько перспективно. Однако сидящей здесь молодежи хочется молодежной жизни сейчас, а не через десять лет.

Е. КРАСНИКОВ: Странно. Людей задерживают, приводят в милицию и говорят: вы нарушаеете такое-то постановление. Как они могут его нарушать, если даже не знают, о чем оно? Я, например, был свидетелем, как забрали мальчишку, который пел песню — вы, наверное, ее знаете — «У павильона «Пиво — воды». Он спел, милиции не понравилось, и его забрали.

Андрей РУСИНОВ, бард: Человек сидит и поет литованные песни. Литованные, подчеркиваю. Без мата. Но к нему подходит наряд милиции и говорит: давай, иди отсюда, ты собираешь толпу. Вокруг художников собираются, значит, можно, а вокруг меня нет. Удивительно!

ВЕДУЩИЙ: Милиция не однажды обрушивалась на молодежь, разгоняя так называемые тусовки хиппи, действуя абсолютно беззаконно, задерживала юношей и девушек безо всяких на то оснований или посчитав за правонарушение наличие у задерживаемого длинных волос. В «20-ю комнату» не раз по этому поводу звонили.

Прошлой весной был такой эпизод. Позвонили ребята, собирающиеся на Гоголевском бульваре: «Подъехали «упаковки», и милиция «винтит» волосатых». Я срочно приехал. У памятника Гоголю стояли милиционные машины, непокорных хиппи вталкивали туда силой и увозили. В 5-м отделении милиции комната перед окном дежурного была набита хиппи до отказа. Когда я, журналист, попытался выяснить, что творится, то по команде майора милиции из Киевского РУВД дюжие сержанты задомили мне руки и вышвырнули на улицу. На следующий день начальник 5-го отделения капитан Стажарин объяснил, что хиппи задержали потому, что «сверху» дано указание: больше 15 человек собираться нельзя. А инцидент со мной просил считать случайностью...

Николай СКУРАТОВ, заместитель начальника 5-го отделения милиции по угрозыску: Я немножечко хочу пояснить по поводу постановления Моссовета № 2075. Приходите ко мне лично и почитайте, постановление имеется в дежурной части.

РЕПЛИКА С МЕСТА: Я, например, два раза просил, чтобы мне его показали, — не показали. А показали только тогда, когда задержали.

Н. СКУРАТОВ: Сотрудники милиции действуют в со-

ответствии с законом и задерживают не просто так, как вы говорите. Улица Арбат — не резиновая улица, она имеет определенные параметры и размеры. Вот вы, бард, допустим, хорошо посте, вокруг вас соберется тысяча человек, ну, триста... Даже сто пускай соберется, но ведь, кроме вас, имеются еще и другие люди, желающие просто погулять, лица пенсионного возраста, приезжие. Все почему-то едут на улицу Арбат посмотреть, потому что раз рекламирована улица в прессе, по телевидению. Людям, может, и нравится все это, но понимаете ли вы, что мешает таким образом проходить граждан? Сотрудники милиции в корректной форме делают вам замечания, не доставляя, как правило, в отделение. Они вежливо говорят: разрешите, освободите проход. И совсем не напрасно. Начиная с девяти вечера жители буквально бомбят милицию звонками: «Товарищи, помогите!» В исполнок звонят, к дежурному по отделению тоже... Мы обязаны реагировать.

Алексей СВИРИДОВ, музыкальная группа «Бам-трам»: Вопрос впрямую: следует ли из вашего объяснения...

Н. СКУРАТОВ (с обидой): Я тут перед вами не объясняюсь!

А. СВИРИДОВ: Ну, хорошо, следует ли из ваших слов, что сотрудники милиции и впредь будут рассеивать любые сбирающие народ на Арбате, которые, по их мнению, мешают проходу? Я был свидетелем, как Андрей пел. Пресловутая толпа перегораживала не больше половины улицы. Люди свободно проходили. Тем не менее подошел сотрудник милиции и прекратил выступление.

Н. СКУРАТОВ: И правильно поступил.

ГОЛОСА В ЗАЛЕ: Что, у нас в стране петь нельзя?

Н. СКУРАТОВ: Петь можно, но для этого есть определенные места.

Юрий ГОНЧАРОВ, объединение «Прямая речь»: Вот товарищ говорил, что пел только литованные песни. Но ведь власти имеют право требовать литовку только для выступлений в зале. А где написано, что на каждое раскрытие рта требуется печать Главлит? Вы, ребята, сами потакаете тем, кто нарушает ваши конституционные права.

НЕФОРМАЛЫ ТРЕБУЮТ ОБЪЯСНЕНИЙ И УТОЧНЕНИЯ ФОРМУЛИРОВКИ.

Ю. ГОНЧАРОВ: Значит, 20-я и 50-я статьи Конституции нарушаются чиновниками исполнкома Моссовета, требующими от нас литовок. Они нарушают две статьи Конституции: о свободе творчества и свободе слова. Я призываю вас всех отказываться от литованных выступлений, иначе получится, что любой чиновник исполнкома в идеологии разбирается лучше М. С. Горбачева, провозгласившего гласность.

ВЕДУЩИЙ: О свободе творчества, я надеюсь, мы подискутируем позже, а пока вернемся к конкретным фактам и цифрам. Николай Викторович, можете ли вы сказать, какого типа правонарушения случаются на Арбате? И уменьшились ли они в связи с закрытием Арбата, в связи с выходом постановлений?

Н. СКУРАТОВ: Кто закрывал Арбат??? Арбат не закрыт! Это ясно? Нет? Задача органов милиции — надлежащая охрана общественного порядка и законных прав граждан. Могу привести данные за 1987 год: за различные правонарушения административного характера (за мелкое хулиганство, за появление в пьяном виде) было доставлено в отделение около 3600 человек.

ВЕДУЩИЙ: Николай Викторович, вы, видимо, хорошо владеете оперативной обстановкой. Давайте сравним число правонарушений, когда Арбат был открыт (для простоты будем все же пользоваться этой терминологией) и когда его закрыли.

Н. СКУРАТОВ: Какой период времени вас интересует конкретно?

ВЕДУЩИЙ: До принятия постановления № 2075 и после него.

Н. СКУРАТОВ: Я не готовился специально к выступлению и такие выкладки не брал.

ВЕДУЩИЙ: Ну, а из тех 3600 правонарушений какая часть была совершена молодежью? И какая часть правонарушений случилась оттого, что люди читали стихи и играли на гитарах?

Н. СКУРАТОВ: У меня нет таких точных цифр...

ВЕДУЩИЙ: Попробуйте дать приблизительную картину: уменьшилось ли количество правонарушений, когда Арбат закрыли?

Н. СКУРАТОВ: По поводу термина «закрыт» я вам сказал, что в принципе не согласен...

НЕФОРМАЛЫ ОРУТ, СМЕЮТСЯ И ПРИЗЫВАЮТ НЕ СПОРИТЬ О ТЕРМИНАХ.

Н. СКУРАТОВ: В конце года, я сейчас припоминаю, были совершены грабежи тремя приезжими из города Ряжска. Потом были взяты люберецкие ребята, привлечены к уголовной ответственности за такое же преступление.

ВЕДУЩИЙ: Николай Викторович, вопрос ведь очень простой: уменьшилось или увеличилось количество правонарушений после принятия постановления № 2075?

Н. СКУРАТОВ: Вот сейчас, в настоящее время, у нас нет ни одного грабежа...

Алексей ЕВСЕЕВ, оперуполномоченный: Что я хочу сказать? Безусловно, порядка на Арбате стало больше. Во втором номере «Юности» опубликовано письмо Андрея Доброва. Он пишет, как выступал на Арбате, как бедные, несчастные ребята рядом с ним танцевали до такой степени, что потом еле распоязались... Во время его выступления вокруг него собирались человек восемьдесят слушателей. Так вот. Я должен сказать, что ширина улицы всего четырнадцать метров, а длина — восемьсот. В праздничные дни на Арбате ежечасно бывает до ста тысяч человек. Толпа же в восемьдесят человек, стоящая посреди Арбата, оставляет с краев по три-четыре метра пространства. Вот в эти два маленьких прохода между домами и толпой многотысячный человеческий поток прорывается, как вода через ГЭС. Как простому постовому в этих условиях обеспечить охрану общественного порядка?! Задумайтесь сами. Нет, я не против всех этих выступлений, я сам это дело очень уважаю, безумно люблю Высоцкого, люблю Розенбаума, люблю вообще очень многое и причисляю себя в некотором роде к миру искусства. Но считаю, что такие выступления должны быть организованы.

От нас, от милиции, зависит только исполнение закона — строгое и неуклонное. Если у меня есть постановление исполнкома, которое запрещает то или иное действие, то я никак не могу его допустить или разрешить. И не потому, что я «унтер Пришибеев». Я руководствуюсь присягой, которую принимал, и не допущу того, что запрещено...

В. ШТЕЛЛЕР: Можно в десять раз уменьшить количество проблем, сделать в Москве еще десять пешеходных улиц. Разработано множество предложений по реконструкции пешеходных улиц. Автор этих предложений — Зоя Васильевна Харитонова. Все это придумано несколько лет назад.

ВЕДУЩИЙ: А когда можно будет по этим улицам гулять?

В. ШТЕЛЛЕР: Трудно сказать...

Евгений РЕУТТ, студент МГПИ, представитель неформального объединения «Община»: Десять пешеходных улиц в десять раз увеличат количество проблем. Потому что на тех улицах, если даже не будут приняты специальные постановления, будет действовать постановление № 2075 Мосгорисполнкома «О митингах, демонстрациях и иных мероприятиях». В Битцевском лесопарке, выясняется, тоже действует это постановление. Каким жителям там можно мешать? Уже одного слова достаточно: «Нечелесообразно!» И точка! Я недавно был в Бауманском райисполнкоме, мы просили разрешение на митинг в защиту палат Анны Монс. На этом митинге должна была обсуждаться проблема охраны памятников архитектуры. В исполнкоме посчитали сие нецелесообразным, и митинг был запрещен. О каких правах можно говорить?..

ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЮРИСТА

Чтобы окончательно расставить все точки над «и» в этой дискуссии, «20-я комната» обратилась за консультацией к специалисту. Слово доктору юридических наук, профессору Свердловского юридического института Владимиру ИСАКОВУ:

Обратимся к чисто юридической стороне дела. Правила устанавливают разрешительный (то есть с разрешения) порядок осуществления свободы собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, гарантированной статьей 50 Конституции СССР. Простой вопрос: можно ли считать свободу такой, если для ее реализации требуется разрешение должностных лиц? Очевидно, что «свободой» в данном случае называют нечто иное, прямо противоположное. Правовое регулирование имеет жесткую, можно сказать, математическую логику. Согласно ей, праву противостоит обязанность, а разрешению — запрет. Таким образом, требование получать разрешение на проведение собраний, митингов и демонстраций фактически исходит из того, что в этой сфере существует запрет. Это можно понять, обратившись

и к здравому смыслу: зачем разрешать то, что уже разрешено? Разрешение необходимо там, где есть запрет!

Приняв решение, определяющее порядок реализации конституционной свободы советских граждан, исполнкомы городских Советов явно вышли за рамки своей компетенции, установленной законом. Обратимся к статьям 131 и 146 Конституции СССР. Первая определяет полномочия Совета Министров (правительства) СССР: «В пределах своих полномочий Совет Министров СССР... осуществляет меры по защите интересов государства, охране социалистической собственности и общественного порядка, по обеспечению и защите прав и свобод граждан»; внимательно прочитаем теперь статью 146, устанавливающую круг полномочий местных Советов: «Местные Советы народных депутатов... обеспечивают соблюдение законов, охрану государственного и общественного порядка, прав граждан»; слова «свобод», таким образом, в статье 146 нет.

Изложенное выше может показаться юридическим буквализмом, поэтому скажу совершенно определенно: в Конституции нет и не может быть «лишних» слов. Если в статье 131 есть слово «свободы», а в статье 146 в аналогичном месте его нет, стало быть, для этого есть веские основания: из этого следует, что правовое обеспечение свобод граждан отнесено Конституцией к ведению правительства и не является компетенцией местных Советов.

Замечу попутно, что в некоторых социалистических странах конституционно запрещена регламентация прав и свобод граждан решениями местных органов: «Порядок осуществления отдельных свобод и прав может быть предписан только законом и единственno в тех случаях, когда это предусмотрено настоящей Конституцией или когда это необходимо для их осуществления» (Конституция Югославии, статья 203).

Правила проведения митингов и демонстраций содержат немало дефектов, свидетельствующих об их низкой юридической культуре. В них нет определения «митингов», «шествий», «демонстраций», «иных массовых мероприятий», что создает возможность произвольного толкования этих понятий. Можно ли считать митингом спортивный праздник? Шествием — традиционное гулянье выпускников школ? При желании — можно. В правилах установлено, что отказ в разрешении на проведение митинга может быть обжалован в вышестоящий орган в 10-дневный срок, однако срока для ответа нет, не предусмотрено и судебного обжалования отказа. Нарушения указанных правил, по существу, приводятся к нарушениям общественного порядка, тем самым незаконно расширяется сфера юридической ответственности, создается видимость правовой основы для произвольных действий правоохранительных органов.

Серьезную озабоченность вызывает то обстоятельство, что данные правила расходятся с международными обязательствами нашей страны в области прав человека. Международный Пакт о гражданских и политических правах (ratифицирован СССР в 1973 г.) устанавливает в статье 21, что пользование правом на мирные собрания не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом. Разумеется, смысл слова «закон» в международном пакте и во внутреннем советском законодательстве может не совпадать. Но в любом случае, надо полагать, под законом понимается общегосударственный правовой акт, но не решение местного Совета.

Рассматриваемый вопрос имеет не только юридическую, но и политическую, нравственную стороны. Вспомним некоторые страницы истории. Требование неограниченной свободы совести, слова, печати, собраний, стачек и союзов содержалось, как известно, в первой Программе партии, принятой в 1903 году на II съезде РСДРП (п. 5). Уступая давлению революционного народа, царь Николай II издает Высочайший манифест 17 октября 1905 года, которым «дарует» населению «незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной непрекословности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов».

Незыблевые основы гражданской свободы просуществовали, однако, недолго. Уже 4 марта 1906 года царское правительство издает Временные правила о собраниях, которыми устанавливается, что публичные собрания всякого рода под открытым небом допускаются не иначе, как с особого каждого раз разрешения губернатора, градоначальника или начальника местной полицейской власти. Желающий устроить такое собрание обязывался письменно заявить о том соответствующему должностному лицу «не позднее, как за трое суток до открытия собрания» (п. 8).

Выразительную оценку этому закону дал В. И. Ленин в работе «Избирательная платформа РСДРП»: «Совместима ли с монархией царя свобода союзов, коалиций, стачек, когда даже реакционный, уродливый закон 4-го марта 1906 года сведен всецело на нет губернаторами и министрами? Не звучат ли издевательством слова манифеста 17-го октября 1905 года о «незыблемых основах гражданской свободы», о «действительной непрекословности личности», о «свободе совести, слова, собраний, союзов?»? (Полн. собр. соч., т. 21, с. 178—179). Свое понимание значения и пределов свободы собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций В. И. Ленин дает в другой работе — статье «Запутавшиеся и запуганные», опубликованной в «Правде» 24 (11) июня 1917 г.: «Во всякой конституционной стране устройство... демонстраций — неоспоримейшее право граждан. В уличной мирной демонстрации с лозунгом, между прочим, изменения конституции или изменения состава правительства никакое законодательство ни в одной свободной стране ничего противозаконного не видит». (Полн. собр. соч., т. 32, с. 321—322).

Закрепляя завоеванные трудящимися права и свободы, Конституция РСФСР 1918 года, созданная под руководством и при непосредственном участии В. И. Ленина, провозгласила «право граждан Советской Республики свободно устраивать собрания, митинги, шествия и т. п.». Одновременно она развила, углубила это общедемократическое требование, предоставив в распоряжение рабочего класса и крестьянской бедноты «все пригодные для устройства народных собраний помещения с обстановкой, освещением и отоплением» (статья 15).

В дискуссиях, развернувшихся вокруг правил проведения митингов и демонстраций, автора этих строк упрекали в отсутствии классового подхода, в том, что его позиция на руку «незрелой молодежи», «демагогам». Так ли это? Полагаю, что политическая свобода, гарантированная статьей 50 Конституции СССР, предоставлена всем гражданам в равной степени и не предполагает какой-либо предварительной сортировки на правых и неправых. Смысл ее именно в том, чтобы дать возможность каждому гражданину открыто и публично выразить свое мнение, занять позицию по актуальным вопросам местного и общегосударственного значения. Обратимся еще раз к ленинскому идеиному наследию. В статье «Противоречивая позиция» В. И. Ленин писал: «Всякие манифестации, раз они мирные, суть только агитация, а претит агитацию или навязать единство агитации нельзя» (Полн. собр. соч., т. 32, с. 340).

События последних месяцев открыли еще один пласт проблемы: низкую культуру коллективного политического действия. Экстремизм, исприятие иных точек зрения, глухота к доводам рассудка и здравого смысла — с одной стороны, и чиновное равнодушие, неискренность, высокомерное нежелание участвовать в прямом диалоге — с другой, не случайные черты неформальных массовых манифестаций. Сторонники запретительных мер, по-видимому, получили желанное доказательство того, что «народ еще не созрел».

Спрашиваю себя: а когда он мог созреть? Где? На парадных официальных мероприятиях? Путь к политической культуре лежит через богатую и разностороннюю политическую практику. В тихой заводи благочинных запретов никакая культура не вырастет.

Каким должен быть законодательный акт о митингах и демонстрациях? На мой взгляд, для проведения собраний, митингов, демонстраций и т. п. должен быть установлен заявительный порядок, то есть организаторы должны заявить о проведении мероприятия, маршируя следования колонн и т. д. Если митинг носит локальный характер и не препятствует движению городского транспорта, он может быть проведен и без предупреждения. Думается, что в каждом городе должно существовать традиционное место для проведения массовых собраний, митингов и демонстраций, причем в любое время, без предварительного уведомления. Психологическое давление на участников митингов и демонстраций (сопровождение патрульными машинами, фотографирование и т. п.) должно быть запрещено.

Разумеется, на организаторах массового мероприятия должны лежать встречные обязанности: в ходе митинга, демонстрации следует исключить повреждение зданий и сооружений, загрязнение окружающей среды, блокирование жизненно важных городских коммуникаций. Недопустимы любые действия, угрожающие жизни и здоровью граждан.

Должны соблюдаться советские законы, запрещающие пропаганду войны и национальной розни.

Зададимся в конце вопросом: что породило данные правила, почему они стали возможны? Одна из несомненных причин — неразвитость советского законодательства об осуществлении конституционных прав и свобод граждан. Некоторые правовые акты в этой области (например, Положение о добровольных обществах и союзах) были приняты еще в 30-е годы и сейчас не отражают реальностей современного этапа советского общества.

Готовятся проекты новых нормативных актов (о печати и др.), но работа над ними, на мой взгляд, ведется не самым демократическим образом. Обсуждение концепций новых законов идет в узком кругу, куда и ученых не всякий раз приглашают. Широкая общественность будет ознакомлена, по-видимому, лишь с итоговым результатом этой работы.

На мой взгляд, подобная практика требует принципиального изменения. Предметом широкой дискуссии должна стать прежде всего концепция нормативного акта, его исходные, основополагающие идеи. А вот «шлифовку» текста, одевание идей в юридические понятия и термины можно поручить и узкому кругу специалистов. Разумеется, итоговый документ и в этом случае должен быть опубликован.

Нуждаются в совершенствовании не только законодательство, но и другие звенья механизма, обеспечивающего реализацию конституционных прав и свобод: конституционный контроль, правосудие, прокурорский надзор, деятельность органов государственной безопасности и внутренних дел. Объективный анализ назревших проблем — необходимое условие глубокой правовой реформы в нашем обществе.

Мы сами не подозревали, что «Арбатский вопрос» превратит нас в заправских клерков и секретарей — столько бумаг было прочитано. За разъяснениями мы обратились к прокурору города Москвы — БАРАНОВУ Льву Петровичу. Вот что он нам рассказал:

— Учитывая, что среди лиц, требующих разрешения на митинг, встречаются люди с совершенно различными убеждениями и целями, прокуратура Москвы и ГУВД г. Москвы обратились к заместителю председателя Московского городского Совета народных депутатов с запиской о целесообразности создания в нашем городе так называемого «Гайдпарка», где бы любой гражданин или организация могли бы открыто высказать свои взгляды и убеждения перед собравшимися людьми. Мы не вправе решать, где находиться «Гайд-парку», как он будет выглядеть... Вопрос касался только целесообразности.

Дни перед XIX партконференцией убедительно доказали: каждому городу остро необходим свой собственный «Гайд-парк». Это не издержки демократии, как полагают некоторые чиновники, а насыщущая наша потребность. Без свободы дискуссий, свободы спорить, утверждать свое мнение, без импровизированных трибун, без самодеятельных демонстраций не может быть гласности. «20-я комната» высказывает мнение, что таким «Гайд-парком» может в Москве послужить территория Парка культуры и отдыха имени Горького. Что же до других городов, то ждем вашего мнения...

Встречу подготовили:

Александр ГРИШИН, Инна ЛЕШИНЕР,
Вероника МАРЧЕНКО, Юрий ЩЕГОЛЬКОВ.

Вел заседание Михаил ХРОМАКОВ.

Наш телефон: 251-02-30.

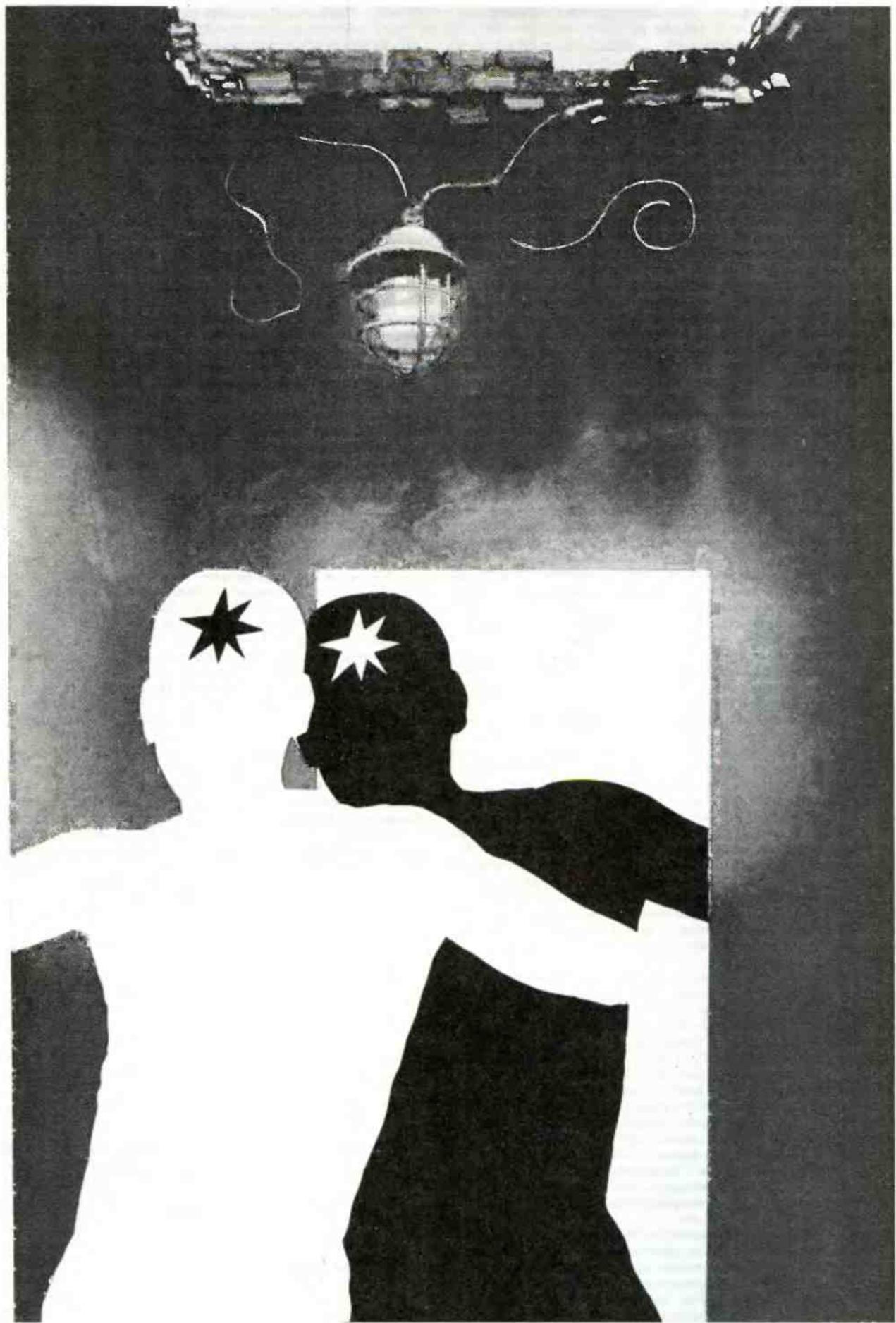


Рисунок П. Карапенцова

С первыми опытами в прозе Валерии Нарбиковой я познакомился в 1978 году как преподаватель Литинститута.

Писатель входит в литературу с темой, опытом, любимой традицией, постепенно выявляя СВОЕ во всем этом. Чрезвычайно редко, чтобы он стартовал сразу с новой художественной системой даже в первых, еще не окрепших вещах, выявляя МЕТОД. В прозе Нарбиковой это меня удивило и насторожило — это был как бы голос в мир неведомых мне людей. Она ли сама такая, поколение ли такое?

Поколение это — немое. А может быть, нет? И мы просто не знаем его, а не только не понимаем? А кто же поведает о своем поколении другим поколениям, как не писатель... Между тем им невозможно было возникнуть в нашем восприятии — их попросту не печатали между поколениями, утвердившимися себя в современной литературе. Не печатали не почему-либо и не за что-то; чего, скажем, нельзя, а просто за то, что они — ДРУГИЕ. Иначе видят, иначе думают. И они уже взрослые, эти дети, их больше, чем нас, из которых, по нашему убеждению, мир состоит. Они — сами для себя огромная аудитория, даже если мы их не поймем.

Сейчас, когда так много и быстро меняется и печатаются вещи, ждавшие своего часа десятилетиями, сначала мертвых, потом живых, но уже существующих в литературе, вопрос о НЕМЫХ поколениях встает особенно остро, потому что, хотя сама возможность печататься объявила, объявила она не для них. Им по-прежнему нет места.

Я прочитал написанное Нарбиковой за истекшие восемь лет, и наконец, она меня полностью убедила в правомерности, достоверности и красоте своей художественной системы (последняя повесть — «Равновесие света дневных и ночных звезд»). Я еще раз убедился в непреложности истины, что художниками рождаются сразу, с первых строк: я понял многое и в ее более ранних вещах, которые понимал и принимал лишь отчасти, хотя они и были проще. Я ощущал, наконец, не только словесный талант, но и мир, но и боль. Но если мое восприятие оказалось настолько традиционным, что я сумел понять эту прозу через несколько лет, то какой же бесконечной во времени и утомлении представляю я себе путь Нарбиковой к читателю? С этим надо что-то делать, потому что она — не только Нарбикова.

Характеризовать новый художественный мир прежним набором критических клише — задача мне непосильная. Могу здесь сказать, что на самом деле мир этот удивительно, обольстительно прозрачен и нежен. Он естественен и абсолютно не нарочен (в чем мы непременно начинаем подозревать всякую непохожесть). Ее стиль ей присущ, как дыхание. Соотношения пространства и времени в ощущениях и переживаниях героев, то есть эстетика Нарбиковой, и новы, и убедительны для меня. О красоте и пронзительной лирической силе многих страниц ее прозы способен судить всякий, наделенный хотя бы и традиционным литературным вкусом человек. Труднее постичь ее скромет, ее архитектонику, ее замысел в целом. Но и это вполне возможно.

Я призываю того, кто это будет читать, к вниманию и отрешенности. Надо понять другого, их — много. Но таких талантливых среди них много быть не может. Значит, это — голос.

В данном случае это еще никак не критический разбор (признаться, он потребует труда). Это — призыв. Призыв прочесть и найти путь к публикации одного из наиболее одаренных прозаиков немого поколения. Этот вопрос давно стоит. Но он еще и встанет, и как! Можно навестить пропасти непонимания между литературой и реальностью, еще более глубокие, чем мы предполагаем, если немые не заговорят. Хотя бы и друг с другом.

Андрей БИТОВ



Валерия НАРБИКОВА

РАВНОВЕСИЕ СВЕТА ДНЕВНЫХ И НОЧНЫХ ЗВЕЗД

Повесть

Ей хотелось известно что, известно с кем. Но «известно кто» не звонил, зато звонил неизвестно кто. На улице тоже было неизвестно что. Вчера обещали, и шло то, что обещали. Снега не было ни в одном глазу, зато был разбойник в Аравии, был разбойник Варавии, был разбойник Варавва, были разбойники Варавва. И остальные люди убивали приспособленных, чтобы самим как-то приспособиться (птицы и звери с самого начала приспособлены, люди с самого начала не приспособлены). Звери рождаются в шапке и в пальто, в домике с ванной и туалетом, а человек всю жизнь добывает себе шапку и пальто и домик с ванной и туалетом.

Для любви нужно было соблюсти единство: единство места, времени и действия — так рекомендовал Буало в своей ложно-классицистической поэтике. И он был не прав.

Журнальный
варшант

Времени все равно нет. Места тоже нет («Моя квартира для этого дела не приспособлена», ветка приспособлена! Но мы не птицы). Остается единство действия («Если ты сегодня сможешь, то я, может быть, смогу».— «Может быть или точно?».— «Может быть, точно».— «Если может быть, тогда лучше завтра».— «А завтра я, может быть, не смогу»). Пренебречь единством места, пренебречь единством времени, соблости хотя бы одно единство действия, так, по крайней мере, учил Аристотель в своей «Поэтике». И он был прав. Ну, соблости. Ну, вышло. «А теперь мне уже пора».— «И мне уже пора».— «Как же грустно!».— «А ты помолись: Отче наш...».— «Не поминю».— «А ты своими словами помолись».— «Отче наш... дорогой папа, будь здоров как на небе, так и на земле. Дай хлебушка поесть и прости, если что не так. И не ломай кайф, а все остальное лажа. Амини».

Подъехала скорая помощь и, оказав помощь, уехала. Она набралась духу и набрала номер... кончила пластинка. Поставила сначала и добрали номер. Нужно было сказать как ни в чем не бывало. А что, интересно, обозначает «ни в чем не бывало»? На стене висела табличка — перечеркнутая сигарета, что обозначало: «не курить». Все равно курили. Упадок эмблематических картин: квадратный лабиринт в круге — алфавитический символ Четырех Святых, выходящих из рта Создателя; обрубок на двух ножках — мужской туалет. Она сказала: «Привет». Он сказал: «Ну, привет». Она сказала: «Как дела?». Он сказал: «Ничего, а твои?» — и после того, как тетка в метро обложила: «Это антисанитарно носить собачью шапку, это нарушение закона, вы поощряете спекулянтов, собака агонизировала сорок минут!» — «Что же мне теперь отпустить ее на волю, беги, шапка, тяв-тяв, знаю, шапка по кличке Дружок» — она сказала: «Тоже ничего».

Орфографически он был армянином, его фамилия была Отматфеян. «Неужели земля вертится вокруг солнца?» — «Со страшной силой!» Земля вертелась вокруг солнца, а люди на этот счет изобрели романтизм, реализм, сентиментализм, хотя это был совсем другой «изм» — механизм. А что в этом плохого? Любовь — тоже своего рода «изм», но она же и любовь, потому что можно сравнять: с тобой вот так! А с другим так себе. А может, у солнца с землей тоже любовь, тоже не простой механизм, не пригрело ведь оно Юпитер или какую-нибудь там Венеру. И ощущали движение в буквальном смысле. Двигалась луна вокруг земли, земля вокруг солнца, солнце двигалось само по себе, но тоже двигалось. Ванная двигалась вокруг электрической лампочки, и два человека, даже один о двух головах, вращался. Она вращалась вокруг него, он вращался вокруг нее, но и сам по себе. Ничего не получалось. У моря тоже ничего не получалось, волны не было, потому что полнолуния тоже не было — полнолуние стимул. «Ты меня любишь?» — «Жутко!» Он заревел, она заревела, хлопнувшись рядом с ним. Мамочка! Не выгоняй из дома Сану, если она порвет пальтишко и колготки и получит двойку. Не плачь сама и не вытирай лицо полотенцем для ног, потому что у тебя рано умерла своя мамочка, Саночкина бабушка. Это хорошо, что всех Саночек не могут выгнать из дома, что бы они ни натворили, потому что они маленькие, как звездочки, детки. А взрослые, чем хуже? Но их могут. И взрослых Александра выставляют из дома с книжками, картинками, драконами, фаянсами. Мамочка! А если взрослая Александра такая же Саночка и не виновата, что выросла. И ночные гулянки — это двойки и рваное пальтишко.

«Ну что же ты со мной делаешь? То, что ты со мной делаешь, об этом мама знает?» — «Знает, знает».— «И царь Николай знает? И царица Александра знает?» — «Все, все знают».— «И с ними ты это же делаешь?» — «Садись на меня и айда!» Она скакала так весело, как «мороз и солнце день чудесный». Они ускакали далеко, там даже не было одежды, зато додумывалась заветная мысль Карлейля об одежде: что вот если сапоги и пальтишко — это человечья одежда, человек это сам придумал, на это способен, то море, небо и горы — это божья одежда, это бог сам придумал, он на это способен. Отматфеян снял с себя листик. Саня надела чулки. Божьи чулки были прозрачные — ручейки. Пересохли божьи, поворались человечьи. Прикрыл чресла листиком, листик — первые трусы. Рядом валялась околовшая пальма, но ее некому было воспеть, потому что ее поэт умер. А так бы поэт написал: вот, мол, пальма, ты оторвалась от своих родных сестер, и тебя занесло в далекий холодный край, и теперь ты одна лежишь на чужбине. Вместо того, умершего, поэта был другой, живой, но он был

хуже. За его текстом чувствовался подтекст того. Нет, не какой-нибудь там второй смысл, а в буквальном смысле под текстом, то есть то, что находится под текстом, а под этим новым текстом находится совершенно определенный текст того, умершего, поэта. Он заплакал. Хотел выпить сразу, но пропустил, но потом все-таки пропустил. Больше всего было жалко пальму, потом поэта, который ее больше никогда не опишет, потом голую Сану, не прикрытую березкой. «Дай я повешусь»,— сказал. «Погоди, еще вот это, а потом вместе повесимся». Всплывали афоризмы: для того, чтобы тебе жить с ней вместе, тебе нужно жить от нее отдельно; встретить новый год с новой женой, а старый новый год со старой женой. Она уже два часа тряслась на нем, и никогда не уехали: та же пальма, тот же шкаф... Она свалилась. Сначала ей показалось, что она убилась насмерть, потому что ведь она свалилась с него, стало быть, туда, где ничего не было. Он посмотрел вниз: она шевелилась, была жива. У нее были руки в крови. Она поплела на пальцы и стерла. Он поцеловал ее ручку.

На стенах висели фотографии поэтов и их возлюбленных. Возлюбленным было хорошо: их глаза, рот, имя не столько принадлежали им самим, сколько были предметом любви их поэтов. Ясно, что Юрочка Юркун не простое имя, а золотое, то есть поэтическое, и принадлежит своему поэту так же, как пальма принадлежит своему. И получалось, что у каждого творца есть свой ребеночек, которого творец сильнее всего любит. И только творца никто не любит как своего ребеночка. Саночкина мама любит Саночку как своего ребеночка. Саночкина бабушка, которая умерла, любит Саночкину маму как своего ребенка, бог любит своего сына как своего ребенка, а кто же любит бога как своего ребенка? И получалось, что бога больше всего жалко, потому что его никто не любит как своего ребенка; не то, что у него умерли папа с мамой, а то, что у него их в принципе не было. А устроено все было очень красиво: если это небо, так на нем обязательно луна со звездами, если море, то волны с птицами, если лес, то там свое, горы — там свое, река — свое. Как же это бог все красиво придумал и деткам отдал! А детки все растастили: гора — моя, море — мое, лес — мой. Только небо и было общим — луна со звездами, потому что слабо было захапать луну-то со звездами, но уже были перспективы: возить на грузовиках железо с луны. И то, что было создано им, ну тем, кого никто не может любить как своего ребенка, было несомненно. Это было красиво и надежно: горы не падают, моря не выливаются, реки — тоже. А все, созданное человеком, тоже было, конечно, занято: машинки, пароходики, самолеты, но ясно, что человек ободрал творца. «Ну, кончай капать!» — с этими словами Отматфеян проснулся и понял, что обратился во сне к капели. И капель ему не ответила.

Соблюдались пропорции, подмеченные еще Обри Бердслером: чем меньше, тем больше. Чем на земле хуже, тем на том свете лучше. Тише едешь — дальше будешь.

Сана спала так, как ее научили в детском саду: положив руки под щеку. Потом чистить зубы (тоже научили), потом завтракать. Довольно бессмысленная процедура: чистить зубы, когда нечем позавтракать.

Солнце скрылось за тучку. Тучкой Отматфеяна было одеяло, и он под ним скрылся. Сразу потемнело. И, может, кто-нибудь сказал: «Давай позвоним Отматфеяну», а кто-нибудь сказал: «Да ну его!» Сана проснулась внезапно. Тоже накрылась тучкой. Совсем стемнело.

Большая Медведица была сейчас скрыта, и многим чуть-чуть, Тютчеву в том числе, было жалко, что на дневном небе не видно звезд. А если бы были видны, то грусть от созерцания этих звезд была бы равна грусти post-coitum. Трудно было убедить Сану, что именно такое сочетание звезд называется Большой Медведицей: «Почему это их нужно считать Большой Медведицей, а в том углу, разве не такие же? Я тебе эту Большую Медведицу найду в любом месте». Не было под рукой и водопада, модели, воплощающей Святую Троицу. Вот водопад целиком, и он знаменует бога, да и есть бог-отец; вот сила падения воды, она знаменует бога-сына, да и есть бог-сын; вот сама вода, и знаменует святой дух, да и есть она святой дух. Была другая модель — человек. Не такая наглядная, поэтому не такая совершенная. Отматфеян обнял модель, которая была сутью бога и знаменовала его. Сана ответила ему на объятье, которое само по себе было сладким. Он положил ей руку на грудь, под ней билось сердце, которое было сутью бога-сына и знаменовало его. Сердце посыпало во все уголки тела кровь, которая была сутью святого духа и знаменовала его.— Ты правда меня

любишь? — спросил. — Я тебя, правда, сильно люблю. — Скажи тогда, что это значит? — Я хочу, чтобы ты был девочкой, а я была лисенком, или чтобы я была девочкой, а ты был лисенком. Но только так, чтобы кто-то из нас обязательно был девочкой, а кто-то лисенком. Но больше всего я хочу, чтобы я была сначала лисенком, а ты был девочкой. — Я плохой любовник, я слаб для этого дела. — Я же не этого прошу, а чтобы быть лисенком. — Понадейся меня, — попросил он, — а лучше знаешь что, поцелуй.

И никак не могли наговориться про то-то и то-то, про то, как здесь и как здесь, про то, что здесь больше, чем там, а там совсем другое, и не такое, как тогда, что это жутко делать, если не любишь, что тогда лучше не надо совсем, что люблю сто раз, только пусть будет сию же минуту, тогда пусть наоборот, потому что так не получится. И тут же у нее получилось наоборот, «держись, а то упадешь», правильно, держалась, а то бы упала.

Природа распространялась выше, ниже и дальше, как в тот раз, как и в следующий раз, не лучше, не зеленее, с птичками, точно такими же, как воробы, но только красными, «кто это, интересно, красит воробьев?», с облаками, с новыми ветками метро, с самой новой, построенной по канонам ортодоксального православия: от Нагорной до Чертаново. — Ты всташь? — Да. А ты что, хочешь есть? — Да. — Если сметаны нет, то можно салат с разбивителем. — Ты пишешь на подсолнечном масле? В магазинах разбивители нет? — Да.

На земле все было устроено так грустно из-за повреждения плоти: на земле была природа, каламбур, то, что присутствовало при родах, в отличие от небесного салиттера, земля была как бы немножко «того», как бы «tronuta». Небесные деревья, моря и горы, состоявшие из света и тени, были с самого начала здоровые, а земные с самого начала были бедненькие. Они были красивые и замечательные, но они были грустные. «Земное поле» было повреждено из-за того, кого бог с самого начала любил так сильно, это и был Люцифер. И в том месте, когда он свалил с престола, образовалась земля, не самосветильный шар, грязь, которая переходила в эстетическую категорию, когда была возлюблена кем-нибудь с такой силой, так сладко и яростно была любима, что больше не могла оставаться грязью, а становилась самой золотой и красивой чистотой. Когда Сана целовала Отматфеяна, Сана и Отматфея становились частью небесного салиттера, и в этом месте земная, поврежденная плоть, прекрасная и ужасная, была прекрасней салиттера, который имеет только одно качество — прекрасное. Это получалось за счет ужасного качества, которое тоже становилось прекрасным, когда имело силы преодолеть ужасное. «Тронутая» земная плоть становилась вдвойне прекрасной.

Получалось, что люди с самого утра занимаются «глупостями». А чем же им еще заниматься: с помощью «совершенного» зрения даже не видно звезд на дневном небе, с помощью «совершенного» слухового аппарата слышны, конечно, слышны... Но зато с помощью другого аппарата, заменяющего в определенный момент и уши, и глаза, и язык, слышно даже то, что не слышно, видно даже то, что не видно. Стоило бы человеку пораньше и получше развить зрение и слух, и тогда бы он видел глазами и не только звезды на дневном небе и слышал бы ушами. А так он слышит и видит «глупостями», изучает литературу «глупостей», так называемую светскую, а Якоб Бёме якобы и не Бёме.

Виолетта пела про то, как она жутко любит Альфреда. Потом запел Альфред тоже про то, как он ее любит.

Выключи, — попросила Сана. — Немного осталось, сейчас она уже умрет.

Из-за дождевых туч не видно было ни рая, ни ада. «Не рассчитывай на справедливость», — сказала. «В смысле?» — «В смысле, что будешь в ад». — «Я и не рассчитываю, вроде бы там все будет то же самое, только не непосредственно». — «В смысле?» — «Ну вот, например, если представить, что человек живет и ведет дневник, в который подробно записывает все, что с ним происходит, то вот ту вечную жизнь можно сравнить не с самой жизнью, а с чтением этого дневника, ну, ты поняла?» — «У тебя получается, что литература нам дана как намек на загробную жизнь». — «А на земле вообще полюбили намеков на нее». — «Ну дождик-то будет идти снизу вверх?»

Раз написано у античных писателей, что были боги, герои и люди, значит, так и было. Они были голые и красивые. Человек мог поправить свою жизнь, переспав с героями или с богиней. Потом ему сказали, что не надо так делать, что

боги сами по себе, а люди сами по себе, и герои вымерли (как и змеи горынычи вымерли, один такой Змей Горыныч искашал-искашал, а из-за него всех остальных превратили просто в змей). Потом человеку сказали, что «вааще-то» бог один, и с ним нельзя глупостями заниматься, как с теми, с языческими. Человеку дали доспехи и мантии, чтобы он хорошошенько прикрылся. А вот потом уже ему сказали, что бога «вааще» нет, и опять человека раздели. Ему стало холодно и стыдно. А ему стали говорить «ты». Кто же голому станет говорить «вы». «Эй ты, подвишься, эй ты, поди сюда». Тогда он стал до потери сознания приставать к своему соседу: «Ты кто такой?» — «А ты кто такой?» — «А кто ты такой, чтобы я тебе сказал, кто я такой!» — «Ну, я, допустим, кто надо!» Только кому надо? Виолетта кашляла и не умирала. Она на самом деле кашляла. Из-за нее не слышно было, как поют птицы за окном, только видно было, что они разевают рты. — Когда же она, наконец, умрет? — не выдержала Сана. — Проигрыватель отключился, птицы прорезались, умерла. Пора разбегаться. Утро. — Девушка, вам не пора? — А поди ты к черту. — Больше никогда не будем. — Это почему же? — Рисунок очень меняется. — Ты меня не любишь? — Нет. Как можно утром кого-нибудь любить? — А ночью? — А ночью надо спать. — Ты меня ненавидишь? — Себя. — Что же будем делать? — Возвращайся к мужу, а я еще сплю. — оделась. — Может, мне переспать с твоим дружком, и прекратим все это? — Перестань, мне правда нехорошо. — Пить меньше надо. — Кошка убежала с заезжим офицером и понесла от него, котят утопил, конечно, офицер. — Телефон, — сказала, — не будешь подходить? Междугородний. — Телефон! Да, мам, да, еще сплю. Как ты себя чувствуешь? Я? Хорошо. Нет, не скучаю. Все, мам, нормально. Здоров. Хорошо. Тепло. Получил. Напиши. Недавно назад получил. Конечно, напишу. Ладно, мам, схожу. Ты тоже. Я тебя тоже. Дай мне трусы! — Где? — В шкафу. — В шкафу грязные. — Дай грязные. Муравьев-Аpostол. Муравьев был Муравьевым, апостол — апостолом. В натуральную величину человек был всегда только относительно самого себя. Во всех остальных случаях он был в масштабе: вот так-о-и или вот такусенский. Сана отваливалась на такси, и Отматфеян относительно нее был сейчас такусенский.

Дома был Аввакум. Открыл дверь. Он был в свитере и трусах: «Тебе что, холодно?» — «Жарко». — «Ты почему без штанов, тебе что, жарко?» — «Холодно». — «Дай что-нибудь поесть». — «Может, тебе еще и выпить дать?» До каких же пор будет грустно! до каких пор будет торчать из кустов алюминиевый зад — с изнанки планетарий. Сколько еще болтаться между домом и домом, между гостями и гостями, между папой и мамой, между папой и папой, между непапой и непапой!

Было, когда меня не было, сколько раз, подолгу было, и когда это было, было хорошо или было все равно, но могло быть и чаще, или больше не хотелось, больше не было возможности, где же это было, с кем было, это было по-другому или было похоже, это было хуже, это было не так, а потом, когда уже это было у нас, тогда у вас это было, значит, это было параллельно, это было, потому что у нас что-то было не так, это было потому что было, и это было чаще, чем у нас, это было столько же, это было так же, это было там же, а туда было, а когда было, было больно, ничего не было! Врешь, что ничего не было, и до этого и после было, значит, это было всегда.

Выползла кошка. Тоже встречать. Она пахла, как детская шубка. Облизала палец и удрала. — Что ты злишься, может, я на вокзале была. — А может, и нет. — Я билеты покупала. — Купила? — Нет, но вот нужно будет сегодня туда подъехать, для того, чтобы завтра уже уехать, нужно купить заранее... — Я не спал всю ночь. — Я тоже. — И с кем же ты не спала? — Я же говорю, что была на вокзале. — Это ты мне говоришь?..

Этот город, из-за которого она ездила как бы на вокзал, хотелось послать, начиная с вокзала, а нет, так с тамбура: «Спички и окурки пукать (первая и третья буквы стерты) в пепельницу». Человека, его заложившего, наложившего его на болото, хотелось пришить. Мало ли что тебе хотелось бы, он наложил, а ты живи. Ну, запечатлели его профилем под хвостом у лошади на мосту, мало! Он его, видите ли, заложил. Жить в болоте с искусственным отоплением, с электричеством, с мраморными кочками, с гранитной трясиной. Дворцы, речки, кваканье лягушек в памятнике девятнадцатого века, охраняется государством, и в каждом доме кто-то жил, кто-то сосал. Неделями город был серым,

может, раз в месяц и высвечивалась луна со звездами, мол, все нормально, я тут. Разливухи были понатыканы на проспектах, параллельных главному проспекту, туалеты, соответственно, на улицах, перпендикулярных этим проспектам, упражнялся в геометрии, кумир, на косточках. А что ты злишься, выпей лучше сто граммов коньяку. Ах, как красив летом летний сад, но красив он так же и зимой, когда играет в ящик, а не прекрасен ли он осенью! Сейчас меня вырвет.

Поезд для мистики отправляется в полночь. Как жалко, что мы не живем в рыцарские времена: весь состав перебили бы рыцари, предпочитающие соколиную охоту собачьей, а так трястись восемь часов. «Трясись шесть» — «Шесть дороже».

Но ведь есть и Лисий нос, в отличие от модернового болота. С заложенным носом двигаться по заливу среди капустных листьев. Почему так много? Так это же со всего залива. Прибывает. И оставлять под кустиком пустую пивную бутылку. Можно сесть на табуретку, установленную кемто для чего-то. Можно набросить поверх пальто подстилку, которую не употребили. Можно смотреть на складки, лежащие на полотнах шестнадцатого века, лежащие в двадцатом веке сами по себе. Нельзя. Немного холодно. Невольно напрашиваются параллели. Было два короля: один Солнце, другой просто Петр. Оба заложили на болоте. Первый — дворец, второй — тоже красивый. Все, что заложил первый, провалилось в болото вместе с реальной головой его внука. А на болоте второго был произведен некий косметический ремонт, включая вымахавшие блочные и кирпичные, в кирпичном лучше, в блочном дальше; конечно же, и вывески «блудоизящие», и трамваи, и моторы. Катера горят, вода в речках стоит. Не надо сидеть так долго на табуретке, можно простудиться. А вот и закат. Какой же он молодец, этот закат. Ходит не нужный паровозик-кукушка. Ку-ку — поднимает бетонную плиту и оттащит ее на десять метров. Постоит. Опять ку-ку — и отвезет на прежнее место. Работает.

Но ведь приятно сойти с поезда, заскать к подружке, лечь на чистое белье и спать день, два, три, неделю, через неделю уже на грязном. «И все это будет на самом деле?» — «Все было, есть и будет на самом-самом деле».

Ехать не хотелось. В середине дня наполз туман. Вещи собирали в буквальном смысле в тумане. «Это мы возьмем, а это мы уж взяли, а это наденем на себя. — Так мы поедем дневным или ночным?»

По сидячemu вагону можно было судить, что еще день. Орало радио. Сзади сидели тетка и работяга. — Можно сделать немного потише? — И так тихо.

Тетка была жесткой и вареной. Работая под радио тут же заснула. Это были люди, их было жалко, но легче было удивляться, чем любить их как самого себя. Они были нормальные. «Я тоже нормальная. — Но ты же не слушаешь радио. — Слушаю, когда выключаю. — А они слушают, когда включают». Это, кажется, Полов изобрел радио? Теперь мы имеем возможность через каждые десять минут слушать, какая погода в столице. Звучит легкая музыка, от которой не легче. Радио, конечно, изобрели в мирных целях. — Слушайте, уменьшите звук! — Дома будете командовать, весь вагон слушает. — Нет, молодой человек прав (реплика вымершей губернантки), нам тоже мешает. — А остальным не мешает, не хотите, не слушайте (канцелярский работник). — А я вырублю его, старая сука!

Давай к оружию! Чемоданы на баррикады. Заходим с тыла (со стороны трех богатырей, репродукция картины Васнецова). Тетку убрали первой, теперь она была жесткой, вареной и дохлой. Вооружайся кто чем может, все в ход: бутылки и перочинные ножи. «Вскрой мужика!» — «Чем, приятель?» — «Консервным ножом!» — «Режь провод!» — «Неси мне!» — «Облей спиртом из фляги (которую делают за пол-литра спирта). Поджигай!» Горим. Готово. Трупы в сортир. Сколько их? Пять ру. У кого есть живые цветы, возложите их на могилу погибших. Туалет в вагоне закрыт, пользуйтесь туалетом в вагоне-ресторане.

Смеркается. Человек все уменьшается в размерах и живет соответственно своему весу. Бог его создал подобным себе и дал ему бессмертие. Человек не понял. Он уменьшил его и дал ему жизни шестьсот лет и росту десять метров. Человек не понял. Он дал ему жизни семьдесят лет в среднем и росту метр семьдесят в среднем. Можно уменьшить и до сантиметра, и жизнь сократить соответственно. Сравнить с землей. Мерзость в святых местах и запустение. Едем в сидячке в вечную жизнь. Скорей бы приехали, а кто нас там ждет, интересно знать? По крайней мере, когда мы

родились, нас ждали мама и папа. А там кто? Чего так торопимся? Полночь. Не перейти ли в СВ, то есть С + Аввакумом + Вакуумом.

Вагон наполовину пустой, переполнен тамбур, где окурки «пукать». Два нижних места. За окном много огней. Только что выиграли войну. Любить как самого себя и употреблять как самого себя. Положим, жизнь произошла из семени. Она была сосредоточена в канавах, просто разлита по земле и кустам. Это были люди и звери в жидким виде. Они развивались. «Куда их выкинуть?» — «Выкинь за окно, пусть погибнут». Жизнь сосредоточилась на дне. Ее было слишком много, ее было не жалко выкинуть за окно. — «Не хочешь от меня ребеночка?» — «Пойди проверься».

Рыжий проводник тоже хотел. Он не верил в Христа. Он верил только в то, что поезд отправится во столько-то и прибудет во столько-то, и на этом можно подзаработать столько-то. Харон. Он жил соответственно своему весу. Он скоро умрет.

Ночь как ночь и, очевидно, что все было светом и тенью и все будет светом и тенью, и только временно находится в фальшивых отношениях: дерева к железу, поезда к грузовику, мужчины к женщине. Аввакум постоял-постоял у окошка, да и забрел не в то купе. Он расположился как у себя дома. Под простираной кто-то спал. Он приоткрыл простирану и не узнал Сану, потому что это была не Саня. Это была тоже красавица, но она спала; разумеется, это была спящая красавица. Она не спала, как у Пушкина, в хрустальном гробу, она спала на нижней полке, но это дела не меняло. Аввакум отогнал станину туч. Разбудить поцелуем. Не поцеловал, потому что все равно бы не разбудил, потому что был не тем. А того не было уже целую вечность. Подстрижена под мальчика, лежит на штампованным белье. Чертят ходят в туалет, на некоторых военная форма. Имя им легион. Спящая красавица была сделана из сна и красоты, в отличие от человека, который был сделан из жизни и смерти: она не говорит глупости, потому что в принципе не говорит, следовательно, и голос ее не может быть неприятным; у нее закрыты глаза, и взгляд ее не может быть неприятным; гримаски ее тоже не могут быть неприятными, потому что лицо ее не шелохнется. Все, что от человека, не может испортить ее.

Вокзал, как и договорились, в тумане. Ничего такое дешевое еще не ходит — раннее утро. Вот и приехали. Есть хлеб и два яйца. Можно съесть. На горизонте маячат финны, напоминают финскую колбасу. Колбасы нет. — Пойдем прямо? — Можно и прямо.

Пробуждаются пьяные, стряхивают последние обороты, идут прямо. Конфисковали поместья, предоставив любому возможность поработать на овощной базе. Лев Толстой был бы первым энтузиастом. Ни прямо ничего хорошего, ни налево ничего хорошего, ни направо ничего хорошего, уже пришли. На одном яйце и хлебе дождались, когда что-нибудь зашевелился. Самой ранней птицей оказался троллейбус. Там мощно толкались, видимо, были с утра не на одном хлебе и яйце. Предстояло снять квартиру: лучше всего отдельную и в центре, тихую и чистую, удобную и недорогую, короче, лучше всего, чтобы она была здоровой и богатой, чем бедной и больной. Саня осталась с вещами на скамейке, Аввакум пошел рыскать. В зоне ходили мужики и подбирали по двадцать копеек: «сколько я уже здесь живу и ни разу не видел, как разводят мосты. — сегодня увидишь, только сначала пойдем в магазин». Мужики пошли в магазин смотреть, как разводят мосты.

Аввакум подошел сзади, обвязанный пивными бутылками. — Ты что, во-о-о! — Это же чешское. — Да куда мы его денем? — Да выпьем.

Место было вполне комфортабельное: напротив — туалет, много воробьев «чирик-чирик», они все о червонцах, стаканы были с собой, правда, приходилось делать поправку, учтивая уровень горизонта — в одном все время было чуть меньше.

Аввакум культивировал щетину третьего дня, что ему, впрочем,шло. После третьей бутылки он стал наглядно объяснять на бутылках их новое место жительства. «Вот так идет улица, — он ровно выстроил пустые бутылки, — потом поворот, там я как раз купил на улице, потом сквер, — его он обозначил ногой, — потом опять поворот, и там дом», на его плане он был выражен еще полной сеткой с бутылками. — Отдельная? — спросила Саня. — Двухкомнатная. Во второй комнате старик со старушкой. А когда они будут

жить у дочери, мы будем жить одни.— А когда они будут жить у дочери?

Подошедшему мужику они сказали, что времени час, что бутылки можно взять, что нет, не нужны.

Было грустно, как в сарае, в котором было грустно у моря, где на берегу материализовалось счастье в виде камушков с дырочкой насквозь. Камушков было так много, потому что людей было мало: люди зимой работают, а летом (то есть те, кто воруют и не сидят в тюрьме, называются работают, а те, кто сидят, просто воруют). Море было захламлено холмами.

В сарай их привел парнишка-повар, с которым они не знали, как расплатиться, но он уладил этот вопрос сам, украв у них банку шпрот. Содержимое холмов составляли средневековые обломки и античные кости или средневековые кости и античные обломки, можно и так.

Мраморная колонна, средневековый храм; ночью у храма горел фонарь. Нужно было затаиться в сарае и переждать, пока менты сделают обход. Повар сказал, что свет в сарае зажигать нельзя, потому что засекут. С собой был кипятильник, в сарае была розетка, можно было вскипятить чай. Вода не торопилась вскипать, а они торопились выпить, выпили просто горячую воду. Замерзли, легли каждый на свою скамейку. Было жутко холодно. Прижались друг к другу шубами — холодно. Сделали из одной шубы матрас, из другой одеяло, на минуту стало красиво: тени деревьев заключались в тени оконных рам, получались серии гравюр в духе Милиоти, а не просто каляки-маляки. Потом опять стало холодно, холод отбил всякий интерес к Милиоти.

В тот же день в поезде сработал ломоносовский закон сохранения: откуда чего убудет, там это же и прибудет: в купе был как раз тот избыток жары, которого недоставало в сарае.

Сетка опустела, залупил дождь. Тетка с пальцем в гипсе, бабки у подъезда, отличающиеся от проституток у подъезда только галошами и платками. Император, обессшанный рулонами туалетной бумаги вместо лавровых венков. Маша со своим мужем Иосифом Иаковичем и с новорожденным ребенком, над которым стоит новорожденная звезда, они берут такси и оформляют визу, чтобы ехать в Египет. В ясельках избивают детишек. Все одни и те же люди, которые не могут разрешить одну и ту же пропорцию, потому что все хотят одного и того же: чтобы на одного человека приходилось как можно больше квадратных метров, а на один квадратный метр как можно меньше людей.— Пошли,— сказал Аввакум.— Пошли.

Какая мерзость, помойки на улице и в подъезде, которые грамотно оформлены, конечно, гением, составившим подробное описание мусора: обедки и открытки, газеты и очистки, окурки и девочкины трусы.— Ты сам у меня своровал трусы! — Какие? — Какие купил. А потом спрятал в книжном шкафу. Я видела.— Глупости.

Чистенькой, подаренной подшивке «Описание мусора» Аввакум придал завершенность, убив ею нескольких мух и оставил на обложке отпечатки их внутренностей, и для окончательной завершенности перепечакав в побелке. «Это же подарок концептуалиста!» — возмутилась она тогда.— «Так я только для большей концептуальности».

Погода называлась «из Петербурга в Москву»: снежинки, групповушки облаков, сногшибательный ветер. Слияние стихов и прозы, как слияние города и деревни. «Но этого не должно быть!» Свое непосредственное возмущение Аввакум подкрепил сложным рассуждением и даже цитатами из Поля Валери, касающимися поэзии и прозы. Правда, он никак не мог дословно вспомнить одно его изречение, именно о разделении поэзии и прозы: разгорячившись, он передал смысл этого изречения английской поговоркой: «мухи отдельно, котлеты отдельно».

Скульптурообразно стоит мужик. Если его раздеть, он будет в точности роденовский Бальзак.— Неприятно за того Бальзака: стоит там голый и мокнет.— А из чего он там мокнет? — Из бронзы.

Чья-то красавая жена вышла на улицу, чтобы унизиться, а потом послать. Вот и допер смысл песенки про шарик, что мышка бежала, яичко хвостиком смахнула, оно упало и разбилось. Старик плачет-плачает, старуха плачет-плачает, девочка плачет, замужняя женщина плачет, а шарик вернулся, а он голубой; гомосек, теперь летает в садике у Большого театра или в Катыкином садике. Но молитва — это факт литературы или нет? Нет, только да или нет!

Их «дом» состоял из Дома культуры и просто дома. Дом

культуры занимал два нижних этажа, остальные четыре занимал дом.

Комната была похоже на тамбура. Вместо огнетушителя фотографии на стенах, грязненькие занавесочки, какие-то половицки, розовые обои. Старуха сразу же сказала все, что нельзя делать, и заломила неслыханную цену. Проводник берет за место на полу столько же, сколько за СВ. «Почему так дорого?» — «За спальный вагон». — «Но место ведь на полу?» — «На полу в спальном вагоне». Харон. А это — сводня, баба Яга. «Паспорта мне ваши не нужны, я и не спрашиваю их». Из ванной вышел старик. Он подошел к Яге, он стучал протезом прямо по мозгам. «Вот, просят пустить», — доложила Яга, — не знаю, кто они. — «Это моя жена, — разнервничался вдруг Аввакум, — я же вам показывал паспорт». — «Паспорта мне ваши не нужны, хотите живите, если нравится. За неделю вперед уплотите и живите себе». Аввакум отдал старухе полтинник, и они остались с Саной в комнате. «Влипли мы», — сказала она.

«Старик со старушкой» урыли их за час, потому что получалось, что можно ходить только в туалет, да и то нельзя спускать, а надо поливать из ковшика. «Что это, удобрение, что ли? — Ну чай-то можно? — робко спросила Саня Аввакуму. — На кухне нельзя, но ведь у нас есть кипятильник, и мы будем чай потихоньку».

Они сидели на кровати и грызли поочередно яблоко. «Ты его обслоняешь, я его не буду». Вокруг были фотографии каких-то солдат, старух в платках, теток и детей. Инвалид стучал в коридоре протезом, неслыханной кислотиной. — Давай уйдем, — сказала Саня. — Уже скоро ночь. — Ну и что! — Куда! — Все равно, только не здесь. — Ложись, мы же здесь будем только почевать, а так будем уходить. — Ну давай уйдем! — У нас денег нет. — А мы отнимем наши деньги и убежим. — Будет то же самое. — Но ведь правда, это ужасно? — Правда. — Ты спишь? — Сплю. — Зачем мы сюда приехали? — Ты захотела. — А зачем я захотела? — Не знаю. Ты ушла ночью и поехала на вокзал, чтобы купить билеты; чтобы уехать...

Харон, Яга, инвалид — имя им легион — такси, пиво — это и есть растянувшаяся до безобразия минута прощания с Отматфеяном. Вся безобразная сторона разлуки: «Девушка, вам не пора?» — «А поди ты к черту!» — материализовалась, воплотившись в сидячий вагон, в орущее радио, в сортир с покойниками. Можно ли так жутко друг друга обожать? Значит, нужно обожать и все, что материализовалось в виде разлуки, как-то: старика со старушкой, клопов, «ты спишь? кажется, здесь клопы». — «...» — «что значит, какие? меня укусил!», фотографии на стенах, Лисий нос или как его, Носий лис, все-все это дерьмо...

Между кроватями был проход, как в поезде, но не было тряски. Тряска была в поезде, на котором удирал Отматфеян под предлогом обмена опытом среди самодеятельных театров. Купе было на двоих, хотя лучше бы на троих, втроем было бы легче и со спектаклем вообщем. Сели друг против друга. «Другом» Отматфеяна был Чаячяжын. Он подсуетился: достал колбасу, хлеб, бутылку вина и водку. Чаячяжын резал, Отматфеян наливал. Они выпили, и Чаячяжын сказал: — Слушай, не хочешь заработать 2,5 тыщи? — Не хочу, — Отматфеян вытащил изо рта прозрачную полиэтиленовую ленточку, — колбасу не почистили... — Почему не хочешь? — Сил нет. — А ничего от тебя такого и не требуется. Ты только должен заплатить в сберегательную кассу десять рублей, послать их по тому адресу, который я тебе скажу, отдать мне квитанцию и найти еще двух человек, которые тоже заплатят по десять рублей и уже тебе отдадут квитанции. — Я что-то про это слышал. Наливай. — И все! — Чаячяжын поднял свой стакан и бутылку. — Даешь ты запасаешься терпением и ждешь. А через полтора месяца получаешь две с половиной тыщи. — Здорово придумано! — Отматфеян взял у него бутылку и сам налил. — На меня будут работать двести пятьдесят человек, скидываться по червонцу, только тогда две с половиной тыщи. — Совершенно верно, сначала ты обеспечиваешь цепочку, потом цепочка обеспечивает тебя. Все честно! — Погоди, ты, где играют, в городе, в стране? — Какая тебе разница, в городе, в стране, — Чаячяжын даже перестал пить. — Разница есть. Если в городе, детишек, старушек не считаем, играет, допустим, три миллиона, — Отматфеян отставил стакан, взял карандаш и кусок бумаги, — из трех миллионов выигрывает только каждый двухсот пятидесяти

ты... — Ну что за математика, все построено на честности. — Здесь честность построена на математике: из двухсот пятидесяти честных выигрывает только один честный, а из трех миллионов честных выигрывает «Х» честных, — Отматфеян увлеченно считал, — «Х» равен двенадцати тысячам счастливцев. — Ты посчитал? — Вот, посмотри, — Отматфеян показал бумажку. — Так это потрясающе, — просто затрясся Чящажышын, — двенадцать тысяч счастливцев! — И два миллиона с остальными тыщами несчастных дураков, — Отматфеян почистил и съел кусок колбасы. — Чящажышын совсем не ел: — Так ты не хочешь быть счастливцем или не хочешь оставаться в дураках? — Ты что, серьезно? — Отвечай, я тебя спрашиваю! Ты почему ограничился городом? Игра должна охватить страну, земной шар! — Да хоть вселенную, процент выигрыша постоянный: 0,4. — Отматфеян пододвинул Чящажышыну бумажку, но тот и не смотрел. — Отвечай, ты почему считаешь, что я вру, — он налил себе вина и хлопнул один. — А тут еще теория относительности, — спокойно допивал свое Отматфеян, — кто-то заболел и не оплатил, кто-то родил и не оплатил. — Это исключено! Твоя теория относительности возможна только при демократии, понял, а при диктатуре никакой относительности быть не может! — Ты что орешь, — Отматфеян, наконец, посмотрел на него в упор: прозрачные волоски прилипли к щекам, щеки разрумянились, с усов капало красное вино. — Ты понял, — орал Чящажышын, — сказано, значит надо заплатить и передать следующим двум, и они должны заплатить и предъявить квитанции! — Да пошел ты, — ему стало то ли противно, то ли он писать захотел. — Сортир был заперт. Он подождал, никто не выходил. Он подергал, никто не ответил. — Есть кто-нибудь?

Ему никто не ответил. Он дернул сильно. Открыл — там писали трупы. То есть там были трупы. Они торчали во все стороны, как цветы из ночного горшка. Отматфеян поднялся и пошел вон оттуда в другой конец коридора. По пути он завернулся в купе. Чящажышын спал уже под простыней. Буглы были убранны. Он поправил ему простынь на лице, но под простыней был не он, там была девушка, она спала. Он запер дверь в купе и сел на койку. Девушка была подстрижена под мальчика, она ровно дышала. Он погладил по лицу. Не шелохнулась. Он сидел с нее простынь. На ней были трусы и лифчик телесного цвета. Это его смущило. Как купальник. Как-то было тесно на полке. Он уперся коленкой о полку. Отматфеян протрезвел. Ему больше не хотелось; никакого кайфа. Красавица спала! Чящажышын распространяет индульгенции в один червонец, миллионы орут с квитанциями в руках, счастливчики проматывают две с половиной тыщи, поезд трясется за тыщи км от дома, Саня где-то с кем-то (с мужем?).

Он вернулся к себе в купе. Чящажышын не спал. Он допивал. — Послушай, — сказал Отматфеян, — что бы ты сделал, если бы очутился вдвоем со спящей красавицей? — Мимо промазал.

Утром без туалета, без чая вымелись из вагона, отдав проводнику на чай. На улице было хорошо, и Чящажышын ласково поинтересовался: — Куда пойдем? — Устраиваться. — Ты договорился? — Звонил. — И договорился? — Дозвонился. — Понятно, на банкетке будем спать.

Обоим хотелось одного и того же: поправить здоровье. Самым доступным был кефир. Зашли в молочный магазин, но и доступного не было. Было все равно, что про них плохо думают, что им для поправки здоровья. Зато во втором магазине, когда покупали кефир, они сами про всех плохо думали, что им тоже для поправки здоровья. Чтобы окончательно поправить здоровье, поехали к морю. Станцию свою, от которой ближе всего, проехали, вышли на следующий, и поэтому пришлось через лес.

Море было в кустах. Немного выпуклое по сравнению с землей, но по сравнению с небом, конечно, нет. Оно было под градусом(?), над ним поднимался пар, значит, оно было теплее воздуха и пустое, недоступное в том смысле, что по нему нельзя было пройтись. И кромка воды, собственно, там, где море начиналось, граница, притягивала жутко, по неопределимости она была выше Китайской стены. Конечно, можно было перешагнуть и окунуться, но в том-то и дело, что окунуться было нельзя. Плавали щепки и резинки, плавали листья и матросы, губернаторы и фрейлины, Пушкин, Тютчев, и прочая, и прочая. Последняя четверть была на исходе, близилось новолуние со своими кустами, дохлыми следами на снегу, со всем своим гардеробом. А черт хорошо владеет стихосложением, сечет в силлаботонике,

стишки любит писать. Читать не любит. А черт, он кто такой? Военный, что ли, или таксист? — Погуляли? — спросил Чящажышын. — Давай до мыса.

Воздух кусался. Вода, поднимающаяся в виде пара, просто преодолевала Китайскую стену, но до кустов не доходила, нечего ей там было делать, там были свои батареи воздуха. Шла дождь? снега? — пролитная война между берегом и воздухом с одной стороны, между паром и морем, с другой. Отматфеян и Чящажышын не были целью противников, их нельзя было ни убить, ни ранить, в этом смысле они были бессмертны. До трофеев противников — дождя или снега — было еще далеко. Сражение для людей называлось «хорошей погодкой». — Пошли обратно. — А сколько сейчас? — спросил Отматфеян. — Пора уже.

Птицы совсем не пели. И почти не летали. Точки в небе, конечно, можно было принять за птиц, но птиц нельзя было принять за точки. А ветер был. Он раскачивал деревья, воздух и воду. Он был силой, остальное было цветом. Серое на сером, черное на черном, белое на белом. Кое-какие лужи были под стеклом; в беснодобном порядке там лежали: крестик, лист, бумажка, палка; лист, бумажка, крестик, палка. Хотя две-три витрины все-таки были разрушены, и вот там-то капустный лист. Ни в кустах, ни на берегу совсем не было признаков света. Кроме моря, которое было тенью неба, кроме неба, которое было тенью моря, кроме тени, которая была морем неба, так теней не было. Чящажышын и Отматфеян не отбрасывали тени, и тени не отбрасывали Чящажышына и Отматфеяна. Ни деревья, ни кусты тоже не. Хотя было светло. Но свет — это не признак света, а тень — это признак света. И было холодно. А холода — признак того, что пора. — Ехать пора, — сказал Чящажышын. — А сколько сейчас? — А столько, что будем не на банкетке спать, как ты говоришь, а на улице, я думаю. — Светло еще. — Тебе светло, а мне холодно. — Сейчас поедем.

Ветер, он же сила, шевелил кусты, и это был свой звук; ветер шевелил воду, и это был свой звук; ветер шевелил воздух, и это был свой. Общий ветер состоял из всех этих слагаемых, к которым прибавлялся еще искусственный ветер, он же механическая сила или механический ветер, гораздо меньший по силе, в основном в двигателях электричек, реже — самолетов и машин.

Море осталось в кустах. Дальше было неинтересно.

— Мандарин хочешь? — Давай, — Отматфеян взял и положил в карман. — Почему не ешь? — Какой-то он нестыдочный, зеленый. — Зачем тогда взял? — Потом съем.

Стояли дома без признаков жизни. Признак дома — жизнь; нарастал треск — признак города, нарастили голоса — признак людей.

Море переходило в: свеженасаженный лесок, заасфальтированную трясину. Чящажышын и Отматфеян стояли на кочке и ждали электричку. На каком-то пролете ее засосало. Долго не было. Другие курили, инвалид тыкал вокруг себя тростью, проверяя, не засосет ли рядом. Подошла — не засосало. Люди попрыгали с кочки в вагон. В тамбуре было грязно, лягушки тоже ехали. Выпрыгивали. Выпрыгивали на свои кочки, каждый под свой листик, под свой кустик — домой. Сосало под ложечкой. А чтобы совсем не засосало, оставалось пойти в столовую. На конечной кочке все вышли. В первой попавшейся столовой, как в стойле, ели стоя. Щи или солянку? Картошку или макароны? Чящажышын явно брезговал, стоит по горло в трясине и брезгует есть жирной ложкой. Брезговал, но ел. Отматфеян не брезговал, но ел как-то плохо. Сначала солянка была слишком горячей, и он поэтому не ел, пропустил момент, она остывла, и он поэтому не ел. Чящажышын следом за солянкой навернулся картошку с котлетой. — Солянку тоже в карман положишь? — спросил он Отматфеяна. — Сейчас съем.

Отматфеян засел мандарином то, что съел, и, с трудом перескакивая с кочки на кочку, они добрались до Дома культуры.

Улица была искусно приподнята над уровнем моря. Расфасованная клюква росла в целлофановых пакетах, на ветвях росли сушеные грибы, березки, полянки с табачными киосками — все это было. Под каждый кустик, под елку были проведены водопровод, канализация, телефон, свет. Все в полном порядке — жить можно.

В Доме культуры были кружки, в кружках были дети. Когда дети пойдут домой спать, Чящажышын и Отматфеян будут в кружке спать. Они нашли театральный кружок: там не было детей, была баба Яга, она же, если надо, уборщица, она же, если надо, сторож. Чящажышыну было больше всех надо: «А лучше, чем на банкетке в вестибюле». Кресло

под голову. Если стулья сдвинуть, то будет кровать, если в два ряда сдвинуть, то двухспальная кровать, а если стулья со столом сдвинуть, двухэтажная кровать, а если столы сдвинуть... «А раскладушки нет?» На раскладушке она сама. Яга отдала им ключ, убралась кое-как и убралась. Все остальное они должны были сами. Отматфеян нашел под кустом электрический чайник, воткнул его и сел ждать.

На болоте темнело. На освещенных кочках стояли люди и ждали автобус. Одноместные, двухместные, трехместные кусты, трехэтажные деревья с лифтом — везде люди. Смотрят телевизор, готовят обед. — Ну ты и дозвонился! Укрываться чем будем? — Что? — переспросил Отматфеян. — Надо было у старухи чего-нибудь попросить. — Как ты думаешь, почему здесь так плотно? — Что плотно? — не понял Чящажышин. — На одну кочку по двести человек. — А, так место хорошее, все хотят. — Чего хорошего? Климат отвратительный, море холодное, ветер, лягушки. Вот ты будешь на столе спать. А если бы мы куда-нибудь еще поехали, нам бы дали двухместный номер, ты бы на кровати спал. — Чего там делать, где-нибудь еще? — обиделся Чящажышин.

Правильно, самые естественные для жизни места бросить и не жить там, а жить в самых неестественных, на болоте, например. Откуда чего убудет, там это же и прибудет. Сколько на место потрачено энергии, столько оно энергии и будет излучать. То есть оно становится не просто дырой, а энергетической дырой. — Да, мы с тобой сюда заправиться приехали.

Чящажышин со знанием дела принял устраивать себе постель. — Если ты себе второе кресло не возьмешь, то я тебе его под ноги. А стулья тебе нужны? Ты на одном сидишь. — Он подбирал ветки, листья, все, что посушше, помягче. — А сам на чем будешь, на голом столе спать? — Что ты хочешь? — спросил Отматфеян. — На чем ты спать будешь? — Устраивайся, как тебе нравится, — ответил Отматфеян.

Чящажышин полез в шкаф. Фартуки и юбки, мундир — на пуговицах плохо спать. От кота в сапогах — сапоги — «тебе дать сапог под голову?», снегурочкина шубка. Костюмы были хорошие и плохие: то есть мягкие и теплые, и жесткие и холодные. — Там еще такое бахрохо есть? — спросил Отматфеян. — Марля, — ответил Чящажышин.

Входила луна. Поблескивал гранит, и мрамор, и асфальт — да, а побелка — нет. — Чего там? — спросил Чящажышин из «постели». — Просто смотрю. — И чего видишь?

Засфальтированные каналы блестели, как на самом деле каналы. По ним катили на тачках, у кого были, а у кого не было на автобусах. Шел дождь. Он был длиной по пять, по десять метров в каждой струе, а под фонарями меньше. — Там луна, — сказал Отматфеян. — Сокровище. — А между прочим, она — сокровище. — Что, луна? — сказал Чящажышин. — Давай, расширь свою кровать и спать ляжем.

Они укрылись с головой чем надо, чтобы сокровище не было в глаза.

За окном была бесполая луна, и кончал бесполый дождь. Он мог в любую секунду, но ему было приятно не. Это Отматфеяну было приятно, что дождь «не», потому что он не спал, а Чящажышину было все равно, потому что он ужё. Потом дождь кончил, звезды стали ужё, а может, это уже из них шел дождь. Одновременно. Дождь был «он» для удобства людей, и звезда была «она» для их удобства, не своего, и солнце «он» для... а там у них были свои отношения. Дождь менял свой пол на другой в другом языке, и солнце меняло свой пол в другом языке; луна, она же месяц, меняла пол в одном и том же языке. Переход пола. Язык являлся как бы материализацией перехода пола. Человеческие отношения выявляли пол, переход пола, и это проявлялось в языке. Но когда сам язык указывал на пол стихий, светил, их отношения вытекали из языка. Ветер гонял стаи туч. Звезда говорила со звездой.

Было темно. Вставать не хотелось, но хотелось есть. — Мы сегодня есть пойдем? — спросила Саня Аввакум. — А ты хочешь? — Мне хочется.

Они вышли от «старика со старушкой». Мимо сквера, мимо остановки, мимо магазина, мимо. Они шли в... «В» было тепло и даже чисто. Столики стояли без. Официант долго не было. — Ты что будешь? — спросил Аввакум.

Они заказали обед и на десерт заказали ужин. Видимо, был рыбный день, и в проигрывателе гоняли «рыбу», на которую еще никто не написал стихов. Когда напишут, это что будет — мясо? Ни рыба ни мясо. Надоело. Они вышли

с животами, полными чем? — Пошли к морю. — Туда? — спросила Саня. — Вниз, — сказал Аввакум.

Вышли не с той стороны моря, а с обратной. Они шли на шум. Но это был не шум моря. Речка впадала в море, море на линии горизонта впадало в небо или небо на линии горизонта впадало в море, можно и так. На речке построили Гидру. Гидроэлектростанция шумела. Не построили ведь на линии горизонта гидру. Сколько бы тогда энергии вырабатывалось от впадения неба в море или моря в небо; эта гидра, может, и подавала бы электрический свет на звезды, на луну, еще куда? на солнце. Гидра на речке подавала электрический свет в табачные ларьки, под елки, под кусты — то есть в дома. Искусственный водопад был ужасно красивым. Он был по образу и подобию: как бассейн — озеро, как водохранилище — море, как трамплин — гора, как зоопарк — звери, как зеленые насаждения — лес, как человек — Он. Все языческие боги, ясно, что не боги, а люди с гипертрофированными человеческими качествами метались вокруг. Не запросто, но можно развить какое-нибудь одно человеческое качество до аномалии, и это будет языческий бог. Это будет бог силы или бог ума, или бог хитрости, или бог мудрости, или... Они все вместе были вокруг, и все вместе они не составляли бога, потому что бог был не только человек. Обозначим его местоимением Он. Он включал в себя и прочая и прочая: «оно» было почти без волн и без птиц, по «нему» шла лунная дорожка, по ней плыло несколько кораблей; над «ним» было «оно» все в звездах и с двумя хвостами от самолетов и без облаков, с луной, которая передвигалась по «нему», отбрасывая тень на «него»; а «его» не было, «он» уже зашло, «оно» будет завтра, хотя зимой «оно» встает поздно.

Петр, материализовавшийся в виде модернизированного болота-города, стоял. Он грозил шведам и финнам, головастикам и пиявкам, морю и речкам. Бог явил святую троицу в образе водопада, человек ободрал творца. Он скопировал водопад. Он построил гидру. Гидра-электростанция была моделью человека и знаменовала его. Вот гидра целиком, и знаменует она человека, да и есть она человек. Вот падающая вода, и знаменует она человеческую плоть, да и есть она плоть. Вот исходящий от силы падающей воды свет, и знаменует он человеческий дух, да и есть он дух — электрический свет.

Людей почти не было, потому что не было ни солнца, ни пива. Выполз один мужик, он шел навстречу и раскачивался, но не от ветра, а от пива, которое было, когда было солнце. Он поравнялся с Саной и Аввакумом и негромко сказал «твою мать». Это не относилось ни к матери Саны, ни к матери Аввакума, ни к какой-нибудь будущей мамаше, это относилось только к той девушке, которую отметил бог, несмотря на то, что у нее был муж Иосиф Иакович. Мужик сказал это про божью матерь, и его не поразило громом, потому что, может, сначала и было слово, и слово было все, но потом слово стало не все. Сначала было слово «море», и оно материализовалось в море, и слово «гора», и оно — в гору, и «дерево» — и оно в дерево, и «солнце», и оно — в солнце. Не предмет порождал слово, а слово порождало предмет. И предмет оказался больше слова. Море больше «моря», дерево больше «дерева». Словом можно было трахнуть, оно было духом, от него можно было зачать, а сейчас кто может зачать по телефону?

В деревянные формы заливали жидкий цемент: выращивали кубы и пирамиды. Все ново-и-новоиспеченные они лежали на берегу. Это был искусственный рельеф вместо природных скал и камней. Некоторые кубы, может, прошлогодние, может, позапрошлого — уже обросли мхом и имели естественный вид. Линия берега была аккуратно разложена на кубики неким кубистом, но не Браком и не Пикассо, потому что это было не на картинке. Стая птиц летела так, что в перспективе казалась одной птицей. «Не споткнись», — сказал Аввакум. Саня споткнулась о тень. Ветер шевелил пустые пюпитры, похожие на пюпитры, они же тенты летом, ветер — это что такое? И даже то, что у человека называется сердцем и распространяет по всему телу дух, или силу, этот дух, или сила называется ветром над морем, над асфальтом, домами, например, над парком, похожий на человеческий дух внутри. Но как называется сердце, которое его делает, неизвестно.

Ветер гнал домой. «Полегче, нельзя!» — сказал Аввакум ветру, но кто же его послушал. Ветер дул в спину сильно. Попалась деревяшка и еще одна деревяшка — сиденье от стула. На ней нельзя было сидеть, но можно было написать

картину. Сана подобрала. «Зачем?» — «Напишу». — «Куда денешь?» — «Повешу». — «Брось».

Они дошли до Яги, была уже ночь. Зачем? Потому что они там жили. Позвонили — никого. — Зачем кто-то на ночь глядя прется через весь город? А затем, что он там живет. Инвалид должен быть дома. Хочется спать. Почему не открывает? Никого. Аввакум ударил в дверь ногой. Никого нет. Он должен быть дома. «А может, он думал, что мы внутри, ушел, а мы снаружи. А может, он думал, что мы снаружи, нарочно ушел. А может, он внутри?» Аввакум еще раз ударил. Никого. На этот стук приоткрыла дверь соседка, которая хорошая, которая водит в баню чью-то девочку, когда ее мама болеет, а не наоборот плохая, которая водит в баню чью-то маму, когда ее девочка болеет. Соседка не стала орать. «Вам кого?» — «Извините нас, у нас нет ключа, а мы здесь снимаем». Сказала, что старик, наверное, к дочери поехал, а старуха внизу сторожит: «Это как спуститесь, так обойти с этой стороны дом, и вход как раз под этим подъездом».

Они спустились, обошли и нашли вход. Позвонили — никого. Стукнули — нет никого. «Дура», — сказал Аввакум, — сводния». — «Ты постучи», — сказала Сана. Он по башке стукнул дверь, и еще раз.

— Слышишь, стучат, — сказал Чящажышын. — Не сюда. — К нам стучат, во входную дверь.

Аввакум зачем-то позвонил условным звонком. Потом надавил на кнопку и держал так больше минуты, а потом еще больше.

— Слышишь? — Теперь слышу, — сказал Отматфеян, — звонят. — Пойти посмотреть, что ли? — А куда старуха-то делась?

Чящажышын встал и пошел посмотреть. Как раз Аввакум еще раз стукнул. Чящажышын открыл. Сана с Аввакумом увидели вместо старухи Чящажышына.

Он сказал им, что он не сторож, а старухи-сторожа нет; они сказали, что снимают у старухи, а ее дома нет. — Постойте здесь, — сказал Чящажышын, — я сейчас приду.

Он вернулся в комнату к Отматфеяну: — Там какая-то девица со своим приятелем, чего-то я ничего не понял, какой-то ключ им надо у старухи взять, старухи нет. — Так гони их, — сказал Отматфеян. — Нет, они вроде у нее снимают, а ее дома нет. — Ну и что? — Откуда я знаю, пойди сам и посмотри.

Отматфеян вышел. То, что он увидел, было не то, что он вышел. И то, что он вышел, было не то, что он увидел. Это было сразу т о, что он вышел и увидел. Впопыхах. Он сразу узнал, ну и что, что впопыхах.

— Здравствуйте, — сказала Сана. — Кого вам? — спросил Отматфеян. — Вы сторож? — спросил Аввакум. — Сторожа нет, что еще? — сказал Отматфеян. — Больше ничего, — сказала Сана. — Ничего так ничего, — ответил Отматфеян. — Пойдем, — сказала Сана Аввакуму, — «два красавца, не видишь». — «А что же ты, по ночам ходишь!» — сказал Отматфеян.

Он сказал это громко, но на самом деле он это сказал про себя, потому что про «красавцев» Сана тоже сказала про себя, но он это слышал, но она это слышала.

— Извините, тогда, — сказал Аввакум. — Да ничего, — сказал Отматфеян, — вы же не знали.

Ушли.

— Опять к морю! — сказала Сана. — Мы же к морю приехали.

Они пришли туда, куда приехали. «И зачем мы сюда приехали?» — «Смотреть». — «Сам смотри». Аввакум смотрел. То, на что он смотрел, было больше слышно, чем видно. Море было для ушей, невыносимое для глаз. Зима — это когда солнце дальше. Тогда и люди дальше от того места, от которого солнце дальше. Тогда в метро все время лето, в час пик — разгар.

Над морем не было «ни та-та, ни печали», была пушкинская прозрачность, барковская энергичность, хотя и прозрачность тоже была барковская. «Та-та» в данном случае не плохое слово, а только синоним веселья: над морем было ни весело, ни грустно. Посредине черного юмора маркиза и светлого юмора Баркова — была пословица, в которой каждый зверь после этого дела — печален. Но над морем не было и пословицы. Орудия труда с первобытнообщинного строя (а был ли такой? это когда все были родственники, когда милиционер был всем родственником) совершенствовались, и главное орудие, которым делают то-то и то-то и деток, тоже модернизировалось: электрифицировалось, радио-

фицировалось. — Мне надо, — сказала Сана. — Садись здесь. — Неудобно, могут увидеть.

Она отошла подальше в сторонку, чтобы сделать то, что ей надо — смыться. Море смыло. «У тараканов есть крыльшки», — «Зачем они им, они же бегают?» — «А когда на земле ничего будет есть, они улетят?» — «К звездам, что ли?» Выскочила из кустов, смылась.

Она была перед дверью, как раз тогда...

— Опять звонят, — сказал Чящажышын. — Лежи, я открою.

Отматфеян открыл. Он ничего не спросил. Она ничего не спросила. Он ответил: «Я не один». — «Я тоже не одна». Он сам себе ответил: «Слушай, это не гостиница. Куда я тебя, на стол положу?» — «На подоконник!»

Они разговаривали отвратительно. Но «отвратительно» — это обстоятельство образа действия, это зависело от обстоятельств. Само по себе действие было сладким, значит, оно было качественным прилагательным, потому что могло быть еще сладче. Они действовали точно по грамматике Ломоносова: имя, глагол, междометие; имя для названия вещей, глагол для названия деяний, междометие для краткого изъявления движения духа. Спали стоя, как некоторые животные, как многие, в стойле; стояли в раздевалке: вешалки для пальто, ящики для сапог, мокрая дубленка на крючке. «Сапоги тоже снять?» Половая тряпка и ведро, банкетка. «Во что ты превращаешь любовь!» Динозавры тряслись, когда земля тоже тряслась, извергались вместе с вулканами, которые извергались — эпически трахались. — Ты зачем за мной приехала? — Наоборот, я от тебя уехала, я еще вчера сюда приехала. — Уехала от меня именно туда, куда я от тебя уехал. — А ты тоже от меня уехал?

Почему это у символистов если солнце, то стеклянное, а небо огненное; а у реалистов солнце протухшее, а моря как будто вообще в природе нет; а у романтиков одно море, над которым все время ветер свищет.

Выбирать не приходилось: железные сучки, полянка за решеткой. Вытирайте ноги, вчера мыли в лесу. Батарея заменяет и горячую ванну, и одеяло, у сентименталистов все должно бы происходить у батареи. — А что это еще за история с ключами? Где ты остановилась? — Правда, наверху. Мы приехали вчера и сняли там комнату.

Ветер раскачивал железные крючки на вешалках в роще, электрическое солнце «стеклянное» и грело, и светило. В батареях текли ручейки, полянка, выложенная кафелем, была сухой и чистой; небо было в облаках, из одного желтого облака капало, под ним стояло ведро. Сана наследила и тропинка вела к окну. — Как ты ко мне удрала? — Пошла в туалет и смылась. — Врешь все!

Потом на горизонте появилась светлая полоска от восходящего, надо полагать, как солнце, Чящажышына, но тут же исчезла, Чящажышын только выглянул, даже не сделав круг — у него не было предлога всходить. А у солнца, как у Чящажышына, не было предлога не всходить — и наступало утро со своей колбасой и яйцами всмятку, с зубной пастой и пятаком на метро, с шарфом, нужно, чтобы прошло три поколения, чтобы нормально научились завязывать шарф. «Ну хочешь, я сделаю круг, посмотрю, как он там, и под каким-нибудь нормальным предлогом вернусь?» Должна под нормальным предлогом не было: ветер разогнал тучи, и ту желтую. — Уже поздно, иди. — То есть уже рано. Не пойду никуда. — Ну иди, Сана. — Нет. — Пойдешь. — Нет. — Я тебя утоплю в батарее!

Повеситься на вешалке — крючков полно. Как мы разговариваем, на каком-то тарабарском языке: ну что, как дела, ничего, как ни в чем не бывало. Внутренности троллейбусов — на поп-арт. «А может, у меня хэппенинг, и я хочу переспать с тобой в раздевалке». Евангелие — описание первого хэппенинга, нет, второго; первый хэппенинг был потоп. — Ты чего добиваешься? Чтобы я здесь повесился, в раздевалке? — Я сейчас уйду.

Вешалки, которые можно было использовать как деревья, так и использовали.

— Давай погуляем, — предложила. — Где, среди вешалок? — Среди деревьев.

Крючки зашелестели, но не зацвели. «Сядь!» Она села и высушала, что она его не любит, никого не любит. «А что, разве любишь?» Сказала «да». — «Это из другой области».

В этой области мерзость запустения, и не потому, что пустой холодильник (ничего поесть) и даже нет кровати и стола, а потому что можно плонуть, написать, ударить и подставить другую щеку не из смириения, а от восторга:

чтобы унизиться, а потом послать. Ей нет оправдания и прощения, этой области, хотя, если правда, что когда «горяч или холоден» — это хорошо, а когда «тепло» — плохо, есть оправдание, но, наверное, это неправда. Каждый сам за себя, сам по себе, без жалости к друг дружке, а на остальное наплевать: «вынь да положь», и никто не пожалеет, потому что нет ни мамы, ни Ванечки. Что с ней делать, с этой «мерзостью запустения», когда в остальные дни, когда ешь манную кашку и выкуриваешь всего три сигареты в день, что делать с этой периферией, нет, с этой столицей, когда в остальные дни (когда ешь манную кашку) ты ее имеешь в виду, а два раза в месяц она становится реальностью. А куда денешься от реальности? И вот тогда тебя тосят в батарее и вешают в раздевалке. А где эта область территориально находится? Не на Северном полюсе, что холоден, и не на Южном, что горяч, о! если бы она была на северном или на южном, а она может быть даже в ванной или на кухне, или в подъезде. Никто ее не ищет, она сама находит, и ей надо давать. Нельзя сю пренебречь, тогда она начинает прогрессировать в своей настойчивости, и лучше всего ей сразу дать. — Я мертвый человек. — Это первоклассно с мертвым!

Первое, второе, третье; на второе — бифштекс, на третье — компот; первое таинство — рождение, второе — смерть, адюльтер — компот. Это даже не адюльтер — «пур адюльтер» — для взрослых: это когда гостиница, пароход и чулки, и духи, двуспальная кровать; а здесь: если два стола составить, будет двуспальная кровать, даже и такой нет; ведро, лужа, раздевалка, это для кого? для деток; так детки играют в дочки-матери. Вот здесь у нас в раздевалке дом, вот тут на банкетке мы будем спать, на первое — кулич из песка, на второе — вода из лужи. И что-то начинает происходить в природе, если телефон и телеграф — это часть природы; не северное сияние, конечно, не землетрясение, как у динозавров, а свое: какие-то исполнительные звонки по телефону, условные, под стать условиям, звонки в дверь, кто-то звонит и убегает, анонимные письма с расчлененкой, с неба (с пятого этажа?) падают яйца и разбиваются у ног. Этому есть объяснение? Нет. Так же, как нет и грому, и северному сиянию. А ветер, точно, происходит от солнца, потому что сердце, которое его делает, точно, так называется. Научное открытие.

Спасаться от мороза, как от страсти, от которой спасаться, как от мороза. Едино. В раздевалке ударили мороз. Он из этой области. Язык было больно оттирать от железяки. Это еще детское правило: не надо лизать железные клачки. «Не надо, так больно». — «Но жутко приятно». На языке осталась кровь: кожа прилипла к ж..., которая стала железной от мороза. «Дай язык». Немного отошло. «Еще больно?» — «Очень больно».

Когда человек удаляется, он становится птицей, когда птица удаляется, она становится звездой, а так это совершенно одинаковые величины: человек, птица и звезда. Звезда для того такая большая, чтобы человеку было видно, какая она маленькая, чтобы птице было видно, какой человек маленький. В раздевалке это трудно было доказать. Отматфеян от банкетки удалялся к вешалке и не становился птицей, от вешалки удалялся к окну и не становился звездой: не те масштабы. «Зачем ты ко мне приехала?» — «Я к морю приехала». — «Иди тогда к морю, раз ты к морю приехала!» Отматфеян был не морем. И не потому, что в нем нельзя было утопиться, а потому что над морем не было «ни та-та, ни печали», а над ним было. «Сейчас старуха придет, куда я тебя дену!» Неправильный обмен веществ: жутко неправильно менялись мясо и картошка, соленое и сладкое, булочка и аэродром.

Все всегда можно объяснить. Почему человек не помнит то время, когда он был звездой; это звезда помнит. Потому что он был в другом качестве, в качестве звезды. Как же много человек заботится об уюте и чистоте в своей комнате: чтобы были новые обои, чтобы был отциклеван паркет. Обои, это что в природе? покров на листьях. Об этом ветер заботится и дождь. Человек заботится о своей одежде (о пальто и сапогах), а бог о своей (о море и горе), и бог не имеет отношения к тому, что в магазинах нет пальто. Гора — это тот же шкаф в комнате. И если шкаф не идет к человеку, то человек идет к шкафу. — Миленькая моя, или Христа ради, звездочка моя. — Нет. — Уйди, ведьма, ты от меня, пошла вон!

Сейчас будет гроза. Электрические разряды от соприкосновения железных крючков. Гром от вышевивших соседей. Прижалась. — Деточка моя, любовь, чего хочешь? —

Давай поженимся. — Где поженимся? Тут, в раздевалке, да? На банкетке, да? За решеткой среди крючков. Давай. Давай поженимся, пока старуха не пришла. Обвенчаемся. О ведро не споткнись. Чящажышын!

Отматфеян разорвался на весь вестибюль. Чящажышын появился в перспективе таким дохленьким солнышком. Но он все входил, входил и засветил. Он притормозил у раздевалки. «Чего орешь?» — «Иди сюда, друг. Сейчас нас обвенчашь. Давай сюда, вставай». Отматфеян открыл ему дверь в раздевалку. Чящажышын подошел к окну. И общее солнце, и он, Чящажышын, солнце, в частности, ярко светили. «Говори». — «Чего говорить?» — не понял Чящажышын. — «Говори, что венчаются раб божий и раба божьей, говори...» «Ну, венчаются». — «Дальше говори». — «Как вас зовут?» — «Сана». — «Александра ее зовут». — «Раба божья Александра рабу божьему...» Чящажышын сказал. «Молодец». — «Целуйтесь теперь». Отматфеян поцеловал Сану в щеку один раз. И потом еще два раза. И она трижды его поцеловала. «Теперь чего делать?» — спросил Чящажышын. — «Теперь тут стой на стреме. Старуха придет, дашь знать, а мы пошли».

Онишли по коридору одним человеком: он был силой, остальное, она, было цветом. Они дошли до театрального кружка. Там уже было постелено. Не сразу легли. Сана сказала, что ей кажется, что она как бы последний человек, который родился, то есть тех, кто младше ее, она уже не видит; видит, конечно, на улице детей, девочек и мальчиков, но они кажутся ей старше, они как бы тетеньки и дяденьки; то есть позднее ее уже никто не рождался. «Это ты правду говоришь?» Отматфеян так спросил, потому что считал, что он как бы первый человек, самый первобытный, что старше его никого нет; есть, конечно, старички и старушки, но они как раз детки; что перед ним как бы никто не рождался, только после него. После этого они легли: самое молодое и самое старое — вместе, самое младшее и самое старшее — вместе. О чем говорить?

Он спросил, что она думает про дождь, который начался, потому что Чящажышын зашел за тучку. Она сказала. Она спросила, что он думает про стаю птиц. Он сказал. Сана сказала, что думает по-другому, что птица в стае — это часть одной птицы, что только все вместе они и есть одна птица. Он хотел сказать еще про птиц, но подумал, что ей будет неинтересно. Не сказал. Она хотела сказать еще про птиц, но подумала, что ему будет неинтересно. Не сказала.

Когда люди друг друга еще плохо знают, они как будто и не хранят, и не блюют, и даже в туалете не ходят, а делают только все самое хорошее. Отматфеян блеванул. Определенная степень близости. Это было еще вчера, которое не усвоилось сегодня. «И ты хочешь сказать, что тебе со мной хорошо?» Сказала «да». Ведь произносят в винном магазине католическую молитву, когда стая голубей сверкает в небе, когда полутаксист, полуфраер вместо центра везет в Филевский парк со своим предложением, а у другого Харона в машине сломанное и потому лежачее сиденье; после часовой тряски ломит спину. Все плохо. Хорошо только то, что линия реки — не линия, и леса — не линия, и шоссейной дороги. Но часть леса, реки и шоссейная дорога образуют свою линию из-за напольного тумана, он и есть безусловная линия. И туман образует рельеф, который исчезнет, как только туман исчезнет. И не надо запоминать: по рельефу не узнаешь эту местность в следующий раз — скрыты ориентиры и приметы: ларек, дом, поворот. Этой местности не будет, она есть только один раз — сейчас, и значит, ее нет. Условность рельефа: реки, леса и шоссейной дороги вполне реальна. Лес и автобусная остановка отлетают вместе с туманом, и вместо них остается ничего, которое будет, когда нас здесь не будет, и не будет ничего: ни окурков, ни апельсинов, ни сигарет.

— Ты любишь меня? — Одну девушку, которую я люблю... Я ее когда-нибудь соблазнил. — Девушка? — Она — красавица, ты тоже — красавица, она — спящая красавица. — У тебя с ней было? — У меня со всеми было. — С ней было? — С ней — никогда, потому что спит. И пускай себе спит, а я не буду ее будить, я не тот человек. Я тебя буду будить. — Ты меня ненавидишь? — Я тебе все делаю сразу.

Жизнь за окном и в комнате состояла из деталей «для прозы» и «для стихов». Больше всего деталей было для стихов. Хотелось все сразу. Наплевать на рифмы. Смысл заключался в том, что все-таки сначала дождь, а потом стишок про дождь, что сначала потоп, а потом про этот стишок, и никогда наоборот. И никогда в жизни поэт не мог остановить дождь, а ветер мог. И слава Богу, что молитва —

это не факт литературы, потому что молитва вроде бы способна, если она из уст... Если будешь хорошо писать стихи, то будешь хорошим поэтом, если не будешь делать гадости, то будешь хорошим человеком, а что значит хорошо помолиться? это значит, что молитва будет услышана. А хорошо — это как? Уже сто раз — и не фига. Значит, плохо. Недостаточно хорошо. А если самый лучший язык — а самый лучший, конечно, итальянский, если на нем петь, то дойдет до сердца, то на каком, спрашивается, языке молиться, чтобы дошло до Его сердца. Где такой язык и кто его знает? Будем долбить по самоучителю, распространять на ксероксе, выучим своими силами и вместе помолимся, интересно, услышит? «И смысла нет в мольбе». Это в стихах смысла нет в мольбе. Тогда хотя бы оперу послушать.

Отматфеян успел накрыть Сану барахлом — Чящажышин даже не постучал: «Подъем. Старуха пришла».

Он зашел по-соседски. Кто такой сосед? Не надо прикладывать дополнительных усилий, чтобы видеть соседа. Он всегда тут как тут. Не надо переться через весь город, чтобы сказать ему «Привет».

Устроили из Дома культуры коммуналку. Они продолжали лежать на двухспальном столе, вдаваясь в подробности «когда пришла», и «что сказала», и «теперь она что?». «Поставь чайник». Чящажышин налил и воткнул. Как дальше жить? Выпести все бутылки, под оперу «Риголетто», вытащить пробки: «веревка оборвалась» — «а ты нежнее тяни» — и двинуть в магазин сдавать, прикуриваем от свечки, а в море гибнут матросы. Так можно извести весь морской флот. Как дальше жить? Остается только одно: пойти погулять. Как же это другие так ловко живут и почти совсем не гуляют.

— Давайте попьем чаю и погуляем. — Кровать застели.

Вышли. Хорошо гулять втроем. Всегда, когда не о чем говорить вдвоем, всегда есть о чем поговорить втроем. Поменьше пауз. Саня взяла Чящажышина под руку. Отматфеян не отбил ей руку, как Венере, как отбил ей, может, Вулкан, ее муж, за то, что она тоже взяла одного под руку. Отматфеян был не язычник. Он сказал: «Пошли по той дороге». — «Она же узкая», — сказала Саня. — «Ничего, пройдем». Они пошли гуском: впереди Саня с целой рукой, потом Чящажышин, потом он. Вышли к пирамиде из гальки. Стали на нее подниматься, чтобы лучше было видно, что где плывет, чтобы быть поближе к небу, у которого отрезали детородный орган и выкинули его в море, у которого каждую минуту отрезают и каждую минуту выкидывают. А где у неба детородный орган, в каком месте? Скорее всего на горизонте, там, где небо соприкасается с морем. Воображаемая линия, горизонт, она же — уд, все, что за ней не видно, а все, что перед ней, видно. Уд то поднимался, то опускался, в зависимости от того, как они поднимались на пирамиду. — Дай сигаретку, — сказала Саня Чящажышину.

Как-то быстро они перешли на «ты». «Солдаты, на вас смотрят вечность с высоты этих пирамид». Галька осыпалась. Тогда для чего нужны были эти пирамиды, если не для вечности? Для строительства. Их не специально строили, их раз-два и насыпали. Грязные и кривые — некрасивые. Шел дождик, и сильнее всего он шел на вершине пирамиды, потому что она была ближе к небу.

Съехали к морю. Что-то подпывало. Площадь соприкосновения неба с морем была все больше и больше за счет дождевых линий по сто метров в длину. Линия горизонта из горизонтальной линии перешла в вертикальную плоскость, которая двигалась на людей, двигая что-то, что плыло по воде к берегу. Сила падения неба в море обладала такой мощностью, при которой вырабатывался свет, независимо от солнца, потому что солнца не было видно, а все равно было светло. Гидра, построенная на горизонте (на месте впадения неба в море), как раз и подавала этот свет, она же и шумела. К берегу уже подплыло то, про что можно было сказать, что это. Это было того же порядка, что из пены морской, из раковины — вышла. Она не вышла. Спящая красавица продолжала лежать на деревянном лежаке — его почти прибило к берегу. Те же трусы, тот же лифчик телесного цвета. Та же короткая стрижка. Чящажышин подтянул лежак и потрогал спящую красавицу. Не шелохнулась. Целоваться не хотелось.

— Целоваться будешь? — спросил его Отматфеян. — Попшли отсюда или целуй.

Красавица спокойно дышала. Она была теплее воздуха, над ней поднимался пар. — И не разбудил? ни фига? — спросил Чящажышин.

Сана смотрела на девушки, которая была сделана из сна и красоты, а Саня была из чего? из завтрака и грусти,

и пятьсот раз из поцелуев не с теми, от которых просыпалась сто раз, все равно из злости. — Возьмем ее с собой, — сказала она им. — А знаешь что, ты поцелуй ее на всякий случай, — сказала она Чящажышину, — может, она проснется. — Он поцеловал. Но это был не тот случай, она не проснулась. — Ты сначала посади ее, а потом поднимай, — сказал ему Отматфеян.

Теперь спящая красавица лежала вертикально, как горизонт, то есть стояла, который стоял всегда, когда шел дождь. Повели. — А ты лежак возьми, — сказал Чящажышин Отматфеяну, — я, может, на нем спать буду. Мне спать не на чём.

Пришли в кружок, как к себе домой. Мимо консьержки, мимо дуры. Не заметила. Хочется есть. Плитку можно купить. Можно взять напрокат. А пока можно чай.

Чящажышин смотрел на Сану не просто так. Он смотрел на нее так, как Андрей Белый на жену Блока, как Данте на жену Пушкина, как Александр на жену Наполеона. Конечно, Андрей Белый любил не жену Блока, а самого Блока, и Данте любил Пушкина и скрывал, а не скрывал, что любит жену Пушкина, и Александр любил Наполеона в сто раз больше, чем его жену. Чящажышин любил Отматфеяна, но это был не дагилевский случай. В данном случае Саня была телом (в космическом смысле), через которое можно вступить в связь с душой (имеется в виду душа Отматфеяна). Просто так ограничиться душой Отматфеяна Чящажышина не мог. Тело Отматфеяна (не в космическом смысле) его мало занимало. Поэтому для Чящажышина Саня была идеальной длиной, шириной и объемом, она была для него идеальной высотой и весом — он мог бы с ней спокойно, потому что она была для него блуждающим телом (не в смысле блуда), связующим его и Отматфеяна. Вот так он на нее и смотрел.

— Звонят, — сказал Чящажышин. — Без нас откроют, — сказал Отматфеян. — можно подумать, что ночь!

Аввакум давил на звонок, и это был конец мая, завтра первый день лета, все цветут, по газонам не ходить, цветы не рвать! Спесьяль. «Что такое спесьяль?» — «На арго это проститутка специально для извращений». — «А что такое извращение? Между Сциллой и Харибдой». — «Нет, правда?» — «Все — извращение!» Бросил звонить.

Аввакум вернулся к себе в комнату. Под полом, под землей ходили. Он слышал. Гад морских подземный ход. И она среди них. Инвалид стучал по коридору протезом. Аввакум распахнул дверь. Перед ним стоял — в трусах, на копытцах, а рожки где? сбрил. Черт был обратно пропорционален инвалиду — в самых невыгодных местах фокусировалась лучи. В татуировке на груди была нарушена перспектива: изображенная на ней дама сердца была сердцем черта, но тогда у него не было дамы, и была дамой инвалида, но тогда у него не было сердца. Аввакум подошел вплотную. Черт был выпукло-вогнутым, он был негром и белым. Негр — это вогнутый белый, белый — это выпуклый негр (Пушкин — это вогнутый Байрон, Байрон — это выпуклый Пушкин). Аввакум подхватил его, как пушинку, и хлопнул об пол — сразу дырка. Оба провалились. Прямо в кружок. Черт выпал белым и испарился негром. Аввакум встал. Эти готовились пить чай. Саня подошла, как спесьяль. Как еще она могла подойти. Молчит. «А тебе хотелось меня когда-нибудь побить?» — «Очень хотелось иногда». — «Тебе хотелось ударить или отшлепать?» — «Все вместе». — «А шлепать — это ведь смешно». — «Очень смешно». — «А ударить не смешно». Сейчас не хотелось ничего. Почему-то он сказал: «Я уезжаю домой», — но не сказал: «А ты?»

— А мои вещи? — спросила она. — Там, — показал Аввакум в дырку на потолке. — Ты еще туда вернешься? — Да, — ответил. — Выкинь их тогда сюда.

Ушел. Зачем он заходил? То есть зачем он проваливался? За чем? За ней. Значит, когда они здесь спали, она уже не любила, или когда схали, уже не любила, или уже там не любила, нет, там любила, или никогда не любила, но говорила, но делала, значит, любила, не значит, а этого любит? — домой.

Аввакум стал выкидывать в дырку ее вещи: юбку — поймала, штаны — поймала, туфли — подобрала, сумку, резиновая шапочка, чтобы принимать душ, — поймала, платье. Все.

Грустно. А небо без солнца и совсем не грустное. Звезды и луна для веселья, чтобы людям было весело. Это не весело. А чтобы веселее было, и луна, и звезды двигаются. Но не веселее. Грустное зрелище это небо. Аввакум вышел из логова и пошел, но не за луной. Зачем за ней ходить? Это луна пошла за ним. И останавливалась, когда он

останавливался, и шла опять, когда он шел. Луна шла на вокзал. Она остановилась в окне, а потом стала трястись в поезде. Она тряслась, как дура. Тряслась сама по себе. Аввакум смотрел на нее, и ему не было до нее никакого дела. От нее спилились глаза. Она — для сна. Заснул.

Кошка окотилась. От кого у нее котята, если не было кота? От святого духа. Глазки еще не прорезались. Аввакум прорезал им глазки и утопил. А кошку накормил. Кошка облизала шерсть и блевнула. Он подтер за неей. И вынес за неей горшок. Она мяукала, он с ней поговорил, она с ним поговорила. Она б не утопила его деток, потому что была даже меньше ребеночка. Он опять накормил ее и опять вынес за неей горшок.

«И это жизнь?» — Отматфеян тряс Сану. Он тряс ее, как грушу. «Это жизнь!» — «Не тряси ты меня так». — «Ты этого хотел!» Музыка для фона, картина для пятна. Черная дыра наверху, в которую выбрасывают вещи, которые будут завтра носить. Из дыры тянет щами и воинью. «Я не думала, что так бывает». Отматфеян тряс ее, и тряслись трамваи, потому что уже было шесть утра, и первые люди тряслись от холода, потому что им надо было на работу. Потом все утряслось. «Ладно, что будем делать?» — «Дальше жить».

Зимой больше живешь вечером, а летом больше — днем. Зимой преобладают два цвета: белый и черный. Летом преобладает зеленый там, где есть деревья, а там, где их нет, лета нет. Человек говорит: «Если сбудется то-то и то-то, то бог есть, а если не сбудется, то бога нет». И зря он так говорит, потому что бог не в курсе человеческих дел. Человек со своими делами: полюбит — не полюбит, выздоровеет — не выздоровеет, напечатают — не напечатают — ему на фиг не нужен. Бога интересует в человеке то, что в нем есть от бога, а человека интересует в боге то, что в нем есть от человека. Человек видит в боге себя, бог видит в человеке себя — отсюда все недоразумения.

Мы выпали из настоящей жизни, которая вполне, если делать то-то и то-то: бриться, мыться, обедать, ходить на работу. Чтобы все было по-настоящему: солнце встало — и ты вставай, листочки умываются — и ты намыливайся, птичка за кормом полетела — и ты в магазин дуй! А у нас пусты все будет плохо: утро сломано, день сломан. В конечном итоге жилая комната — место, где ты умрешь, и тогда из жилой комнаты душа вылетит в нежилую комнату.

Пора идти в магазин.

— Сходите вдвоем, — сказал Отматфеян. — С тобой, — сказала Саня. — С ним, — ответил Отматфеян.

Вышли. Они шли по земле, которая была философским камнем, первоначальная материя которого была неизвестна, зато были известны прочие, вторичные компоненты: нефть, золото, дермо. Светились витрины магазинов: «Детское питание», в котором была колбаса, «Диета», в котором была колбаса. «Колбасы», в котором была колбаса, как навязчивая идея, как дождь, который лил как из ведра. Спрятались в подъезд.

— Уехал твой приятель? — спросил Чаячжышын. — Он — мой муж. — Твой муж? — Вчера уехал.

Чаячжышын взял Сану за руку, и Саня не убрала руку, потому что в батарее текла холодная вода, а в Чаячжышыне — теплая. Поцеловались. Гадость. Может стонуть. Но ведь не стонило. О, если бы стонило! Еще раз И опять не.

Дождь кончился — хватит. Почему бы сразу не спрятаться в магазине, в очереди за колбасой, за сыром, за яйцами? «Нам только сыр». — «В общую очередь!». Теперь хлеб.

Как раз Отматфеян заварил чай, когда они вошли. Дырка на потолке была черной, как черная дыра. Неприятно было на нее смотреть — уставились друг на друга. После чая Отматфеян достал вино, и они выпили по чуть-чуть. А через час начнут чукались. Чаячжышын не стоял на ногах, он упал возле стола, ему было плохо, как будто Отматфеяну было хорошо.

Было совсем темно, ничего не горело. Гидра, построенная на горизонте, сломалась. Уда, то есть горизонта, больше не было, он был там, где было светло, где была гидра, которая подавала свет. «Ты хочешь?» — спросила Саня. — «Больше жизни», — ответил Отматфеян. — «Я, оказывается, подзаплетела по телефону». — «Но по телефону не бывает». — «Оказывается, бывает». — «Когда?» — «Еще тогда, когда у нас с тобой было только по телефону» — «Ты была у врача?» — «Мне поставили срок, и он совпал с тем, когда у нас было по телефону». — «Конечно, люблю».

Прорвало. Из батарей, из унитаза хлынула вода и стала

заливать кружок. На улице все подавно залило. Чаячжышын умылся грязной водой, чтобы пропасть. Все тонуло и вязло. А лежак со спящей красавицей не тонул — уцепились за него все втроем. Канализационная вода поднялась до потолка, и черная дыра втянула лежак с людьми, как воронка. В этот момент раздался крик новорожденного. «Что надо делать?» Какая дикость! В Англии даже полицейский умеет принимать роды. Мысленно разделить пуповину на три равные части, затем через равные промежутки зажать в двух местах стерильным предметом. Вся грязь осталась внизу — в кружке; здесь все было стерильно: деревья, птицы, ботинки, ветки, пальцы, все, можно зажать любым предметом.

II.

Месячная стихия, которая гуляет в коляске, как король, который гуляет в любую погоду. Между стерильным желудком и сердцем, ноготками царапая легкие; между стерильным забором и щоссе, белками, которых кормить, и четырьмя снегирями — зимними птицами, которые прилетают весной, потому что весной стоит зима. Стихия умеет спать, сосать, орать; и в том, как она это делает, чувствуется ум — она умна: ест хорошо, спит крепко, орет по существу, клизму — терпит, чтобы освободить стерильный желудок. Стихия умеет — дождь, снег, ветер, мороз, и в том, как она делает дождь, сменяемый «под голубыми небесами, великолепными коврами» — снегом, а затем «грозой в начале мая» — чувствуется ум. «Она видит?» — «Да как сказать?». — «Слышит?» — «Очень плохо». — «Она улыбается?» — «Нет, это обычное подергивание мускулов». Но если она «не», «не» и «не», то тогда она что?

Это кто такой отпирковался вместе с кроваткой, ванночкой, коляской, через год — вместе с санками, потом вместе с велосипедом, вместе с двухкомнатной квартирой и автомобилем. Она орет, и мы делаем то, что она «орет», она спит и дает нам спать; «но почему я не жена Пушкина, о если бы я была женой Пушкина, у меня было бы пятеро детей, но зато была бы няня и кормилица; не нужно вырабатывать молоко, не нужно есть каждое утро столовую ложку меда, «запить кипяченой водой», сто граммов гречихи орехов (хотя бы пятьдесят), пол-литра чая с молоком. Не пить кофе, не есть апельсины, не есть шоколадные конфеты, не пить, не курить, «не» еще что-то. Но, если бы я была женой Пушкина, я точно бы осталась вдовой, потому что он умер не от простуды, а от другого. Как и Петр III умер не от простуды, и Павел, и Александр II умерли не от простуды; а Петр I умер от простуды, две Екатерины и Елизаветы умерли от простуды. Саврасов умер в больнице для бедных.

До каких пор дети плачут? До трех месяцев? До года? Плачут, потому что ничего еще не понимают. А потом уже до тридцати лет плачут, потому что все уже понимают. Где это мы? Не слабо, такое путешествие из Петербурга — в Москву. Вместо кружка — дворец (разрушенный). А может, мы веши? Нас принесли, положили, и мы живем, и нечего тряпыхаться! Стихия выгоняет из комнаты в кухню, из кухни на балкон — из дома, поглощая собой каждый дециметр. А где здесь комнаты? где кухня? кто сказал, что это дом? Стены кончатся чем? Ничем. По периметру растут деревья, травка зеленеет. В торце (там, где кончатся анфилада смежных комнат) лежит куча, а на стене надпись: «осен 1985», «осен» здесь хороша. Кучи можно убрать, стены почистить, крышу положить. Но тогда придется вырубить деревья: сосновки, березки, елочки — все, что выросло с тех пор, как Баженов не положил крышу. Екатерина не дала ему положить крышу и умерла от простуды, а он умер от горя, оттого, что она не дала ему положить крышу. Теперь во дворце пьют, блеют, жгут и одновременно его реставрируют. Рота солдат. Хотят отреставрировать за счет солдат, на халву, хорошо, если не хватит средств. Тогда вместо паркета останутся кустики, канавки, — пересеченная местность, вместо крыши — низкое небо, потому что «осен». «Баженов — наш знаменитый архитектор. По его проекту построен еще Пашков дом в Москве». Улица Баженова, Суворовский бульвар, Суворов — наш знаменитый полководец, Пушкинская площадь, Пушкин — это наше все, как сказал не Гоголь — наш знаменитый писатель, Гоголевский бульвар. «Она волит, и все равно, как я ее люблю!». — «Когда она спит?». — «Ты бы хотел, чтобы дети спали круглосуточно, чтобы они спали до двадцати лет, а потом сразу

женились. Никогда не думала, что кому-то может надуть в уши. Ведь не думала, что тебе может надуть или ему». Конечно, уши имеют смысл, если хоть один человек думает, что в них может надуть. Также и ноги имеют смысл, потому что их можно сломать и голову можно разбить. Экскурсия придет и уйдет, посмотрит на нас, на дворец — и по домам, а мы здесь останемся жить. «Ты чудовище, куда ты меня привел! Даже нет крыши над головой. Где я буду ребенка купать? Куда я его дену?» — «Отдай маме». — «И себя я отдам маме, а мама себя кому отдаст? Даже нет горячей воды! В чем смысл жизни и загадка мироздания? в холодной и горячей воде, в канализации, в паровом отоплении. Мебели тоже нет, мебель — признак хорошего и дурного вкуса. Комната без признаков жизни. «Замолчи, я тебя привел во дворец». — «Как же я тебя ненавижу. Разве так можно! Что даже можно зачать по телефону!» Куда деваются те души, которые десять часов живут под капельницей и не дотягивают до детского корпуса? недоношенные и умершие в трубах? А саддуски говорят, что сперма одушевленная, а раввин Мойи говорит, что эмбрион одушевленный, а Платон говорит, что душа живет в мозге, а Филон говорит, что души — животные воздуха, а стоики говорят, что душа живет в сердце, а Плотин говорит, что мяса не надо есть, а мама говорит, что мороженое мясо можно есть, потому что оно и не мясо.

С мильм и в шалаше рай. «Шалаш» был заложен Баженовым в 17... году по приказу Екатерины, которая хотела своей «шалаш» как Петродворец, а Петр хотел свой «шалаш», как Версаль, а Баженов не хотел «как Версаль», и поэтому мы живем без крыши. Принесем с помойки стул, диван, которые потом будут музеинными экспонатами. щетки, тазики, все, что нужно для жизни.

Как девочку назовем? Можно Анной, уже была — Австрийская; Еленой? тоже была; Екатерина? Александра? Таня? тогда Ларина; Наташа — Ростова или Гончарова; Аделаида Иванна — колода карт. Все уже были, имен нет, называть никак нельзя. Назовем ласточка или солнышко. Ласточка Ивановна, Солнышко Ивановно — «ты готов усыновить всю природу!». Зачем дети нужны? чтобы их сфотографировать. «Ты вот так ее подержи, и туда встань, хороший кадр. Теперь я поддержу и туда встану, а ты сюда нажми». Передаем, как обезьянку в Сочи: «улыбочку! готово». Кричит. Почему она кричит? Кто же спорит, там было хорошо, в утробе, на всем готовом, в магазин не надо ходить, хочешь, ногой в печень дашь, хочешь — в звезду, «а во лбу звезда горит, а в носу сопля блестит», и не надо строить космический корабль, чтобы долететь до звезды, — все под рукой. А вот не пролезет верблюд в игольное ушко! Надо сначала разрезать иголку, а потом защиту: три шва снять через пять дней, а остальные рассосутся сами. И что хорошо после того, как пролезешь: ори, чтобы покормили, чтобы вовремя сменили, не можешь выразить мысль: последовательно, лаконично, поэтично. можешь только громче и тише, мысль — в силе голоса.

До того, как сначала было слово, сначала было междометие; «краткое изъявление движений духа». Что она сказала? Она сказала «уа». Интонация крика, по ней мы судим о состоянии стихии. И погода — показатель природы, и характер — показатель человека; человек с плохой погодой, встал не с той ноги, от него сильно дует, он качается, он — обильные осадки и ниже ноля; стихия с хорошим характером: она ласково светит, без заморозков. при умеренных порывах. Стихия дает нам делать только самое необходимое, и не больше; мы делаем то, что может уложиться в крик. Не делаем больше или меньше крика, а делаем ровно крик.

...пока стоит тишина; и стоит, пока слышно, как кто-то живет в парке, судя по шороху — заяц, который летит от птицы, которая скачет за ним; и полевая мышь, которую ест бездомная собака; мышь, которая уже стала собакой, потому что та ее съела, следовательно, время идет.

Все комнаты проходные, а Чаянжысын выбрал себе поуже, самую последнюю, в торце, самую грязную, ту, где «осен», а когда она стала самой чистой, когда он пол заасфальтировал и посеял газон, и крыша у него «протекает» точно по сводке погоды, ему, конечно, неохота оттуда вымечтаться. «Ты что, так и будешь через нас ходить, это тебе что, проходной двор?» Это ему проходной двор. Живем у всех на виду, любой может прийти и посмотреть, как спим, как едим. Спинка стула, одна спинка, стула нет. Едим из тарелки без дна. И все равно каждый предмет стоит миллион, музейный экспонат, потому что «это я сидел на этом стуле и сломал его, это я спал на этой кровати и помял ее, это

я пил из этой чашки и разбил ее», все равно все потом соберут, починят, и склеят, и поставят под стекло на витрину, и за осмотр будут брать с посетителем по тридцать копеек, а с учащихся по десять, а солдатам бесплатно; а солдаты и не пойдут смотреть, потому что бесплатно они и сейчас, пока реставрируют, не смотрят, как мы едим, как спим. Кроватку поставим у окна, со стеклами всегда чистыми, потому что их нет. А на табуретку поставим весы, чтобы посла и взвесить, пописала и взвесить. Прибавляет в весе. Земля при рождении потеряла в весе и никак не может добрать; сначала ее вроде бы хорошо кормили, а теперь она недоедает: жертвенных младенцев выхаживают в вакууме, а жертвенных барабашков самим не хватает, поэтому Земля голову держит плохо, но на животе лежит, на бок сама переворачивается. Растет не по дням, а по часам, девочка растет, ее Таней зовут.

— Ну что уставился? — Отматфеян это сказал посетителю. Тот зашел в комнату и встал, как пень. — Осматриваю. — Тридцать копеек давай. За осмотр платить полагается. — Так недействующий.

Ошибся посетитель. Действующий. «Видишь, кроватка стоит, девушка спит на лежаке, эта девушка всегда и везде спит, она, так сказать, спящая красавица». Ушел и тридцать копеек не дал, ему самому надо. А нам не надо. На нас просто так можно прийти и посмотреть, вся жизнь на виду. Могут оштрафовать за акт при скоплении народа, а народ не оштрафуют за то, что он скопился как раз в том месте, где производят акт. Девочка кричит, ее Аней зовут; заткнуть уши вороным криком, жалко, что тут не поют соловьи. Народу, как грязи, как говорит наш общий друг. Если с каждого собрать по тридцать копеек, то можно пообедать, а если каждый день собирать, то каждый день можно обедать, а если есть не хочется, то можно откладывать. Но есть каждый день хочется, поэтому откладывать нечего, и тридцать копеек никто не дает, поэтому есть нечего. Питаются святым духом. А девочка все равно прибавляет в весе, ее Катей зовут, за счет нашего веса, который убывает. Живем так, как будто все хорошо: идет радиоактивный дождь, а все хорошо; птички над нами пролетят, а над Финляндией помрут, а все хорошо; помидоры соберут, привезут и выбросят, и хлеб выбросят, и картошку, а колбасу не выбросят, потому что ее даже не привезут. Все, что само растет хорошо, то выбрасываем, а все, что самим надо делать, делаем плохо, зато все у нас хорошо. Как будем вести хозяйство, какую рыбу будем ловить, в какой реке? Нельзя строить жизнь, исходя из того, что «увидимся на той неделе на пять минут». Это на той неделе пяти минут было мало, а так целые недели некуда девать. О чем люди друг с другом говорят? Об общих знакомых, об ужине, о кино, о книжках — редко, о солнце — никогда, если оно не «погода». Об общих знакомых нет, ужина — нет, кино — нет, солнца — нет. Отматфеян затряс дерево, и сухие пеленки попадали, а мокрые застрияли. Он переложил девочку из кроватки в коляску и выкатил ее вон. — Что ты делаешь! — Уходи. — Почему? — Уйди, Саня. — Почему? — Уйдешь ты или нет! — Почему? — Отматфеян навалился, он стал выталкивать Сану в проход без двери, но дверь не пускала. — Скажи, почему? Ты меня любишь? — Страшно! — Тогда почему?

Когда мы вместе — нас один, а когда мы отдельно — нас два; даже — четыре, потому у тебя — нас двое, и у меня — нас двое. — А на что я буду жить? — Это другой разговор.

Всегда мужу есть на что жить, и даже остается для жены, которой всегда жить не на что.

— Пошел ты, знаешь куда. Никуда отсюда не уйду. — Тогда я сам уйду. — Но ведь ты же меня... — Я тебя так, как никого никогда. А если бы я тебя меньше... — И куда же ты пойдешь жить? — Тут рядом, в оперный театр.

Отматфеян не стал собирать чемодан, не выкорчевал ни одного пня, не взял с собой ни одного дерева. Он сей оставил все: кусты, листья, надписи на стенах, — он не унес с собой ни одной канавки, он был благороден.

В Пушкинском музее идет выставка, на которую не попасть, потому что там маленький гардероб. Пальто приходит столько же, сколько людей, но люди вмещаются, а пальто — нет, значит, выставки нужно открывать только летом, когда люди приходят без пальто.

Чаянжысын выполз из своей комнаты на своих двоих, которые, может, были и не его. — Чего это с ним? — спросил Чаянжысын Сану. — С ним то, что не с тобой и не со мной, — ответила.

Живем напротив друг друга. И будем так жить, пока дворец не достроят и оперный театр не развалится. Смо-

трим друг на друга через окно, разговариваем через дверь: «Я на все способна, я тебя так ненавижу, я ради этого все бросила, чтобы жить в этой дыре, и встречаться где? У тебя на бороде». «А мне хорошо, да? Я месячного ребенка бросил, чтобы жить среди дерева и костров, почему?» Потому что одному хуже, чем вдвоем, а вдвоех хуже некуда. Если есть такой человек, с которым можно жить вдвоем, Чаяжышын не считается, покажите мне его, приди и буду жить. Нет такого, значит, мы будем встречаться. И встречаться не будем. То есть мы не будем встречаться каждый день.

Были герои в мировой литературе, которые так сильно любили друг друга, что преодолевали препятствия, чтобы друг с другом быть. Препятствия такие: папа с мамой не велят, денег нет, жить негде. Все эти препятствия мы преодолели и, хотя мама с папой так и не велят, денег так и нет и жить негде, мы все-таки живем и преодолеваем свои препятствия, чтобы друг с другом не быть. А ведь мы любим друг друга не меньше, чем Ромео и Джульетта; у них просто до этого не дошло; и у Отелло с Дездемоной до этого не дошло, хотя, если бы он ее не задушил, может быть, и дошло; и у Татьяны с Онегиным, может быть, дошло, если бы она изменила мужу, но она не изменила, но он ее задушил, но они отравились, а мы живы, и нам надо пить, есть, любить.— Я живой человек, я тебя полюбила.— Как меня можно любить, когда я живой человек.

Живой человек, конечно, может любить, но не живого человека.— А живого, да или нет? — Да, если его нет.

Где его нет? Отматфеяна «нет» в оперном театре, где поют птицы. Девочка не поет. Почему не мелодия, а крик? Будет петь, когда научится говорить. Значит, сначала слово, а потом мелодия, и птицы знают слова и поэтому поют. Теперь понятно, почему в опере не разберешь слов, потому что и у птиц не разберешь слов.

— Кто-то сюда идет,— сказала Сана. — Кажется, моя жена,— ответил Отматфеян.

Оказывается, у него есть жена. По крайней мере, была. А Сана об этом ничего не знала, нет, знала, но забыла. И он знал, но забыл. Но это всегда подразумевалось.— Спрячешься в шкаф, когда она войдет,— сказал.

В шкафу уже сидит. Она же сидит в шкафу, прячется от предыдущей жены, которая тоже там сидит и прячется от предыдущей, и каждая выскакивает и убивает последнюю. Нет, Сана не будет прятаться в шкафу, она их всех сразу закроет в шкафу, чтобы они все сразу задохнулись, чтобы они передушили там друг друга, а потом задохнулись или сначала задохнулись, а потом передушили.— Давай отсюда в окно, это точно она,— сказал. Сейчас она будет здесь. Когда она будет здесь, Сана будет за окном, потому что когда в дверь входит каждая предыдущая жена, каждая последующая выходит через окно. Вошла. Вышла.

Деревья шумят. Они сами выросли, но так, как были задуманы: аллея, просека, одно дерево, ряд деревьев. В отличие от дворца, который тоже был задуман (фундамент, стены, арка, анфилады), но сам не вырос, но все-таки по-дрос: природа включилась в работу, разбросав на стенах «то березку, то рябину», она из новой вещи, в которой неловко показаться, сделала старую и любимую: протирки на коленках, дырки на локтях, плеши на воротнике. В этом смысле мы будем частью природы, когда потихоньку будемходить к солдатам и сажать кустики там, где они их вырвали. И ветер, и дождь будут ходить с нами: они будут бить стекла и заливать пол. Они будут нашими союзниками.

Мы каждый раз сегодня начнем с того, что завтра начнем работать. Чаяжышын пьет чай, даже нечем размешать; и стихи пишет. Поэтическая форма дана, чтобы лучше усвоить информацию: что жизнь — дар напрасный и случайный, что на свете счастья нет, а есть покой и воля, что были люди в наше время, что на берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн; и, чем лучше сказано о том, что было, тем значительнее становится то, что было, потому что слово больше события. Но у Чаяжышына нет события, равного слову, так же, как и слова нет события, равного Чаяжышыну. Чаяжышын знает слова, которыми можно есть, спать, умываться, но он не знает слов, которыми можно видеть и слышать: «Скажите, что я должен увидеть на этой картине?»— и, хотя Чаяжышын хочет писать стихи, стихи не хотят писать его. И они идут к другим: к Сане, но у нее «белые надо постирать и девочку уложить», к Отматфеяну, но у него магазин скоро закроют и карандаш как раз сломался; к спящей красавице, чтобы высপаться следующему разу.

Приятно, что у нас четыре времени года, а не два и не одно, как у некоторых, и приятно, что они нам даются без усилий, потому что нехотя солнце за руку водить, чтобы оно ниже зенита проходило, листья за уши тянуть, чтобы они из почек выплыли,— само как надо пройдет, сами выплынут. А мы будем любоваться. Потому что нельзя любить то, чего так сильно добиваешься; но солнце само встанет и само сядет. и не надо вставать в шесть часов утра, чтобы его поднять, а потом пилить в другой конец города, чтобы его посадить. Все нравится, все вещи сами по себе хороши: и то, что ты ко мне приедешь, и то, что я к тебе приеду, не нравится только порядок вещей: что тебя в это время лома не будет. И то, что зима сменит осень, только ее в это время не будет, потому что снега не будет и мороза, зато мороз будет летом, которое будет плохое, как осень, хорошая, как зима. Тогда надо договариваться, чтобы точно быть на месте: от и до. Чтобы точно осень была на месте: от и до. Ровно три месяца и не больше. А потом зима: от и до; и вовремя свалила. И наступила весна, чтобы ее не ждать и не звонить перед выходом, и не топтаться у двери, записку не писать тушью для ресниц: что, мол, была, когда тебя не было. А за нее лето: от и до; вчера вечером договорились, а утром оно тут как тут, прямо в постели, не ранне и не позже, а вовремя, как договорились, тоска. Одна тоска от такого порядка. Пусть лучше будет как есть, даже если и ничего нет: ты приедешь, а меня в это время не будет, хотя должна быть, весной, которой в это время не будет, должна быть. Тоже не нравится. «А чего ты, собственно, хочешь?» Порядка в беспорядке: случайно заехать, а ты как раз дома. Выглянуть летом из окна, а там как раз лето. Мало. Но здесь дело не в порядке, а в частоте: хочется так же, но чаще, значит, хочется так всегда: как раз заехать, а ты как раз дома; но это может быть только раз, а раз — не может быть всегда из-за несогласия порядка и частоты, поэтому выглянешь летом из окна, а там выходной день.

Когда увидимся? В любой день, но только не сегодня. Значит, завтра? Но когда завтра становится сегодня, оно переносится на завтра. Увидимся в воскресенье, которое за понедельник, в шесть часов, которые за девять, при дожде, который идет за снег, который обещали. Звонит телефон, который бы точно звонил, если бы он был. Молчат.— Мне кто-нибудь звонил? — спросила Сана Чаяжышына. — Кто-то молчал.

Есть такая форма общения — молчание по телефону. Всегда знаешь, кто молчит кто. Промолчат целый день. а к вечеру придут. Нет, чтобы предупредить, то есть предупредить да. Пришел без звонка. Аввакум пришел. Чтобы сразу прийти, увидеть, победить. Зачем ему предупреждать, он муж. А чего тут приходить, чего видеть, кого побеждать? Чаяжышына? «Да, вот мы так живем, Чаяжышын — сосед, он в той комнате, а мы с девочкой — в той, а спящая красавица — в этой». — «А этот где?» — «А этот с нами не живет, он в оперном театре живет со своей женой, можешь посмотреть?» — «Так ты для этого от меня ушла, чтобы от него уйти?» — «Для этого». — «Я тут наведу порядок». Муж — тот, кто придет и наведет порядок, чтобы по заведенному порядку жить, как надо, чтобы Венера не путалась на горизонте, а вращалась вместе с землей и с другими, как надо, муж — тот, кто будет есть суп, да, даже если его есть нет.

— Уже крышу кладут,— сказал Аввакум Сане, — уже в том отсеке положили.— Слышишь, — сказала Сана Чаяжышыну, — пора крышу ломать, уже в том отсеке положили. — Слышишь, — сказал Чаяжышын.

— Сейчас поедим и будем наступать,— сказал Аввакум, — сегодня вечером, когда стемнеет, ночью, сейчас поздно темнеет. — Значит, утром, когда совсем стемнеет, пока не рассветет, сейчас рано светает.— Ты прожуй, а потом говори, — сказала Сана.

Аввакум уже в завтрак все прожевал, поэтому в обед нечего говорить.— Завтра будем наступать,— сказал Аввакум, — сразу после завтрака, чуть-чуть передохнем, чтобы не на полный желудок, чтобы усвоилось.— У кого это полный желудок? — сказал Чаяжышын, — я считаю, что лучше сегодня, как только поедим, чтобы с полными силами, пока они есть, а не когда стемнеет, когда сил не будет.— Так когда же? — не выдержала Сана.

— Сказал, что пойдем сегодня,— сказал Аввакум.— Отматфеян тоже хотел,— сказал Чаяжышын, — я ему пойду скажу, чтобы у нас больше было сил, а то солдат больше.

Как он невыносим и противен настоящий момент, он требует активности от нас, соучастия, мы должны помнить о том, что этот настоящий момент — настоящий. А мы хотим, чтобы этот настоящий момент быстрее в прошлое свалил, стараясь не иметь в виду, что слово «настоящий» вмещает в себя два значения одновременно: настоящий — в значении времени (напр., в настоящую секунду), и настоящий в значении положительного качества (напр. настоящий человек). И от такого настоящего-пренастоящего можно завытить, потому что оно наступает из будущего и не дает осмысливать себя в настоящем, а только когда становится прошлым. Это отвратительное — сейчас, к которому всегда сейчас не готов, к которому вчера был готов и завтра будешь готов, а сейчас голова грязная и болит и штаны мятые. Нет, во что бы то ни стало справиться с настоящим моментом! быстро — под душ, штаны — под душ, запить таблетку пенталгина. Вот, это сейчас! Давайте же будем готовиться к нему в следующий раз еще на прошлой неделе, чтобы оно не заставало врасплох, чтобы, как только идет настоящая секунда, чтобы мы ее по-настоящему приняли со свежей головой, чтобы все запомнили: и где солнце стоит, и где за ним месяц стоит, и где за ним ты стоишь, вот эта настоящая секунда, как хорошо! «продлись, архарований! Но за ней опять настоящая, и опять настоящая! И, если можно собрать силы и внимание для одной настоящей, то уже для следующей сил нет, следующая так и валит в прошлое мимо настоящего, что и требовалось доказать.

Но ведь бывает и «частье», которое бывает только в настоящем времени — «щас», в разговорной речи, когда совпадают транскрипции щастья — щас, и это счастье — счас останавливается прямо перед тобой, когда ты к нему не готовишься, за твоей спиной, чтобы не спутнуть своей воплощенностью, подставляя зреню и слуху все свое «щас», и ты видишь солнце, которое по-солнечному светит, и ветер по-ветреному дует, и человек по-человечески смотрит, и это есть то, как это называется: солнце, оно и есть солнце, ветер, он есть ветер, человек, он и есть человек. А не так, как это называется, когда не «щас», когда одно, так себе, воспоминание (поэтическое?): и солнце, как красна девица, прячется за стаю туч, которую гонит «ветер-ветер, ты могут», и королевич Елисей скакет за своим «щасьем».

Чящажышины съел на стороне суп, который Отматфеян жена сварила, которым он с другом поделился, и пришел сказать, что «щас».

Будем наступать со стороны восхода, с солнцем, пока оно не закатилось, мы закатимся с ним — к ним, стрелять по солдатам из пальца; это на персидском ковре висит серебряный кинжал, а на ширпотребном тоже висит холодное оружие — рогатка.

Красивая ночь. Звездам нет числа. Людям числа нет. Неохота вставать. Может, и не вставать? может, лучше так и встречаться раз в сто лет? Потому что если чаще, то нужно решать, как жить дальше, а если так и оставить раз в сто лет, то можно не решать, а жить дальше.

«Вставайте! — Чящажышины мерцают белыми трусами, как луна в кустах, ему-то что не спится? — Вставай, — сказал он Сане. — Левочка проснулась. — Может, завтра, — сказала Сане, — она и завтра проснется. — Чящажышины прав, завтра она уже будет сидеть, потом ползать и ходить. Завтра у кенгуру отвалится сумка, и из кенгуру произойдет обезьяна, из которой завтра произойдет человек в поисках сумки по Дарвину. Значит, сейчас? Еле просыпаемся, поворачиваемся, никак не можем оторваться от кровати, велика, конечно, сила притяжения. Не оторваться даже на ракете, потому что нужно вложить в ракету все самое драгоценное, что есть на Земле: золотые и платиновые коронки, алмазные перстеньки, нужно всю ее облизать и облить спиртом и вытереть бязевыми тряпочками. Своими силами преодолеваем силу притяжения. Аввакум, не своими, прочистил горло спиртом, который остался после чистки ракеты. Хочется спать. Хорошо бы под душ. А вот он, и душ. Как раз вовремя. Накропывает, чтобы быстрее проснуться. Все сильнее и сильнее стучит по голове. Похоже, гроза. А ведь человек промокаемый, не как белый котик, непромокаемый, и боится дождя. Чящажышины как посмотрит, так сразу и скажет. Но слово дойдет до ушей через пять минут после взгляда, вместе с громом, который дойдет через пять минут до ушей после молнии. Духота, как в бане, где моются Коля и Вова, где звезды освещают им путь друг к другу. — Где твой дружок? — сказал Аввакум Чящажышины. — Ему особое приглашение? — Отматфеян явился без особого приглашения, сам. С носилками, в которых энтузиасти носят

кирпичи по воскресеньям, помогают солдатам. Носилки пустые, энтузиасты спят дома, потому что будний день, будня ночь. Спящую красавицу на носилки — и вперед. Капли блестят на лице, в точности — алмазы, никто их не ценит. они не драгоценность для людей, их не употребишь в строительстве, как алмазы, — только для красоты, еще большая драгоценность, если бы знать, как их обрабатывать, шлифовать, никто не знает. — Ну что, взяли? — Чящажышины и Аввакум взяли носилки со спящей красавицей, понесли.

Мы идем. Впереди вагон с солдатами — наша цель. Неравные силы: сила ветра плюс сила дождя, плюс... — за нас. Вагон дрожит от ветра, как осенний лист. Осенью жесткие листья, почти железные. Не будем зря проливать кровь. Комары высосут кровь, их тучи — комаров, над головой, ниже деревьев. А выше деревьев тучи. И море мух — вокруг вагона, не на горизонте, где море. Вот уже забегали. Солдаты бегают туда-сюда, как элементарные частицы в учебном фильме, хаос, одинаковые по величине и по форме, сталкиваются, делятся пополам — спасаются от дождя. Дождь лезет во все дыры в вагон, который вот-вот поплынет. — Клади носилки, — скомандовал Чящажышины, — с той стороны зайдем и подтолкнем.

Вагон впадет в речку, которая впадет в море, впадет в мировой океан. И так будет с каждым! Да! каждый впадет в мировой океан, кто посягнет на нашу жизнь, от которой остались рожки да ножки, за которые мы будем стоять насмерть. — Толкай! — Аввакум подтолкнул. Тяжело. — Надо раскачать.

Отматфеян тоже подиагает. Бестолку — вагон ни с места. Сане легла рядом с Отматфеяном на вагон, лежит вертикально, прямо на стене — неудобная поза, неподходящий момент. Самый подходящий: «сейчас» — «не сейчас». Чящажышины и Аввакум жмут с другой стороны. Лучше горизонтально. Лучше прямо лежать на сырой земле, чем криво на стене. Легли. — Если ты еще раз захочешь, чтобы я еще раз ушла, хочешь улечу? — сказала Сане Отматфеяну. Чящажышины вырос из-под земли: — Вы тут будете вдувать, а мы там за вас отдуваться, а ну, встали! — Говори, — сказал Отматфеян Сане, — говори, что хотела сказать. — Больше ничего, — сказала, — я уже сказала. Ты же не верил, что можно подзаплететь по телефону, не веришь, что могу улететь. — Я тебя не гоню, — сказал Отматфеян Сане. — Хватит, вы! — прикрикнул Чящажышины. — Уйди, — сказал ему Отматфеян. — Не будете толкать, нет? Тогда сейчас попрыгаете. — Чящажышины вытащил плащ-палатку, с ног до головы обмерил взглядом Сану и Отматфеяна, про которых тоже можно было сказать папе Дездемоне, что они изображают животное с двумя спинами, но Чящажышины папе не сказал, он сшил костюм белыми нитками и стал натягивать на две спины сразу: «И я убил на них свою жизнь! Эй, вы! я ведь убил на вас свою жизнь. Я ведь тоже бы мог и сам жить! Я убил на них свою жизнь, я бы мог тоже любить!» — Чего вы тут тянете? — Аввакум прибежал с той стороны вагона. — Где они? — спросил он Чящажышина. — Вот, не видишь, — ответил Чящажышины. — Аввакум не видел. — Где Сане? — спросил Аввакум. — Да ну тебя, — сказал Чящажышины и пошел. — Нет, ты мне ответишь. — Аввакум вцепился в него, и они покатились прямо к горизонту, который был недалеко, прямо за блочными домами среди магазинов, — ты мне скажешь! — Ну что тебе, — сказал Чящажышины, — она тебя надула — ерунда, а я убил на них свою жизнь! Не захотели и пальцем почевелить, им подавай «щас» на пять минут, а не завтра — на всю жизнь, я видел любовь в чистом виде. — Больше не увидишь, — сказал Аввакум. Он поднял с земли камень, который был твердый, как хлеб, которым не убьешь, был хлеб, разломился пополам, сухарь, съедобный, можно съесть, нельзя убить. — Держи, — сказал Аввакум. — Чящажышины взял сухарь. — Пойми, приятель, — сказал Чящажышины, — я ведь хотел по-хорошему.

Чящажышины хотел в кружке так в кружке, во дворце так во дворце, только чтобы нормально, чтобы ходили в баню по субботам, варили кашу, брали лбы. — Кончай причитать, — сказал Аввакум, — не до тебя. Пойдем, взглянем. Только взгляну на нее и сразу уйду.

Вот жизнь! а что еще жизнь такое, если не один только взгляд, вот именно, что жизнь равна одному взгляду. Мы взглянем на землю, куда нас занесло один раз, и уйдем насовсем. Откроешь глаза — раз, взглянешь — два, и закроешь — три, вот и все, и это жизнь! — Идешь? — спросил Аввакум. — Пошли.

Дождь сделал свое мокре дело и ушел на другую войну,

не добрый, не злой, его не посадишь за решетку, на хлеб и воду, смоется, он зверь, дождик, до смерти промочит, может убить, будет капать на мозги, пока не прикончит, тюк-тюк.

Пришли, и Аввакум взглянул; как все безмятежно: Сана сидит, Отматфеян сидит, колиска стоит. — Что, прохлопали? — Чящажышин показал на пустые носилки. Спящей красавицы не было, лежит куча известки, — прохлопали девушку? Где она? у солдат, в логове, они будят ее поцелуем, кто первый, кто из них королевич Елисей? — Ну, я пошел, — сказал Аввакум. — Стой, — сказал ему Отматфеян, — вытащим ее, потом иди. — Хорош! — Аввакум даже не посмотрел на него. — Без меня вытащите. — Я тебе ее не прошу! — сказал ему Отматфеян. — Не надо. — Сана встала между ними. — Отойди, — велел Отматфеян, — не мешай. — Он еще и глуп вдобавок, — сказал Аввакум, — чего надулся? — Сейчас отвешу мне. — Отматфеян тупо полез вперед, схватил Аввакума за ногу, не оторвалась, Аввакум дал ему в живот. — Хватит! — Сана кинулась к Чящажышину. — Помоги, ты! — отлетела, как пробка. — Не лезь!

В двух шагах от нее выросла, как гриб после дождя, жена Отматфеяна, прямо под дождем, совершенно бледная. Поганка. Аввакум оседал Отматфеяна, погнал его кнутом прямо к Сане: «вот так въедешь». Отматфеян на полном скаку скинул Аввакума прямо на бледную поганку, сломалась ножка, раздавил ее; и Аввакум хрестнулся, как снег под ногами, у Саны под ногами, вот это дизайн! у того, кто остался в живых, забрезжили синяки вместе с рассветом, забрезжил над дворцом, полная тишина.

Да, мы должны истреблять их, наших жен и мужей, раз мы не можем навещать их раз в семидесят шесть лет, как Зевс Венеру при живой Гере, как Сатурн Венеру при живой бабе Гале. Девочка спит, стихия, пока плохо слышит, как мы говорим, пока слышит, как звезда с звездою говорит. А мы ходим по земле, как два лунохода, не по земле, незнакомая местность, ничего привычного. Хорошо бы присесть — ведь должен быть передых между схватками, побольше набрать воздуха в легкие; без передыха. Нам в вагон, к солдатам — за девушки, интересно? спит. Вот оно, сонное царство, все спят: и солдаты, и девушка, зацепованная, не разбуженная поцелуем, и среди них нет того. «Осторожнее выноси». Чящажышин взял спящую красавицу на руки и вынес ее из вагона вон, на воздух, где хорошо пахнет после землетрясения, небольшого, всего два балла: вырванные деревья, с корнем вырванные люстры в блочных домах, растрясенная роса, которой нет на листьях, так трясло всю ночь, дворец без крыши; плохо, что достроят; и другое все построят, что мы не хотим, понаползят домов, не дворцы, а цирк; уже немного осталось, какие-то миллионы лет, а потом, жалко, но она все-таки отлетит, атмосфера, отвалит от земли вместе с ветром, с громом и молнией, с плохой погодой, не останется даже мысли; какая же она будет черствая, земля, тупая, совсем не пущистая, наверное, она потом рассыпется, когда совсем высохнет; вот и от нее ничего не останется, а не только от нас, ни слова, ничего. Идут первые минуты рассвета, первые, из тех последних миллионов минут, которые понадобятся, чтобы атмосфера отошла насовсем, не как душа человека, которая отходит насовсем за минуту, как, может, душа земли, вполне возможно, которая отходит целую вечность; нельзя наблюдать, можно знать, нет, зная, можно и понаблюдать прямо сейчас, похожая на туман, немного покожав на лунный свет, не скажешь, что отходит; потому что сам процесс — пока отходит душа, растянутый на миллионы лет, рассветов, даже красав, потом будет некрасив, когда отойдет; и когда наша, человеческая, душа отойдет, тоже будет некрасиво; хорошо, что это так быстро у нас, людей, а не так медленно, как у них, светил. На сегодня все; понаблюдали, что можно; нет, еще не все; еще солнечные лучи, такие румяные, кровь с молоком, как пушкинские стихи, без всяких извращений; все, что от солнца — это хорошо, не запрещено цензурой; все, что от луны — плохо, запрещено.

Чящажышин положил спящую красавицу на берег, Сана подошла и поцеловала ее в щеку, потом Отматфеян поцеловал, и Чящажышин — последний; простились. Поцеловали не для того, чтобы она проснулась, чтобы еще крепче заснула. Даже пальцем не подтолкнули к воде. Вода сама слизнула ее, все поцелуи начисто смыло. Поплыла.

Вернулись на место схватки. Отматфеян подошел к своей жене, бывшей, час как бывшей: любила его так сильно, как он самого себя. Сана подползла к Аввакуму, лежит, как живой. «Когда тебе было плохо, ты хотел меня когда-нибудь

убить?» — «Хотел». — «Чтобы стало еще хуже?» — «Чтобы стало лучше?» — «А я тебя хотела иногда убить, когда мне было хорошо». — «Чтобы стало еще лучше?» — «Чтобы стало хуже». Вот мы свободны, как птицы, лети, куда хочешь, а птицы, наоборот, не свободны, все вместе, редкие птицы поодиночке. Потому что одна птица — это часть одной птицы, а один человек — не часть одного человека. Природа вся связана между собой, и береза — это часть пальмы, и только человек не только не часть пальмы, но даже не часть человека. Потому что все они: и птица, и пальма, и береза стали тем, чем стали, путем эволюции, и только человек никогда не превращался из обезьяны в человека, не модернизировался, не радиофицировался, потому что каждая зверюшка со временем становится все лучше и лучше — совершенней, отбрасывая все ненужное, а человек все тащит с собой, весь гардероб, все жалко: и чешую, и хвост; и неправда, что динозавр — самый старый на земле, динозавр так помолодел за последние миллионы лет, а человек — нет, все такой же. Надо возвращаться домой — в однокомнатную квартиру, где одна комната, один унитаз, один потолок — по домам. «Иди, девочка, домой, иди к маме».

Период — великая вещь, не пустые семь лет, они кое-что значат для человека. Эти же семь лет — пустой звук для земли; и уложиться в него — это не какой-нибудь там подвиг в жизни, наша каждодневная жизнь — самый большой подвиг в жизни; святое дело — период: всегда начинается с любви и кончается разлюбви. Начинается с живешь и кончается умрешь. Пока с зимы не начался этот период — кончится вечной мерзлотой, на которой построим сортир не вглубь, а ввысь, трехэтажный дворец, — языковой барьер был. Между нами. Я люблю в тебе не то, что есть, а то, что знаю, что есть. Желание больше чувства, слово большие желания, вибрация больше слова. «Что ты хотел сказать? то, что я поняла, или то, что ты не договорил, или то, что я подумала; ты хотел сказать то, что хотел сказать вчера, но что можно будет сказать и завтра». — Все вранье! чтобы преодолеть языковой барьер, нужно сорвать, завраться; мы врем на одном и том же языке, говорим правду каждый на своем.

Преодолели: «ты сейчас меня да?» — «я тебя так да, как никого никогда. А ты меня да?» — «Я тебя сто раз да, я тебя в сто раз больше да. А ведь раньше ты меня нет?» — «не то, что нет. Ни да, ни нет». — «а я тебя нет. Я тебя так сильно тогда нет, а потом сразу — да» — стрекочем, как птицы, как дельфины, только любовники умеют так стрекотать — все, что сказано, то и правда.



НИКОЛАЙ
ПАНЧЕНКО

Первый привал

Мы свалились под крайними хатами —
Малолетки, с пушком над губой.
Нас колхозные бабы расхватывали
И кормили как на убой.

Отдирали рубахи потные,
Терли спины — нехай блестят!
Искусали под утро — подные,
Усмехаясь: «Господь простит...»

А потом, подывая, плакали,
Провиантом снабжали впрок.
И начальнику в ноги падали,
Чтобы нас, как детей, берег.

1941—1943

А мы не много ли поем?

А мы не много ли поем?
Поем с утра, едва встаем,
Поем, когда идем втроем,
Поем, когда сидим вдвоем.

Поем, когда по вечерам,
К земным приблизившись дарам,
Жуем и пьем,
А больше пьем.
И все поем,
поем,
поем.

Нас научили петь и пить,
Нас отучили говорить,
И мы, как птицы —
мы поем,
О чем-то думая своем.

На сквозняке, на чердаке
Поем на птичьем языке,
На остановке, на ходу.
Поем, едва успев присесть,
Поем...

Так девки во саду
Поют, чтобы ягоду не съесть.

1961

☆☆☆

Ах, эти игры на Голгофе!
Играют мальчики в кресты
И носят их,
Наивно носят,
Пока легко, и скоро бросят
У той решительной черты.

Моя последняя черта.
Все меньше иноков — по следу:

Как ящерица без хвоста,
Я, плача, праздную победу.

Я сам, наверно, упаду
На эти скользкие ступени,
Где подгибаются колени,
Где только мысленно иду...

1967

☆☆☆

Дай мне сказать о главном,
Так, чтобы тот, кто дожил,
Понял...

А кто не дожил,
Чтобы сказал, как надо:
— Это-де винограда
Грозди...
А это грозди
Крови, где были гвозди
Вбиты в живое тело.

Не покупают грозди
Ржавого винограда.

Дай мне сказать о главном,
Дай мне сказать:

— Не надо!

Не покупайте, плачьте,
Горькие лейте слезы
На молодые лозы
Ржавого винограда...

1987

Стихи угла

Все норовит заполниться вещами,
Как двор травой, вещами зарости.

Свободная — от клятв и обещаний —
Свободная — о, господи, прости —
Свободная — расчищем уголок,
Еще родной, еще почти свободный,
Не занятый резней международной,
Еще над ним синеет потолок.

Где можно встать и, ноги подобрав,
Еще прилечь, и, если не уснется,
Свободное свободного коснется,
На ветке дрогнет капелька росы.

Чирик-чик-чик! — чирикают часы —
На веточке — домашняя вещица! —
Ты слушаешь, и нам не причаститься,
Не приобщиться к капельке росы.

Ты слушаешь часы — двадцатый век! —
«Чирик-чик-чик!» — под быт переинчен,
Под чижика: «Чирик...»
Чирик-чик-чик...»

Ах, столик наш — березовая ветка,
Ах, домик — канаресчная клетка:
Все прутики сошлись над головой.

Подружка — сослуживица, соседка,
Усатый — в головах — городовой...

1968

☆☆☆

Бог меня поберег — я чего только в жизни не делал!
Мог бы небушко в клетку
Не год изучать и не раз.
Конь меня из огия
Выносил —

необузданный, белый —
И, роняя в дермо,
Исчезал, как виденье, из глаз
.....
Бог меня поберег (не скажу — для чего) потому лишь,
Что ломился из этого,
Высадив окна, летел.
И цеплялся локтями за локти изломанных улиц.
И валялся в ногах.
И себе ничего не хотел.

1986



Рудольф
ОЛЬШЕВСКИЙ

Прыжок

Запищусь в парашютный кружок,
Чтоб однажды, случайно как будто,
Сделать этот опасный прыжок
И лететь, не раскрыв парашюта.
Витья Воронов крикнет: «Смотри!»
И в небесную синь по приказу
Весь наш двор, Франца Меринга, три,
Глянет, мне позавидовав сразу.
Двор, ко мне равнодушный вчера,
Смотрит, как я лечу через тучу,
И кричит: «Раскрывайся! Пора!» —
Я еще их немного помучу.
Я поправлю неспешно очки
И сквозь мутные стекла увижу,
Как, от ужаса сжав кулаки,
Светка плача кричит: «Ненавижу!»
Удалось, я все выдержал, чтоб
Вырвать это бессилье плача.
Мой полет продолжается. Стоп.
Купол выстрелил в небо. Удача.
Приземлился, как задую свечу,
Снова тяжесть почувствует тело.
Светка плачет, а я хохочу.
Вот такое веселое дело.

Снегопад

Свистит свирепая зима
У птичьего ночлега.
Фонари горят, стоят дома,
Летит пространство снега.
В ночной поре нарушен лад,
Безмерным время стало.
Я замурован в снегопад,
Дышу внутри кристалла.
Фонарь тускнеет, гаснет дом,
Уже не видно крыши,
Душа, сплененная льдом,
Отверстие продышил.
И к щелке смотровой прильнет,
И будет сумрак светел.
Уснувших бабочек полет
Перемещает ветер.
Снег в небесах и на земле,
Он не идет, а длится.
Я вижу в этой белой мгле
Людей забытых лица.
Я набело прожить могу
Судьбу, что обратима,
Когда в торжественном снегу
Летит пространство мимо.
Зима играет на трубе
И тихо и протяжно.
Не страшно думать о судьбе.
Печально, но не страшно.

После войны

Хозяйский сын придет домой с войны,
Бадью опустит в глубину колодца.
Наклонится, и вот вода попьется,
И пар пойдет от шеи и спины.
И зазвенят кастрюли и горшки,
И будто награждая, не карая,

На черном пне старуха у сарая
Трем петухам потушит гребешки.
И гости, выпив крепкого вина,
Закусят. А на то — петух и редька,
И спросят возвратившегося: «Федька,
Неужто вправду кончилась война?»
И Федька громко скажет про войну
Всего тремя словами, и соседи
Забудут о торжественном обеде
И будут петь, обнявшись, про княжну.
А после керосиновый огонь
Задуют, когда разойдутся гости,
И станет грызть оставленные кости
Худущий пес, похожий на гармонь.
И победитель не уснет никак,
Он, не угомонившись часом поздним,
Присядет на крыльце в одном исподнем
И будет лузгать семечки в кулак.

☆☆☆

Уже мы в чужом поколенье живем,
Как верхние листья, поблекшие рано.
К окраине ближе подвинулся дом,
В котором прописаны мы постоянно.
И медленна ночь, и стремителен день.
Пружины в часах износились со мною,
И память меня обгоняет, как тень,
Когда уже солнце стоит за спиною.
Когда же оно опустилось с небес.
С мучительной тайной, с недобрими снами,
Когда нас покинул насмешливый бес,
И ангелы стали кружиться над нами.
Когда мне сказали, что я это я,
И всё, не положена доля вторая,
И четко судьба очертила края
В потемках души, что не ведала края.
Уже мы в чужом поколенье живем,
Совпали столетья границами мига,
Чужой стадион и чужой автодром,
Чужая лежит телефонная книга.

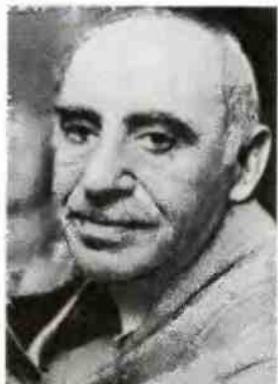
Имя

И дали мне имя, когда я возник,
Чтоб было название восторгам и мукам,
Чтоб малый ребенок и древний старик
В пространстве себя обозначили звуком.
И дали мне имя царя и раба.
Чтоб был я рабом или царствовал снова,
И в слове уже отзывалась судьба.
Как странно — судьба, откровенье — и слово.
Как странно — тем слогом, что вызвала мать,
Познавшая тайну созвучья и духа,
Меня будет полночью женщина звать,
Касаясь губами горячими слуха.
Как странно, когда в мой ночной непокой
Посмотрит звезда из пространства иного,
И тьма меня спросит: «А кто ты такой?»
Я шепотом ей назову это слово.

Инвалиды

Без досады, без обиды возвращались инвалиды
К сыну, к матери, к жене — не убило на войне.
Возвратился — повезло, только крылья обожгло.
Больше не летать во сне — крылья сбрило на войне.
Пехотинцы, моряки — на протезах, без руки.
Не печалились вначале, свежих шрамов не скрывали,
Горьких глаз не замечали, сладких жен не ревновали.
Возвратился, значит, вечный, и не странно,
что увечный.
Только руку отдал богу, в землю закопал лишь ногу.
Смерть коснулась и ушла. В рукаве остались мглы.
И несли свои недуги, как военные заслуги.
Мол, не зря нам ордена на войну везла страна.
И, мол, не по разнаждке награждали в этой схватке.
И скрипели костили весело вдоль всей земли.
Как-то сразу их не стало, как-то сразу замолчала
Эта музыка войны. Не видны и не слышны

Те, что гибли в плащ-палатках, а потом
на танцплощадках,
Оголив свои медали, чуть хромая, танцевали.
Где военный без руки, что пошел в военруки?
Где веселый упрандом, рыжий, с полым рукавом?
Сколько было их вокруг? И не стало сразу, вдруг.
Значит, зря им обещали вечность громкие слова.
Значит, смерть была вначале тьмой пустого рукава.
г. Кишинев.



Семен
Липкин

Лесной уголок

Здесь холмик перерезан
Подрубленным стволом.
Ручей пропах железом,
Как человек — теплом.

Как полотенце, мокнет
Шоссе, прибита пыль,
Вот-вот в ветвях заокнет
Соловушка-бобыль.

Не каждому приятен
Сей беспредельный лес,
Да и не всем понятен
Его удельный вес.

Здесь и трава, и всхолмье,
И дикий блеск воды,—
Не темное бездомье,
А свет всяя звезды.

А если глубже вникнуть,
То в прели и в грязи
Здесь может свет возникнуть
Всех моей Руси.

Возле Минска

И. И. Ром-Лебедеву

Возле Минска, в свете полнолуния,
На краю лесного полустанка,
Поводила бедрами плясунья,
Пестрая красавица-цыганка.

Танцевала в длинной красной юбке,
Хрипло пела в длинной желтой шали,
И за неименьем душегубки,
Немцы не душили — убивали.

Там стрельба•поляну сотрясала,
Ржал кони, и кричали люди,
А цыганка пела и плясала,
И под шалью взрагивали груди.

Громкий ужас древнего кочевья,
Молодые, старики и дети
Падали на землю, как деревья,
А над ними — песнь седых столетий.

Темная земля в крови намокла,
Неподъя слушала, стреляла, злилась,
Наконец, и девушка замолкла
И на лошадь мертвую свалилась.

Сохранили и дубы, и вязы
Оборвавшуюся песнь цыганки,
И от них услышал я рассказы
Про погибель кочевой стоянки.

Разговор

Говорят правда дня, говорят правда ночи.
Что ж друг другу они говорят? «Говори,
Говори подлинней, нам нельзя покороче,
Мы должны говорить от зари до зари».

Говорят правда дня: «Я — весы и число,
Я — топор и стрекало, перо и лекало,
Я — затоптаный флаг, я — мятежное зло,
Все, что племя людей век за веком искало».

Говорят правда ночи: «Я — смятение счастья,
Я — догадка любви, я — разгадка судьбы,
Я — веселая воля, я — валторна безвластья,
Я — извечная связь волшебства и мольбы».

☆☆☆

Я иду среди лесного гама,
Листья то цепляются, то жгут,
Комары, как нищенки у храма,
С тайной злостью плачут и поют.

Согнут столбик давнего замера,
Где-то рвется птичий голосок
Да еще вдали везут с карьера
Грузовые чудища песок.

Я ли после двух больниц шагаю
Мокрою, извилистой тропой,
На ходу бессвязное слагаю,
Самому себе теперь чужой?

Это я ли, пятигодовалый,
Гордый разумением букваря.
Видел садик около вокзала
И приезд последнего царя?

Я ли дрался под водою в споре
С драчуном таким же, как и я,
За монетку, брошенную в море
Юнгою с чужого корабля?

Я ли смерти, может быть, навстречу
Шел в степной ставропольской ночи,
И насторожен нерусской речью,
Прятался в густых стеблях бахчи?

Я ль немолодым назвал впервые
Женщину возлюбленной женой?
А во мне, со мной мои чужие,
Я живу, пока они со мной.

Стадо

Робко вздыхают березы,
Сонно плывут облака,
Но беспощадные грозы
Нам обещает река.

То пропадая в подлеске,
То выбегая на луг,
Сыплет сердитые всплески,
Будто бы думает вслух.

От прорицающей речки
По луговой крутизне
В страхе уходят овечки,
Чтобы прижаться ко мне.

Но от меня ли подмоги
Ждать вам, родные мои?
Сам я не знаю дороги
И не ищу колен.

Что мне напомнили эти
С дикой надеждой глаза?
Чьи мне мерещатся дети?
Умерли чьи голоса?



Икона
«БОРИС и ГЛЕБ»

Государственный Русский музей, г. Ленинград



Фрагмент.



Схема утрат
лица Бориса.



Фрагмент.

Схема утрат
лица Глеба.





Фрагмент.



Сергей Голубев (справа)
среди своих коллег
в реставрационной мастерской
Русского музея.

Олег КОКИН

«БОРИС И ГЛЕБ» — ВНОВЬ С НАМИ

«Вы наше оружие, земли Русской защита и опора, мечи оборою острые». Так восклицает не известный нам автор «Сказания о Борисе и Глебе»¹.

Сыновья крестившего Русь Великого Князя Владимира жили в XI веке. Младшие из двенадцати братьев — Борис и княжил в Ростове, Глеб — в Муроме. Старший брат Святополк (усыновленный Владимиром) захватил престол в Киеве после кончины отца, вероломно убил младших братьев. За свои злодейства прозван в народе Окаянными. Это печальное событие нашей истории произошло летом 1015 года.

Святополк «тайно призвал к себе вышегородских мужей» и повелел убить Бориса, стоявшего с дружиной на реке Альте (под Переяславлем). Там «поразили его копьями окаянны: Путыша, Телец, Елович, Ляшко». «Итак, почил Борис, предав душу свою в руки Бога живого в 24-й день месяца июля». Погребли его у церкви святого Василия в Вышгороде. Потом Святополк обманом вызвал к себе Глеба, любимого сына Владимира, говоря: «Приходи не медля. Отец зовет тебя, тяжко болен он». Слуги Святополка встретили ладью Глеба недалеко от Смоленска на реке Смидыни. Юный князь при виде убийц, «залившись слезами и ослабев телом, стал жалобно умолять». «Тогда окаянный Горясер приказал зарезать его без промедления. Повар же Глебов, по имени Горчин, взял нож и, схватив блаженного, заклал его, как агнца непорочного и невинного, месяца сентября в 5-й день, в понедельника».

Другой сын Владимира — Ярослав, княживший в это время в Новгороде, «нестерпев сего злого убийства», собрал войско и вышел навстречу «этого треклятого, ... и была сеча зла...» и лишь к вечеру одолел Ярослав, а окаянный Святополк обратился в бегство. Победитель утвердился на престоле. По его приказанию тело Глеба привезли в Вышгород и положили рядом с Борисом.

Ярослав, прозванный в народе Мудрым, добился у Константина причисления Бориса и Глеба к лику святых. Они были особо любимы в народе, как первые русские святые среди большого сонма святых, пришедших в годы крещения из Византии. Изображения Бориса и Глеба стали появляться уже в XI веке, а позже — одноименные церкви и монастыри. Поньне существуют города под названием Борисоглебск (слова Богу, непереименованные) в Ярославской и Воронежской областях. Храмы русских святых ставились в Византии и Чехии.

Иконопись «Бориса и Глеба» имеет долгую историю и вдохновляла многие поколения живописцев. Прославленная икона из коллекции Государственного Русского музея в Ленинграде является как бы прологом ко всей поздней русской иконописи. Специалисты (не без споров) относят ее к московской школе иконописи первой половины XIV века. Это канун исторической победы на Куликовом поле. В это время начинается возышение Москвы. Сюда из Владимира переехал митрополит вся Руси Петр, что сделало Москву религиозным центром. Сюда съезжаются лучшие мастера и иконописцы. Строившиеся в Москве каменные храмы нуждались в росписях, и приглашались греческие живописцы. Летописец² одной из дружин, подрядившихся расписать церковь, очень точно сообщает: «Рустии родом, а Греческии ученицы». Автор «Бориса и Глеба» из Русского музея неизвестен нам. Он создал это чудо за полвека до рублевского времени и, несомненно, был ученик

иконописцев из Константинополя, но сохранивший мягкость письма московского.

Уникальная икона Русского музея — одна из случайно сохранившихся в длинной цепи аналогичных памятников. В 1913 году она поступила в музей вместе с коллекцией икон Н. П. Лихачева — палеографа и историка древнерусского и византийского искусства. Николай Петрович Лихачев был известным коллекционером и приобрел икону на «офиши». Такой кличкой обладали перекупщики церковных и художественных ценностей. Не брезгая и краденым, они держали осведомителей и торговцев на крупных рынках, как, например. Сухаревский в Москве. В начале века были у нас и первые «реставраторы». Обычно этим занимались иконописцы, которые подновляли старые иконы.

Установлено, что в 1908 году, в московской мастерской иконописцев братьев М. и Г. Чириковых, этой участи не избежала и икона «Борис и Глеб». В то время реставрацию понимали иначе, чем сейчас. Вскрытие и удаление почерневшего верхнего слоя олифы и записей производились быстро. Утраты фрагментов авторской живописи очень ловко восстанавливались, а иногда даже изменялись в угоду заказчику. Поновители часто, чтобы скрыть свои прописки и заделки, рисовали несуществующие трещины — кракелюры. В конце работы икона покрывалась толстым слоем подкрашенной олифы. Со временем лак отрывал от грунта частицы красочного слоя, что приводило к большим осыпям. Именно такой была первая реставрация иконы «Борис и Глеб».

В шестидесятых годах у нас в стране возник бум древнерусской живописи. В Москве, в Андрониковом монастыре, был открыт музей Рубleva. Не случайно в это время был создан великий фильм А. Тарковского «Андрей Рублев». Популярный сейчас художник И. Глазунов начал в это время свою карьеру на волне зрительского интереса к иконописи. Музеи стали больше внимания уделять своим коллекциям икон. Часть экспозиций и зарубежные выставки требовали уникальных произведений. Повысилось качество реставрации. Проблема сохранения памятника коснулась и прославленной иконы из Русского музея. Болезненный процесс осыпания красочного слоя продолжался. Икона была снята с экспозиции и подвергнута консервации. В 1979 году специальная комиссия Министерства культуры и реставрационный совет музея пришли к выводу о повторной реставрации. Требовалось раскрыть изначальную авторскую живопись неизвестного иконописца XIV века, освободить от наслонений времени и записей поздних поновителей. В течение семи лет эту кропотливую работу выполнил ленинградский художник-реставратор С. И. Голубев.

О работе реставратора обычно пишут так: «Медленно снимая тампоном слои лака и олифы, под микроскопом, миллиметр за миллиметр, Сергей Голубев погружался в глубь веков». Оставим в стороне все его профессиональные тайны. Важно, что работа выполнена с большой культурой и тектоникой. Результат превзошел все ожидания специалистов. Раскрыты неизвестные новые фрагменты авторской иконописи. Выявлены первоначальный колорит и живописность. Окончен огромный труд.

Великие князья Борис и Глеб словно парят в золотом сиянии. Скупой колорит иконы изыскан. Любой цвет неизбежно вытекает из другого, усиливая золотой фон, символизирующий божественную славу.

Образы братьев как бы просят примирения. Борис смотрит на нас с укором и печалью, осуждая братоубийство. Характерны его усы и борода. Юное лицо Глеба подчеркнуто длинными распущенными волосами. Удивительно передано братское подобие князей и сходство судьбы. Хочется верить, что лица святых портретны.

Фронтальная иконография Бориса и Глеба традиционна. В руках у них кресты — символы мученичества и мечи — атрибуты княжеской власти. Но создатель этого произведения, несомненно, великий художник. Жест Глеба совершенен и уникален и не имеет аналогов даже в более поздних изображениях братьев. Юный князь держит оружие расслабленной рукой, в задумчивости положив указательный палец на перекрестье меча. Так бывает, когда мы держим книгу, заложив пальцем нужную страницу. Этот жест лишает Глеба воинственности и говорит о его непосредственности. Заметно отличается от авторского решения левая рука Бориса с мечом. Она, к сожалению, не сохранилась и целиком оставлена в поновлении братьев Чириковых.

Летом этого года икона открывала выставку древнерусской живописи из собрания Государственного Русского музея, посвященную 1000-летию крещения Руси.

¹ «Сказание и страдание и похвала святым мученикам Борису и Глебу». Памятник киевской литературы рубежа XI—XII веков.

² Иконописная летопись 1344 г.



Надежда
МАНДЕЛЬШТАМ

ВОСПОМИНАНИЯ

Н. Я. Мандельштам.
г. Псков, 1965 год.

К нам возвращается память. Возвращается в виде книг, ранее не печатавшихся, в виде воспоминаний о разных сторонах нашей жизни. Мы вспоминаем и людей, живших в то время. Каждый человек, сохранивший свое лицо, свое отношение, становился центром притяжения и кристаллизации свободной мысли. «Юность» печатает начальство «Воспоминаний» Надежды Яковлевны Мандельштам, вдовы великого поэта. Написанные уже больше четверти века назад, они рассказывают о тридцатых и более ранних годах. Но их автор была с нами еще десять лет назад, и хочется, чтобы читатели увидели масштаб и значение людей, подобных ей, в нашей современной жизни.

Надежда Яковлевна Мандельштам (Хазина) родилась 30 (18) октября 1899 года, в самом конце XIX века. Отец ее был присяжный поверенный, мать — врач. Жили в Киеве, и она училась в Киевской женской гимназии. Она считала себя художницей и после гимназии работала в мастерской Александры Экстер.

В грозном девятнадцатом году, в обстановке, знакомой нам по «Белой гвардии» Булгакова, в Киеве появился Мандельштам. У них с Н. Я. были общие друзья. Они встретились в поэтическом подвалчике «Хлам» («Художники, Литераторы, Артисты, Музыканты»). Они полюбили друг друга, но очень скоро разлучились: Мандельштаму опасно было оставаться в Киеве после ухода большевиков. Уезжая на юг, он обещал Наде Хазиной, что вернется и заберет ее. Действительно, через полтора года, в марте двадцать первого года, он разыскал ее. С тех пор они не расставались до 1 мая 1938 года — дня его последнего ареста.

Годы, прожитые с Мандельштамом, были, конечно, самыми счастливыми для Н. Я., но и годами безмерно трудными. Трудными не только для Мандельштама, но для всей нашей культуры. Двадцатые годы с их грубой попыткой построения управляемого искусства, когда «легкая кавалерия» РАППов и ФОСПов вели планомерные атаки на художников всех мастей, когда увеличивалось идеологическое давление на искусство и производственные, часто совершенно необоснованные политические обвинения надолго исключали художника из жизни, — дорого обошли нам. Без преувеличения можно сказать, что это была идеологическая подготовка террору тридцатых годов. Статья Блока «О назначении поэта», написанная им в последний год жизни, была пророческим предупреждением, а в «Четвертую прозу» Мандельштама (журнал «Радуга», 1988) рассказано о том, как это происходило. Знаменитое ждановское постановление 1946 года о ленинградских журналах «Звезда» и «Ленинград» было только экзом тех лет — даже формулировки в нем восходят к той эпохе.

Честным людям поколения Мандельштама было труднее всего как раз потому, что они всерьез отнеслись к революционным преобразованиям жизни и искусства — как к достижению, выстраданному несколькими поколениями русских людей, — и ощущали свою личную ответственность за искажение и подавление свободы, от которого задыхалось искусство. Недаром Мандельштам, как и Пастернак, пережил в двадцатые и тридцатые годы долгие периоды поэтической немоты.

Я думаю, Мандельштам написал то стихотворение, которое ему стоило жизни, именно оттого, что он больше не мог ни жить, ни писать в этой безноздушной атмосфере. Тогда же он декларировал свой отказ от такой жизни и прямо просил о ссылке: «Запиши меня лучше, как шапку в рукав Жаркой шубы сибирских степей».

В Воронеже, живя скучной помощью немногих друзей, скитаясь по углам, Мандельштам вновь почувствовал себя свободным. Недаром одним из первых здесь написано изумительное по открытости, пронизанное историческим оптимизмом стихотворение «Стрижка детей». За три года он написал около ста стихотворений — это почти третья написанного им. Вернувшись в Москву в тридцать седьмом году, он сказал Ахматовой: «Я к смерти готов». Видимо, именно потому, что за этот «один добавочных день», подаренный «ассирийцем», он освободился от груза невысказанных мыслей, ненаписанных стихов.

После года мытарств и скитаний по городам стоверстной зоны он был арестован 1 мая 1938 года и в конце этого года (по документам 27 декабря) погиб в пересыльном лагере на Второй Речке, под Владивостоком.

После гибели Мандельштама Н. Я. вела жизнь затравленного зверя. Вернуться в Москву она не могла. Дома не было. Из Калинина она уехала накануне той ночи, когда за нею пришли. В Струнине ее не арестовали из-за молчаливой демонстрации ткачих, с которыми она работала на фабрике, и той же ночью она вновь уехала. Потом она жила в Малоярославце, еще где-то, опять в Калинине.

Во время войны Ахматова спасла ее, перетащив в Ташкент. Там Н. Я. успела окончить — вероятно, заочно — университет и получить диплом преподавательницы английского языка. Уже после войны она жила в Ульяновске, Чите, Чебоксарах, Пскове, пока не вышла на пенсию.

Но все это время она хотела одного: затеряться, чтобы о ней забыли, как ей посоветовал Винавер в «Политическом Красном Кресте» после первого ареста Мандельштама.

Она хотела выжить для того, чтобы сохранить наследие Мандельштама. Многие стихи и «Четвертую прозу» она даже не смела записывать, а хранила наизусть, как Ахматова свой «Реквием». Только в 1956 году она поверила, что дожила до того времени, когда стихи можно записать и даже издать. Но ведь настоящего издания Мандельштама нет до сих пор!

Она вспоминала все, что он когда-либо сказал и написал, обдумывала все его ответы, замечания, поступки. Она рассказывала Ахматовой о раннем периоде его жизни. Она читала те книги, которые он упоминал в которых она не знала (Чавадзе, Соловьев, Флоренского, Вяч. Иванова, С. Булгакова, Бердяева, «Вехи» и многое другое).

Она признается, что пришла к Мандельштаму легкомысленной девчонкой, дикаркой и разрушительницей, желающей продолжения праздника. Мандельштам огорчил ее вопросом: «А кто тебе сказал, что ты должна быть счастливой?» — и усадил за работу, которая ей и не снилась, приучая ее к нищете и «составному дегтя труда». Он заставлял ее записывать его стихи. «Путешествие в Армению» и «Разговор о Данте», учить наизусть «Четвертую прозу». Он как будто предвидел, какая судьба ждет его и ее, и рыл одну из своих барсучьих нор.

Когда, наконец, Н. Я. смогла записать все, что она пережила, вспомнила, обдумала, то оказалось, что она настолько воспитала себя на Мандельштаме, что даже в стиле и языке ее книг узнаешь Мандельштама. И она написала о моральной неразборчивости своей эпохи, об отказе от собственных мнений и чувств так, как это мог сделать сам Мандельштам.

Я познакомился с Надеждой Яковлевной в январе 1962 года в Тарусе, где она — уже пенсионерка, но еще бесправная — жила в пустой половине дачи Гольшевых.

На фоне знаменитой картины безытности, аскетизма, бездомности, общей и для Осипа Мандельштама, и для Анны Ахматовой и унаследованной Надеждой Яковлевой, я увидел старую женщину в халате и туфлях на босу ногу. Свое у нее было: чай, «Беломор», чемоданчик с бумагами и пишущим машинкой. Обедать ходила к Гольшевым. Она писала первую книгу и сейчас же усадила нас ее читать.

Она была человеком, с которым очень легко подружиться. Пряная, откровенная, злая на язык и простая. Она учila своих собеседников не только свободе мысли, но и свободе высказывания.

Потом были набеги на Школовским в Лапрушинский. Н. Я. приезжала из Пекина на несколько дней. (В Пекине она вырабатывала какие-то положенные годы для того, чтобы получить немного большую пенсию.) Н. Я. размещалась в крохотной комнатах за кухней. Хотели ее повидать многие, и пришедшие раньше были вынуждены выходить, чтобы дать место другим, и дожидаться вновь своей очереди на кухне. Потом Василиса Георгиевна Школовская приглашала всех за обеденный стол пить чай.

В это время Н. Я. еще наполовину скрывала свою книжку. Она меня просила: можете рассказывать, но не говорите, что читали, а объясните, что знаете из наших разговоров. Она ждала выхода книги стихов Мандельштама в «Библиотеке поэта», ждала московской квартиры и прописки и потому не хотела откровенной ссоры. Ведь Сурков обещал ей и книгу, и жилье еще в 1956 году, но потом все быстро замерло. Мандельштам был уже реабилитирован по делу 1938 года, но по обвинению 1934 года — как раз в это время произошли венгерские события — в реабилитации было отказано.

Через несколько лет она наконец получила свою однокомнатную кооперативную квартиру за Канатчиковой дачей в первом этаже дома на Большой Черемушкинской улице. В первый раз после ареста Мандельштама она оказалась у себя дома. Комната и кухня были обставлены кое-какой мебелью. На кухне, кроме самых простых стола, табуреток, буфета и холодильника, стоял старый ампирный диван красного дерева и висела замечательная среднеазиатская акварель Фалька. И часы с кукушкой, вечно останавливающиеся.

В комнате, помимо кровати и платяного шкафа, помещалась обыкновенный деревянный обеденный стол, на котором стопками лежали книги и папки и стояли сухие букеты цветов в банках. Более важные книги, в том числе Библия и западные издания Мандельштама, были занесены вместе с письмами и рукописями в старинный секретер, стоявший у кровати.

У кровати еще был столик с телефоном, книгами (часто английскими детективами), записными книжками, карандашами, записщиками. И кресло. Над кроватью на стене, как картины, висели в ряд несколько старинных икон, из которых мне особенно запомнилось «Вознесение пророка Илии на огненном колеснице».

Немножко позже в красном углу на отдельной треугольной полочке появился образ Спасителя. Под ним иногда горела лампадка, и угол низкой комнаты закоптился до черноты.

Я к ней очень часто заходил. Одно время едва ли не каждую неделю. Гостей было всегда много — четыре-пять человек каждый день. Как-то моя жена спросила ее: «Надежда Яковлевна, как вы выдерживаете такое количество людей?» Она ответила: «Если бы вы пожили, как я, когда в течение двадцати лет я вообще никого не видела, вы бы не задали такого вопроса».

О чем мы говорили? Я уже упомянул, что она читала те книжки, которые были так или иначе связаны с Мандельштамом: от Чадаева до Бердяева. Еще в Тарусе мы с ней говорили о Вяч. Иванове. Мне был совершенно непонятен ее интерес к прозаическим опытам Иванова, но Н. Я. отвечала, что он сыграл свою роль в формировании взглядов Мандельштама и что ей это важно понять.

Мы много говорили о стихах, но не только Мандельштама. Н. Я. восхищалась какими-то строчками Евтушенко. Там было чуть ли не «московской» кепка моя и еще что-то о Родине и утках. Я в ответ процитировал ей строчки из Мандельштама «И опять к равнодушной отчизне Дикой уткой взовьется упрек...» и сказал, что только поэтому ей нравится стихок. Она согласилась, но не отказалась от Евтушенко. Вообще же Н. Я. очень хотелось найти современного поэта. Она потом, вслед за Ахматовой, остановилась на Бродском. Она его нежно любила, называла Рыжим и Младшим Осей; взволнованно переживала все перипетии его судьбы и видела в нем, если можно так выражаться, следующего в каком-то гомологическом ряду за Мандельштамом.

Несколько раз она устраивала мне нечто вроде скрытого экзамена по Мандельштаму. Но я любил его книжку 1928 года с детства, знал ее почти наизусть, а с «Воронежскими тетрадями» познакомился в восемнадцать лет, еще до «самиздата», по одному из рукописных

«хранений», заложенных самой Н. Я. — горке пожелтевших листочек разного формата, исписанных ее характерным почерком.

При обсуждении стихов в ней сказывалась манера современной школы. Она хищно винила в строку и требовала ее конкретной интерпретации — и притом единственной. Так, например, она настаивала, что «Сияло солнце Александра, Сто лет назад сияло всем» написано о Пушкине и только о нем, хотя мне кажется, что первое объяснение, лежащее на поверхности, — это об Александре I, — тоже не следует отметить. Она сердилась доказывала, что у Мандельштама не могло быть такого отношения к Александру.

Дальше — больше, строчка «И вчерашнее солнце на черных носилах несут» тоже должна быть отнесена к Пушкину: «Всюду, где у Мандельштама солнце, — это Пушкин», — говорила она, и в объяснении приводила Краевского: «Солнце нашей поэзии закатилось, Пушкин умер», — действительно памятное каждому. Я доказывал, что необходимо сохранять свободу и многомерность ассоциативного пространства, чтобы стихотворение звучало, но она не соглашалась. Однако мы читали замечательное, очень позднее стихотворение Мандельштама о «рожденных, гибельных и смерти не имущих» («Где связанный и привожденный сто...»). Она меня остановила вопросом: «А вы не понимаете, почему Эскил грузчик и Софокл лесоруб?» Я попробовал сказать то, что думаю и сейчас: грузчик и лесоруб — простые и неизменные профессии (в том числе и лагерные) и такие слова, примененные к великим трагикам, объединяют и возвышают человечество через границы времени и культуры. Она осталась недовольна. «Нет, — сказала она, — надо почтить что-то о них, может быть, Плутарха. Это неслучайные сопоставления. У Оси таких не бывает».

С середины шестидесятых годов Н. Я. рассказывала по отдельным эпизодам свою вторую книгу, как бы оттаскивая ее в этих разговорах. И то, что потом вызвало столько нареканий — ее пристрастность, обидные несправедливости, вряд ли обоснованные обвинения своих лучших друзей, — все это в разговоре выглядело гораздо мягче. Но и тогда, и позже я не верил, что преданный друг и ценитель Николай Иванович Харджиев мог бы уничтожить черновики и варианты стихов Мандельштама ради того, чтобы его текстологический выбор выглядел однозначным. Однако все, что происходило вокруг издания (вернее не издания) Мандельштама, завершившегося только в 1973 году выходом жалкой книжечки, где он был оболган в предисловии и обкорнан до неузнаваемости в самих стихах, — рождало в ней жгучее раздражение и становилось «точкой безумия». Неудивительно, что в этих условиях дружья ей очень многое прощали.

Забегая к ней, я встречал у нее массу людей. Знакомых или скоро становившихся добрыми друзьями. Чаще всего это были Школовские, но и многие, многие другие. Она дружила с двумя замечательными священниками: отцом Александром Менем и отцом Сергием Желудковым. Я встречал у нее Шаламова, Домбровского, Амусина, Льва Гумилева, мужа и жену Мелетинских, знаменитого московского врача Гельштейна. Не надо только представлять себе, что у нее собирались «знатиености». Напротив, было много молодых людей и «девочек», которых ей помогали жить. Если ей приносили какие-нибудь подарки, Н. Я. немедленно передавала их кому-нибудь. Она очень любила делать подарки и совсем не любила владеть вещами. В доме царила также обстановка «прекрасной бедности, роскошной нищеты». Так же она обращалась с книгами. По-моему, для них даже не было в доме специального хранилища. Книги, нужные ей для работы, она брала у кого-нибудь или оставляла у себя на время.

Когда она стала получать гонорары за свои книги, то все их раздавала. Она очень радовалась, что, нищенка и побирушка по обстоятельствам всей своей жизни, она теперь может делать подарки и помогать деньгами друзьям.

Она была человеком внутренне свободным и так и вела себя, не считаясь ни с какими запретами. Как частный человек, она позволяла себе говорить то, что она думает, она принимала иностранцев, интересовавшихся Мандельштамом, хотя понимала, что это не рекомендуется. Наконец она опубликовала свою «Воспоминания» за границей, сознавая, что у нас они напечатаны быть не могут.

В конце семидесятых годов Н. Я. стала слабеть, у нее начались сердечные недомогания. Ее несколько раз надолго укладывали; в это время она принимала гостей в комнате, и они сидели у ее постели не подолгу. Число посетителей было ограничено.

Что рассказать о ее последних днях? Друзья организовали круглогодичное дежурство. Я болел в это время и встал с постели впервые, чтобы пойти на отпевание в церковь за Речным вокзалом, где служил один из ее друзей.

Она умерла 29 декабря 1980 года. На другой день после ее смерти явилась милиция и потребовала немедленно «освободить помещение», которое они обязаны отпечатать. Гроб должны были привезти позже, но они вызвали карету «Скорой помощи» и перевезли тело Н. Я. без гроба в морг... Об этом не хочется вспоминать.

3 января 1981 года мы хоронили Надежду Яковлевну Мандельштам. Мы хоронили человека не только той, для многих уже незапомятной эпохи тридцатых — сороковых годов, которую она живописала в своих книгах, но и эпохи шестидесятых — семидесятых годов, когда вокруг нее, в ее кухонье действительно билась мысль и протекали рядом и через эту кухню события нашей жизни.

Пережитое становится фактом культуры истории только после того, как оно записано. Н. Я. оставила нам в своих книгах эпическое описание двадцатых — тридцатых годов. Она безоговорочно осудила моральное и культурное одичание тех лет. Она принесла нам чувство живой связи исторических эпох. Она заглянула в зрачки Зверю-Веку и склеила свою кровью познавки двух столетий.

Михаил ПОЛИВАНОВ,
доктор физико-математических наук

Майская ночь¹

...Дав пощечину Алексею Толстому², О. М. немедленно вернулся в Москву и оттуда каждый день звонил по телефону Анне Андреевне и умолял ее присехать. Она медлила, он сердился. Уже собравшись и купив билет, она задумалась, стоя у окна. «Молитесь, чтобы вас миновала эта чаша?» — спросил Пунин³, умный, желчный и блестящий человек. Это он, прогуливаясь с Анной Андреевной по Третьяковке, вдруг сказал: «А теперь пойдем посмотреть, как вас повезут на казнь». Так появились стихи: «А после на дорогах, в сумерки, в навозном снегу тонуть. Какой сумасшедший Суриков мой последний напишет путь?» Но этого путешествия ей совершил не пришло: «Вас придерживают под самый конец», — говорил Николай Николаевич Пунин, и лицо его передергивалось тиком. Но под конец ее забыли и не взяли, зато всю жизнь она провожала друзей в их последний путь, в том числе и Пунина.

На вокзал встречать Анну Андреевну поехал Лёва⁴ — он в те дни гостил у нас. Мы напрасно передоверили ему это несложное дело — он, конечно, умудрился пропустить мать, и она огорчилась: все шло не так, как обычно. В тот год Анна Андреевна часто к нам ездила и еще на вокзале привыкла слышать первые мандельштамовские шутки. Ей запомнилось сердитое: «Вы ездите со скоростью Анны Карениной», — когда однажды опоздал поезд, и: «Что вы таким водолазом вырядились?» — в Ленинграде шли дожди, и она приехала в ботиках и резиновом плаще с капюшоном, а в Москве солнце пекло во всю силу. Встречаясь, они становились веселыми и беззаботными, как мальчишка и девчонка, встретившиеся в Цехе поэтов. «Цыц,— кричала я.— Не могу жить с попугаями!» Но в мае 1934 года они не успели развеселиться.

День тянулся мучительно долго. Вечером явился переводчик Бродский и засел так прочно, что его нельзя было сдвинуть с места. В доме хоть шаром покати — никакой еды. О. М. отправился к соседям раздобыть что-нибудь на ужин Анне Андреевне... Бродский устремился за ним, а мы-то надеялись, что, оставшись без хозяина, он уяннет и уйдет. Вскоре О. М. вернулся с добычей — одно яйцо, но от Бродского не избавился. Снова засев в кресло, Бродский продолжал перечислять любимые стихи своих любимых поэтов — Случевского и Полонского, а знал он поэзию и нашу, и французскую до последней ниточки. Так он сидел, цитировал и вспоминал, а мы поняли причину этой назойливости лишь после полуночи.

Приезжая, Анна Андреевна останавливалась у нас в маленькой кухоньке — газа еще не провели, и я готовила нечто вроде обеда в коридоре на керосинке, а бездействующая газовая плита из уважения к госте покрывалась кленкой и маскировалась под стол. Кухню прозвали капищем. «Что вы валиетесь, как идолице, в своем капище? — спросил раз Нарбут, заглянув на кухню к Анне Андреевне.— Пошли бы лучше на какое-нибудь заседание, посидели...» Так кухня стала капищем, и мы сидели там вдвоем, представив О. М. на растерзание стихолюбивому Бродскому, когда внезапно около часа ночи раздался отчетливый, невыносимо выразительный стук. «Это за Осей», — сказала я и пошла открывать.

За дверью стояли мужчины — мне показалось, что их много, — все в штатских пальто. На какую-то ничтожную долю секунды вспыхнула надежда, что это еще не то: глаз не заметил форменной одежды, скрытой под коверкотовыми пальто. В сущности, эти коверкотовые пальто тоже служили формой, только маскировочной, как некогда гороховые, но я этого еще не знала. Надежда тотчас рассеялась, как только незванные гости переступили порог.

Я по привычке ждала: «Здравствуйте!», или «Это квартира Мандельштама?», или «Дома?», или, наконец, — «Примите телеграмму!...» Ведь посетитель обычно переговаривается через порог с тем, кто открыл дверь, и ждет, чтобы открывший посторонился и пропустил его в дом. Ноочные посетители нашей эпохи не придерживались этого церемониала, как, вероятно, любые агенты тайной полиции во всем мире и во все времена. Не спросив ни о чем, ничего не дожидаясь, не задержавшись на пороге ни единого мига, они с неслыханной ловкостью и быстрой проникли, отстранив, но не оттолкнув меня, в переднюю, и квартира сразу наполнилась людьми. Уже проверяли документы и привычным, точным и хорошо разработанным движением гладили нас по бедрам, прощупывая карманы, чтобы проверить, не припрятано ли оружие.

Из большой комнаты вышел О. М. «Вы за мной?» — спросил он. Невысокий агент, почти улыбнувшись, посмотрел на него: «Ваши документы». О. М. вынул из кармана паспорт. Проверив, чекист предъявил ему ордер. О. М. прочел и кивнул.

На их языке это называлось «ночная операция». Как я потом узнала, все они твердо верили, что в любую ночь в любом из наших домов они могут встретиться с сопротивлением. В их среде для поддержания духа муссировались романтические легенды оочных опасностях. Я сама слышала рассказ о том, как Бабель, отстреливаясь, опасно ранил одного из «наших», как выразилась повествовательница, дочь крупного чекиста, выдвинувшегося в 37 году. Для нее эти легенды были связаны с беспокойством за ушедшего на «ночную работу» отца, добряка и баловника, который так любил детей и животных, что дома всегда держал на коленях кошку, а дочурку учил никогда не признаваться в своей вине и на все упрямо отвечать «нет». Этот уютный человек с кошкой не мог простить подследственным, что они почему-то призывались во всех возводимых на них обвинениях. «Зачем они это делали? — повторяла дочь за отцом.— Ведь этим они подводили и себя, и нас!..» А «мы» означало тех, кто по ночам приходил с ордерами, допрашивал и выносил приговоры, передавая в часы досуга своим друзьям увлекательные рассказы оочных опасностях. А мне чекистские легенды о очных страстиах напоминают о крохотчайшей дырочке в черепе осторожного, умного, высоколобого Бабеля, который в жизни, вероятно, не держал в руках пистолета.

В наши притихшие, нищие дома они входили, как в разбойничий притон, как в хазу, как в тайные лаборатории, где карбонарии в масках изготавливают динамит и собираются оказать вооруженное сопротивление. К нам они вошли в ночь с тринацатого на четырнадцатое мая 1934 года.

Проверив документы, предъявив ордер и убедившись, что сопротивления не будет, приступили к обыску. Бродский грузно опустился в кресло и застыл. Огромный, похожий на деревянную скульптуру какого-то чересчур дикого народа, он сидел и сопел, сопел и храл, храл и сидел. Вид у него был злой и обижденный. Я случайно к нему с чем-то обратилась, попросила, кажется, найти на полках книги, чтобы дать с собой О. М., но он отругнулся: «Пускай Мандельштам сам ищет», — и снова засопел. Под утро, когда мы уже свободно ходили по комнатам и усталые чекисты даже не скакивали нам вслед глаза, Бродский вдруг очнулся, поднял, как школьник, руку и попросил разрешения выйти в уборную. Чин, распоряжившийся обыском, насмешливо на него поглядел. «Можете идти домой!», — сказал он. «Что?» — удивленно переспросил Бродский... «Домой!», — повторил чекист и отвернулся. Чины презирали своих штатских помощников, а Бродский был, вероятно, к нам подсажен, чтобы мы, услыхав стук, не успели уничтожить каких-нибудь рукописей.

Выемка

О. М. часто повторял хлебниковские строчки: «Участок — великая вещь! Это — место свидания меня и государства». Но эта форма встречи чересчур невинна — ведь Хлебников рассказал о заурядной проверке документов у подозрительного бродяги, то есть о почти классических отношениях государства и поэта. Наше свидание с государством происходило по другому и более высокому рангу.

Незваные гости, действуя по строгому ритуалу, сразу, без словора, распределили между собой роли. Всего их было пятеро — трое агентов и двое понятых. Понятые развалились на стульях в передней и задремали. Через три года — в тридцать седьмом — они, наверное, хралы от усталости. Какая хартия обеспечила нам право на присутствие понятых при обыске и аресте? Кто из нас еще помнит, что именно эта сонливая парочка понятых обеспечивает гражданам общественный контроль над законностью ареста: ведь ни один человек не исчезал у нас во тьме и мраке без ордера и понятых. В этом наша дань правовым понятиям прошлых веков.

Присутствовать при аресте в качестве общественного контроля стало у нас почти профессией. В каждом большом доме для этого будили одних и тех же заранее намеченных людей, а в провинции двое понятых обслуживали целую улицу или квартал. Они жили двойной жизнью: днем числились служащими domoуправления — слесарями, дворниками, водопроводчиками — не потому ли у нас всегда текут краны? — а по ночам в случае надобности торчали до утра в чужих квартирах. На их содержание шла часть нашей

квартирной платы — это ведь тоже расходы по содержанию дома. А как расценивалась их ночная работа, мне знать не дано.

Старший из агентов занялся сундучком с архивом, а двое младших обыском. Тупость их работы бросалась в глаза. Действовали они по инструкции, то есть искали там, где, как принято думать, хитрецы прячут тайные документы и рукописи. Они перетряхивали одну за другой книги, заглядывали под корешок, портили надрезами переплеты, интересовались потайными — кто не знает этих тайн? — ящиками в столах, топтались вокруг карманов и кроватей. Запрятать бы рукопись в любую кастрюлю, она бы там пролежала до скончания века. Или еще лучше просто положить на обеденный стол...

Из двух младших я запомнила одного — молодого, ухмыляющегося, толсторожего. Он перебирал книги, умиляясь старым переплетам, и уговаривал нас поменьше курить. Вместо вредного табака он предлагал леденцы в жестянке, которую вынимал из кармана форменных брюк. Сейчас один мой добрый знакомый, писатель, деятель ССП, усиленно собирает книги, хвастается старыми переплетами и букинистическими находками — Саша Черный и Северин в первоизданиях — и все предлагает мне леденец из жестянной коробочки, хранящейся в кармане отличных узеньких брюк, сделанных на заказ в самом закрытом литературном ателье. Этот писатель в тридцатых годах занимал какое-то скромное место в органах, а потом благополучно спланировал в литературу. И эти два образа — пожилого писателя конца пятидесятых годов и юного агента тридцатых — сливаются у меня в один. Мне кажется, что молодой любитель леденцов переменил профессию, вышел в люди, ходит в штатском, решает нравственные проблемы, как полагается писателю, и продолжает уговаривать меня из той же коробочки.

Этот жест — уговаривание леденцами — повторялся во многих домах и при многих обысках. Неужели и он входил в ритуал, как способы входа в дом, проверка паспортов, ощупывание людей в поисках оружия и выступивание потайных ящиков? Нас обеспечили процедурой, обдуманной до мельчайших деталей и ничуть не похожей на безумные обыски первых дней революции и гражданской войны. А что страшнее, я сказать не могу.

Старший чин, невысокий, сухопарый, молчаливый блондин, присев на карточки, перебирал в сундуке бумаги. Действовал он медленно, внимательно, досконально. К нам прислали, вернее, нас почтили вполне квалифицированными работниками литературного сектора. Говорят, этот сектор входит в третье отделение, но мой знакомый писатель в узеньких брючках, тот, что уговаривает леденцами, с пеной у рта доказывает, что то отделение, которое ведает нами, считается не то вторым, не то четвертым. Роли это не играет, но облюдение некоторых административно-полицейских традиций вполне в духе сталинской эпохи.

Каждая просмотренная бумажка из сундука шла либо на стол, где постепенно вырастала куча, предназначенная для выемки, либо бросалась на пол. По характеру отбора бумаг можно всегда сообразить, на чем собираются строить обвинение, поэтому я навязалась чину в консультанты, читала трудный почерк О. М., датировала рукописи и отбивала все, что можно, например, хранившуюся у нас поэму Пяста и черновики сонетов Петrarки. Мы все заметили, что чин интересуется рукописями стихов последних лет. Он показал О. М. черновик «Волка»⁶ и, нахмурив брови, прочел вполголоса этот стишок от начала до конца, а потом выхватил шуточные стихи про управдома, разбившего в квартире недозволенный орган⁷. «Про что это?» — недоуменно спросил чин, бросая рукопись на стол. «А в самом деле, — сказал О. М., — про что?»

Вся разница между двумя периодами — до и после 37 года — сказалась на характере пережитых нами обысков. В 38 никто ничего не искал и не тратил времени на просмотр бумаг. Агенты даже не знали, чем занимается человек, которого они пришли арестовать. Небрежно перевернули тюфяки, выкинули на пол все вещи из чемодана, сгребли в мешок бумаги, потоптались и исчезли, уведя с собой О. М. В 38 — вся эта операция длилась минут двадцать, а в 34 — всю ночь до утра.

Но оба раза, видя, что я собираю вещи, шутливо — по инструкции! — говорили: «Что даете столько всяческой? Зачем? Разве он у нас долго собирается гостить? Поговорят и выпустят...» Таковы были остатки эпохи «высокого гуманизма» — тридцатых и начала тридцатых годов. «Я и не знал, что мы были в лапах у гуманистов», — сказал О. М. зимой

37/38 года, читая в газете, как поносят Ягоду, который, мол, вместо лагерей устраивал настоящие санатории...

Яйцо, принесенное для Анны Андреевны, лежало нетронутым на столе. Все — у нас находился еще и Евгений Эмильевич, брат О. М., недавно приехавший из Ленинграда, — ходили по комнатам и разговаривали, стараясь не обращать внимания на людей, рывшихся в наших вещах. Вдруг Анна Андреевна сказала, чтобы О. М. перед уходом посыпал и протянул ей яйцо. Он согласился, присел к столу, посыпал и съел... А куча бумаг на стуле и на полу продолжала расти. Мы старались не топтать рукописей, но для пристальцев это было трин-трава. И я очень жалею, что среди бумаг, украшенных вдовой Рудакова, пропали черновики стихов десятых и двадцатых годов — они для выемки не предназначались и потому лежали на полу — с великолепно отпечатавшимися каблуками солдатских сапог. Я очень дорожила этими листочками и поэтому отдала их на хранение в место, которое считала самым надежным — предданному юноше Рудакову. В Воронеже, где он пробыл года полтора в ссылке, мы делились с ним каждым куском хлеба, потому что он сидел без всякого заработка. Вернувшись в Ленинград, он охотно принял на хранение и архив Гумилева, который доверчиво отвезла ему на саночках Анна Андреевна. Ни я, ни она рукописей больше не увидели. Изредка до нее доходят слухи, что кто-то купил хорошо известные сий письма из этого архива.

«Осип, я тебе завидую, — говорил Гумилев, — ты умрешь на чердаке». Пророческие стихи⁸ к этому времени были уже написаны, но оба не хотели верить собственным предсказаниям и тешили себя французским вариантом злосчастной судьбы поэта. А ведь поэт — это и есть человек, просто человек, и с ним должно случиться самое обычное, самое заурядное, самое характерное для страны и эпохи, что подстерегает всех и каждого. Не блеск и ужас индивидуальной судьбы, а простой путь «с гурьбой и гуртом»⁹. Смерть на чердаке не для нашего времени.

Во время кампании в защиту Сакко и Ванцетти — мы жили тогда в Царском Селе — О. М. через одного церковника передал на церковные верхи свое предложение, чтобы церковь тоже организовала протест против этой казни. Ответ последовал незамедлительно: церкви согласна выступить в защиту казненных при условии, что О. М. обязуется организовать защиту и протест, если что-нибудь подобное произойдет с кем-либо из русских священников. О. М. ахнул и тут же признал себя побежденным. Это был один из первых уроков, полученных О. М. в те дни, когда он пытался примириться с действительностью.

Наступило утро четырнадцатого мая. Все гости, званные и незванные, ушли. Незванные ушли с собой хозяина дома. Мы остались с глазу на глаз с Анной Андреевной, вдвое в пустой квартире, хранившей следы ночных дебоша. Кажется, мы просто сидели друг против друга и молчали. Спать, во всяком случае, мы не ложились и чаю выпить не догадались. Мы ждали часа, когда можно будет, не обращая на себя внимания, выйти из дома. Зачем? К кому? Жизнь продолжалась... Вероятно, мы были похожи на утопленниц. Да простит мне Бог эту литературную реминисценцию — ни о какой литературе мы тогда не думали.

Утренние размышления

Мы никогда не спрашивали, услыхав про очередной арест: «За что его взяли?» Но таких, как мы, было немного. Обезумевшие от страха люди задавали друг другу этот вопрос для чистого самоутешения: людей берут за что-то, значит, меня не возьмут, потому что не за что! Они изошлялись, придумывая причины и оправдания для каждого ареста: «Она ведь действительно контрабандистка», «Он такое себе позволял», «Я сам слышал, как он сказал...» И еще: «Надо было этого ожидать — у него такой ужасный характер», «Мне всегда казалось, что с ним что-то не в порядке», «Это совершенно чужой человек...» Всего этого казалось достаточным для ареста и уничтожения: чужой, болтливый, противный... Все это вариации одной темы, прозвучавшей еще в семнадцатом году: «Не наш...» И общественное мнение, и карающие органы придумывали лихие вариации и подбрасывали щепки в огонь, без которого нет дыма. Вот почему вопрос: «За что его взяли?» — стал для нас запретным. «За что? — яростно кричала Анна Андреевна, когда кто-нибудь из своих, заразившихся общим стилем, задавал этот вопрос. — Как за что? Пора понять, что людей берут ни за что...»

Но когда увели О. М., мы с Анной Андреевной все же задали себе этот самый запретный вопрос: за что? Для ареста Мандельштама было сколько угодно оснований по нашим, разумеется, правовым нормам. Его могли взять вообще за стихи и за высказывания о литературе или за конкретное стихотворение о Сталине¹⁰. Могли арестовать его и за пощечину Толстому. Получив пощечину, Толстой во весь голос при свидетелях кричал, что закроет для Мандельштама все издательства, не даст ему печататься, вышлет его из Москвы... В тот же день, как нам сказали, Толстой выехал в Москву жаловаться на обидчика главе советской литературы — Горькому. Вскоре до нас дошла фраза: «Мы ему покажем, как быть русским писателям...» Эту фразу безоговорочно приписывали Горькому. Сейчас меня убеждают, что Горький этого сказать не мог и был совсем не таким, как мы его себе тогда представляли. Есть широкая тенденция сделать из Горького мученика сталинского режима, борца за свободомыслие и за интеллигенцию. Судить не берусь и верю, что у Горького были крупные разногласия с Хозяином и что он был здорово зажат. Но из этого никак не следует, чтобы Горький отказался поддержать Толстого против писателя типа О. М., глубоко ему враждебного и чуждого. А чтобы узнать отношение Горького к свободной мысли, достаточно прочесть его статьи, выступления и книги.

Так или иначе мы возлагали все надежды на то, что арест вызван местью за пощечину «русскому писателю» Алексею Толстому. Как бы ни оформлять такое дело, оно грозило только высылкой, а этого мы не боялись. Высылки и ссылки стали у нас бытовым явлением. В годы передышки, когда террор не бушевал, весной — обычно в мае — и осенью происходили довольно широкие аресты преимущественно среди интеллигентии. Они отвлекали внимание от очередных хозяйственных неудач. Бесследных исчезновений в ту пору еще почти не бывало: люди из ссылки писали; отбыв свой срок, они возвращались и снова уезжали. Андрей Белый, с которым мы встретились в Коктебеле летом 33 года, говорил, что не успевает посыпать телеграммы и писать письма своим друзьям-«возвращенцам». Очевидно, в 27 или в 29 году метла прошлась по теософским кругам и дала массовое возвращение в 33... А к нам весной, до ареста О. М. вернулся Праст... Возвращенцы после трех или пяти лет отсутствия селились в маленьких городках стоверстной зоны. Раз все «уезжают», чем же мы лучше? Незадолго до ареста, услыхав, что О. М. ведет вольные разговоры с какими-то посторонними людьми, я напомнила: «Май на носу — ты бы поосторожнее!» О. М. отмахнулся: «Чего там? Ну вышлют... Пусть другие боятся, а нам-то что!..» И мы действительно почему-то не боялись высылки.

Другое дело, если бы обнаружились стихи про Сталина. Вот о чем думал О. М., когда, уходя, поцеловал на прощание Анну Андреевну. Никто не сомневался, что за эти стихи он поплатится жизнью. Именно поэтому мы так внимательно следили за чекистами, стараясь понять, чего они ищут. Волчий же цикл особых бед не сутил — в крайнем случае лагерь...

Как будут квалифицировать все эти потенциальные обвинения? Не все ли равно! Смешно подходить к нашей эпохе с точки зрения римского права, наполеоновского кодекса и тому подобных установлений правовой мысли. Карающие органы действовали точно, осмотрительно и уверенно. У них было много целей — искоренение свидетелей, способных что-то запомнить, установление единомыслия, подготовка прихода тысячелетнего царства и прочее, и прочее... Людей снимали пластиами по категориям (возраст тоже принимался во внимание): церковники, мистики, ученые-идеалисты, остроумцы, ослушники, мыслители, болтуны, молчальники, спорщики, люди, обладавшие правовыми, государственными или экономическими идеями, да еще инженеры, техники и агрономы, потому что появилось понятие «вредитель», которым объяснялись все неудачи и просчеты. «Неносите эту шляпу», — говорил О. М. Борису Кузину¹¹, — нельзя выделяться — это плохо кончится». И это действительно плохо кончилось. Но, к счастью, отношение к шляпам переменилось, когда решили, что советские ученые должны одеваться еще лучше западных пижонов, и Борис Сергеевич, отсидев свой срок, получил вполне приличный научный пост. Шляпа — шутка, а голова под шляпой действительно предопределяла судьбу.

Люди искореняющей профессии придумали поговорку: «Был бы человек — дело найдется». Впервые мы ее услышали в Ялте (1928) от Фурманова, брата писателя. Чекист,

которому только что удалось спланировать в кинематографию, но через жену еще связанный с этим учреждением, он кое-что в этом понимал. В пансиончике, где большинство лечилось от туберкулеза, а Фурманов укреплял морским воздухом расщатанные нервы, жил добродушный и веселый нэпман. Он быстро сошелся с Фурмановым, и они оба придумали игру в «следствие», которая своей реальностью щекотала им нервы. Фурманов, иллюстрируя поговорку про человека и дело, проводил допрос дрожащего нэпмана, и тот неизбежно запутывался в сети хитроумных расширителей толкований каждого слова. К тому времени сравнительно небольшой круг до конца, то есть на собственном опыте, познал особенности нашего правосудия: через горнило проходили только перечисленные мною выше категории людей, иначе говоря, те, у кого под шляпой была голова, да еще те, у кого измели ценности, и нэпманы, то есть предприниматели, поверившие в новую экономическую политику. Вот почему никто, кроме О. М., не обращал внимания на забавы бывшего следователя, и игра в кошки-мышки проходила незамеченной. Не заметила бы ее и я, если бы О. М. не сказал мне: «Ты только послушай...» У меня ощущение, будто О. М. специально показывал мне все то, что он хотел, чтобы я запомнила... Фурмановская игра дала нам кое-какое первое понятие о судопроизводстве в нашем еще только становившемся государстве. В основе судопроизводства лежала диалектика и великая стабильная мысль: «Кто не с нами, тот против нас».

Анна Андреевна, с первых дней настороженно следившая за жизнью, знала больше меня. Вдвоем в разгромленной ночным обыском квартире мы перебирали все возможности и гадали о будущем, но слов при этом мы почти не произносили... «Вам нужно беречь силы», — сказала Анна Андреевна... Это значило, что нужно готовиться к долгому ожиданию: сплошь и рядом люди сидели по многу недель или месяцев, а то и больше года, пока их не высыпали или не уничтожали. Этого требовало оформление дела. От оформления отказываться не собирались и упорно фиксировали весь бред на бумаге... Неужели они действительно считали, что потомки, разбирая архивы, будут так же слепо верить всему, как обезумевшие современники? А может, просто работал бюрократический инстинкт, чернильный дьявол, который кормится не законом, а постановлением и поглощает тонны бумаги? Впрочем, законы тоже бывают разные...

Для семьи арестованного периода ожидания заполнялся хлопотами — О. М. назвал их в «Четвертой прозе» «невесомыми интегральными ходами», — добыванием денег и стоянием в очередях с передачами. По длине очередей мы знали, на каком мы свете. В 34 году они были небольшие. Я должна была беречь силы, чтобы пройти по всем путям, уже протоптаным другими женщинами. Но у меня в ту майскую ночь наметилась еще одна задача, и ради нее я жила и живу: изменить судьбу О. М. было не в моих силах, но часть рукописей уцелела, многое сохранилось в памяти — только я могла все это спасти, а для этого стоило беречь силы.

Из оцепенения нас вывел приход Левы. В ту ночь из-за приезда Анны Андреевны его увели на ночь к себе Ардовы¹² — у нас негде было разместиться. Зная, что О. М. встает рано, Лева явился чуть свет, чтобы выпить с ним чаю, и на пороге выслушал новость.

Мальчишка, захлебывающийся мыслью юнец, где бы он ни появлялся в те годы, все приходило в движение. Люди чувствовали заложенную в нем динамическую бродильную силу и понимали, что он обречен. А наш дом оказался зачумленным и гибельным для всех, кто подвержен инфекции. Вот почему при виде Левы я испытала настоящий приступ ужаса. «Уходите, — сказала я. — уходите скорей — ночью забрали Осю». И Лева покорно ушел. Так было у нас принято.

Второй тур

Мы разбудили телефонным звонком Евгения Яковлевича, моего брата, и он со сна выслушал нашу новость. Разумеется, мы не произносили при этом ни одного из недозволенных слов, вроде «арестовали», «забрали», «посадили»... У нас выработался особый код, и мы отлично понимали друг друга, не называя ничего по имени. Вскоре Женя и Эмма Герштейн¹³ были у нас. В четвертом, один за другим, через небольшие промежутки времени, мы вышли из дома — кто с базарной корзинкой в руках, кто просто с кучкой рукописей в кармане. Так мы спасли часть архива. Но какой-то инстинкт подсказал нам, что всего уносить не следует. Мало

того, вся куча бумаг так и осталась на полу. «Не трогайте», — сказала мне Анна Андреевна, когда я открыла сундучок, чтобы спрятать туда эту красноречивую груду бумаг, и я послушалась, сама не зная почему... Попросту я верила в ее честь...

В тот же день, когда после беготни по городу мы с Анной Андреевной вернулись домой, снова раздался стук, на этот раз довольно деликатный, и я опять впустила незваного гостя. Это был главный ночной чин. Он с удовлетворением поглядел на рукописи, валявшиеся на полу: «А вы еще даже не прибрали!», — и тут же приступил ко вторичному обыску. На этот раз он явился один, интересовался только сундучком, а в нем только рукописями стихов; на прозу он даже не глядел.

Узнав о вторичном обыске, Евгений Яковлевич, самый сдержанний и молчаливый человек на свете, наступил и сказал: «Если они явятся еще раз, они уведут вас обеих с собой».

Чем объяснить второй обыск и вторую выемку? Мы с Анной Андреевной обмениались взглядами — для советских людей этого достаточно, чтобы понять друг друга. Очевидно, следователь успел уже просмотреть изъятые ноты рукописи — времени для этого понадобилось немного, так как стихи необычны, — и не нашел того, что ему было нужно. Поэтому он послал произвести дополнительные розыски, боясь, что в ночной спешке нечаянно пропустили нужную бумажку. Из этого легко сделать вывод, что поиски были целесустримленные и стихами вроде «Волка» довольствоваться не хотят. Но той рукописи, которой они интересовались, в сундуке не было — ни я, ни О. М. этих стихов не записывали. И я не стала навязываться в консультанты, но обе мы спокойно пили чай, искоса поглядывая на гостя.

Чин явился буквально через двадцать минут после нашего возвращения. Следовательно, его об этом известили. Кто же? Это мог быть агент, живущий в доме, любой сосед, получивший распоряжение следить за нами, или «Вася», торчавший на улице. Тогда мы еще не научились распознавать так называемых «Вася». Опыт пришел позже, когда мы нагляделись, как они, ничуть не скрываясь, делают стойку перед домом Анны Андреевны. Почему они не таились и были так грубо откровенны? Плохая работа, до неприятности топорная, или тоже до неприятности топорное застращивание? Вероятно, и то, и другое. Всем своим поведением они говорили: вам никуда не спрятаться, над вами бдят, мы всегда с вами... Не раз добрые знакомые, которых мы ни в чем не подозревали, бросали нам какую-нибудь фразу, давая понять, кто они и почему почтили нас своей дружбой. Должно быть, эта откровенность входила в общую воспитательную систему, потому что после такой приоткрывающей горизонты фразы язык у нас присыхал к гортани и мы становились типе воды, ниже травы. А мне, например, часто подносили советы не таскать за собой остатки рукописей О. М., забыть про прошлое, не рваться в Москву: «Вас одобряют, что вы живете в Ташкенте...» Спрашивать, кто одобряет, не стоило. На такой вопрос отвечали улыбкой. Намеки, фразочки с улыбкой и темные речи вызывали во мне бешеное сопротивление: а вдруг все это праздная болтовня паршивого человечка, ничего не знающего, а просто стилизующегося под главные силы эпохи? Таких стилизаторов было сколько угодно. Но случались и другие вещи. В том же Ташкенте, когда я жила с Анной Андреевной, мы нередко, вернувшись домой, находили полную чужих окурков пепельницу, неизвестно откуда появившуюся книгу, журнал или газету, а раз я обнаружила на обеденном столе до отвращения яркую губную помаду, а рядом с ней ручное зеркало, перекочевавшее сюда из другой комнаты. В ящиках и чемоданах возникал иногда такой беспорядок, что не заметить его было невозможно. По инструкции оставлялись эти следы, или это просто забавлялись те, кому поручили порыться у нас в чемоданах? Веселый смех и — «А ну-ка, пускай полюбуются!». Оба варианта вполне допустимы... Отчего, собственно, не постращать нас, чтобы мы не зазнавались?: Меня, впрочем, страшали гораздо меньше, чем Анну Андреевну...

Что же касается тех, кого мы называли «Васями», то я особенно хорошо запомнила одного, уже послевоенного. Дни стояли морозные, и он отогревался, топая ногами и бурно, по-извозчичьи, размахивая руками. Несколько дней подряд, выходя из дома с Анной Андреевной, мы стыдливо пробегали мимо пляшущего «Васи». Потом на его месте появился другой, уже не столь темпераментный. А в другой раз, когда мы шли по внутреннему дворику Фонтанного



Э. С. Гурович, О. Э. Мандельштам и Н. Я. Мандельштам. Около 1930 года.

Дома, позади нас вспыхнул магнит — нас сфотографировали; решили, видно, узнать, кто приехал к опальной женщине. Чтобы попасть в этот внутренний дворик, надо было насквозь пройти через вестибюль главного здания. У дверей, выходивших во двор, стоял контроль. В день магнитной вспышки нас почему-то очень долго задержали у выхода. Предлог для задержки звучал идиотически: потеряли ключ или что-то в этом роде... Неужели фотосыщик начал заряжать аппарат, только когда его известили о нашем возвращении? Все это происходило незадолго до постановления об Ахматовой и Зощенко, и у меня пробегал мороз по коже от знаков особого внимания к моей подруге.

Лично мне такого внимания не уделяли: индивидуального наблюдения я почти не удостаивалась. Возле меня обычно копошились не агенты, а вульгарные стукачи. Только однажды в Ташкенте Лариса Глазунова, дочь крупного работника органов, предостерегла меня против одной из моих частных учениц, рекомендованных студенткой физмата: «Она только у вас хочет учиться...» Лариса случайно столкнулась с ней на моем пороге и объяснила, что эта девушка работает «у папы». Я успокоила Ларису, что мне это давно ясно: милая моя ученица никогда не приходила в назначенное время и все норовила застигнуть меня врасплох, чтобы извиниться и сказать, что очень, мол, занята и урок просит отложить... Кроме того, у нее были характерные плавдаки мелких сыщиц, и она никак не могла удержаться, чтобы не скосить вслед за мной глаза, когда я двигалась по комнате. Нетрудно было понять, зачем ей понадобились уроки, которых она и не брала... Разоблаченная Ларисой сыщица быстро исчезла, а навязавшая мне ее в ученицы студентка, неплохая, но, видно, попавшая в сети девушка, явно переживала драму и все пытались со мной объясняться. От объяснений я коскала и склонялась, но навсегда запомнила, как сыщица ахала и повторяла: «Я обожаю Ахматову и вашего супруга...» В этой среде мужей называли супругами. Супругами — какой добродетельный звук! — а в цекистской — «товарищи»...

Но все это происходило позже, а к 34 году мы даже не придумали слова «Вася» и так и не догадались, кто информировал чекиста о том, что мы уже вернулись домой.

Базарные корзинки

Чин, вторично рывшийся в сундучке и снова перебирающий рукописи, даже не заметил исчезновения поэма Пяста, а именно это могло выдать ему, что мы тоже успели произвести выемку. Хитрость Анны Андреевны, посоветовавшей мне не убирать комнату, удалась — сложи я бумаги в сундук, чекист мог бы насторожиться.

Поэмы Пяста были огромные. Именно их-то и пришло выносить в базарных корзинках. Делились они на главы, называвшиеся «отрывками». О. М. поэмы нравились, быть может, потому, что в них проклинались законные жены. У Пяста жена называлась «венчанной», и он не хотел с нею жить. Очнувшись чуть ли не впервые в нормальной, хотя и крохотной квартире, О. М. тоже захотел взбунтоваться против тягот семейной жизни и бурно расхваливал Пяста. Заметив его восторг, я спросила: «А у тебя кто венчанная? Уж не я ли?»

Подумать только, что и у нас могла быть обыкновенная жизнь с разбитыми сердцами, скандалами и разводами! Есть же на свете безумцы, которые не знают, что именно это и есть нормальная человеческая жизнь и к ней надо всеми силами стремиться. Чего только не отдашь за такую драму!

Пяст вручил мне на хранение две поэмы, переписанные от руки,— машинка стоила дорого, не по карману ни нам, ни ему. Это был единственный перебеленный, как говорили в старину, экземпляр. Пяст не поверил, как я ни старалась убедить его, что худшего места для хранения найти нельзя. После ссылки ему показалось, что у нас устойчивый, благополучный, спокойный дом — почти крепость. Увидев «отрывы» в руках ночного гостя, О. М. горько вздохнул от жалости: что будет с Пястом! И тут в меня «вовша такая сила», как сказала Анна Андреевна, что я отбила у чина и чуть не сохранила для потомства проклятия «венчанным» и прославления незаконным красавицам, Пястовым великаншам, потому что он прельщался только женшинами grenadierского роста. Последнюю из великанши он приводил к нам слушать «отрывы». Сохранила ли она его рукопись? Кажется, она интересовалась не Пястом, а гонорарами за переводы Рабле, которые Пяст тогда выколачивал из Госиздата. Помнится, Пяст тогда жаловался на капризы падчерицы, а она, как мне говорили, живет где-то далеко и дружески вспоминает своего чудаковатого отчима. Не у нее ли спасенные мной Пястовы поэмы?

А до ареста О. М. к нам все ходили милиционеры: Пяст дал наш адрес, регистрируясь в милиции и получая разрешение пропустить несколько дней в Москве для устройства своих литературных дел. Срок истек, и его гнали из запрещенной в дозволенную зону. Хорошо, что он не попался у нас во время обысков, а это бы случилось, если бы его не спугнули милиционеры. Попадись он чину, его могли бы изъять вместе с рукописями. Ему просто повезло. А вторая Пястова удача, что он не дожил до повторных арестов и умер в какой-то разрешенной Чухломе от рака, в собственной постели или на больничной койке. Как и семейные драмы, это и есть нормальная жизнь, а следовательно, счастье. Чтобы понять это, надо пройти большую школу.

Из рукописей О. М. мы спасли небольшую кучку черновиков разных лет. С тех пор они никогда уже не находились дома. Я привозила их в Воронеж небольшими пачками, чтобы установить тексты и составить полные списки ненапечатанных стихов. Эту работу мы постепенно проделали с О. М., который внезапно переменил свое отношение к рукописям и бумагам. Раньше он их знать не хотел и всегда сердился, что я их не уничтожаю, а бросаю в мамин желтый загородный сундучок. Но после обыска он понял, что легче сохранить рукопись, чем человека, и перестал надеяться на свою память, которая, как известно, погибает вместе с человеком. Кое-что из этих рукописей сохранилось по сегодняшний день, но большая часть погибла во время двух арестов — что делали в недрах наших судилищ с бумагами, которые увозились сначала в портфелях, а потом в мешках? Что уж гадать о бумагах, когда мы не знаем, что там делали с людьми... То, что уцелели свидетели той эпохи и куча рукописей, надо считать чудом.

Интегральные ходы

В третий раз не пришли, и нас не забрали. Мы предались обычному занятию тех, у кого забрали близких: хлопотали. После дневной беготни по городу мы, измученные, возвращались домой и вместо обеда открывали рублевую банку с кукурузными зернами. Так продолжалось три дня. На четвертый из Киева присехала моя мать. Она ликвидировала там комнату, продала громоздкую семейную мебель и присехала доживать жизнь с зятком и дочкой, которые наконец-то обзавелись квартирой. Никто не встретил ее на вокзале, и она была злой и обиженней. Но все эти чувства испарились в тот миг, когда она узнала об аресте О. М. Тут в ней проснулась либеральная курсистка, знавшая, как относиться к правительству и арестам. Она всплеснула руками, высказалась по поводу теории и практики большевизма, произвела инспекцию нашего хозяйства, заявила, что еще в ее время профессора объясняли пеллагру в Бессарабии злоупотреблением мамалыгой, вынула из нагрудного мешочка деньги и побежала на базар. Наша беспризорность кончилась, и мы захлопотали еще энергичнее.

Николай Ивановича Бухарина я посетила в самые первые дни. Услыхав мои новости, он пересмился в лицо и забросал меня вопросами. Я не представляла себе, что он спросо-

бен так волноваться. Он бегал по огромному кабинету и время от времени останавливался передо мной с очередным вопросом... «Было свидание?» Мне пришлось объяснить ему, что свиданий больше не бывает. Николай Иванович этого не знал. Как всякий теоретик, он не умел делать практических выводов из своей теории.

«Не написал ли он чего-нибудь сгоряча?» Я ответила — нет, так, отцепенские стихи, не страшнее того, что Николай Иванович знает... Я соглашусь. Мне до сих пор стыдно. Но скажи я тогда правду, у нас бы не было «воронежской передышки»¹⁴. Надо ли лгать? Можно ли лгать? Оправданна ли «ложь во спасение»? Хорошо жить в условиях, когда не приходится лгать. Есть ли такое место на земле? Нам внушили с детства, что всюду ложь и лицемерие. Без лжи я не выжила бы в наши страшные дни. И я лгала всю жизнь — студентам, на службе, добрым знакомым, которым не вполне доверяла, а таких было большинство. И никто мне при этом не верил — это была обычна ложь нашей эпохи, нечто вроде стереотипной вежливости. Этой лжи я не стыжусь, а Николая Ивановича я ввела в заблуждение вполне сознательно, с холодным расчетом — нельзя отпугивать единственного защитника... И это другое дело... Но могла ли я не соглат?

Николай Иванович утверждал, что за пощечину Толстому арестовать не могли. Я настаивала, что арестовать можно за что угодно. Что же касается до статьи кодекса, то всегда применяется пятьдесят восемь — чего уж удобнее?

Рассказ об угрозах Толстого и фраза: «Мы ему покажем, как быть русским писателям», — произвели на Николая Ивановича должное впечатление: он почти стонал. Этот человек, знавший царские тюрьмы и принципиальный сторонник революционного террора, в тот день с особой, вероятно, осторожностью почувствовал свое будущее.

В дни хлопот я часто заходила к Николаю Ивановичу. Короткова¹⁵, которую О. М. называл белочкой, грызущей орешек с каждым посетителем («Четвертая проза»), встречала меня испуганным ласковым взглядом и тотчас бежала докладывать. Дверь кабинета распахивалась, и Николай Иванович выбегал из-за стола мне навстречу: «Ничего нового?.. И у меня нет... Никто ничего не знает...»

Это были наши последние встречи. Просздом из Чердыни в Воронеж я снова бежала в «Известия». «Какие страшные телеграммы вы присыпали из Чердыни?», — сказала Короткова и скрылась в кабинете. Вышла она оттуда чуть не плакая: «Николай Иванович не хочет вас видеть... какие-то стихи...» Больше я его не видела. Эренбургу он впоследствии рассказал, что Ягода прочел ему наизусть стихи про Сталина, и он, испугавшись, отступил. До этого он успел сделать все, что было в его силах, и сму мы обязаны пересмотром дела.

В период хлопот визит в «Известия» к Бухарину занимал не больше часа, а сама процедура хлопот требует непрестанной беготни по городу. Жены арестованных — численное превосходство даже после 37 года всегда оставалось в тюрьмах за мужчинами — проторили дорогу в «Политический Красный Крест» к Пешковой¹⁶. Туда ходили, в сущности, просто поболтать и отвести душу, и это давало иллюзию деятельности, столь необходимую в периоды тягостного ожидания. Влияния «Красный Крест» не имел никакого. Через него можно было изредка переслать в лагерь посылку или узнать об уже вынесенном приговоре и о совершившейся казни. В 37 году эту странную организацию ликвидировали, отрезав эту последнюю связь тюрьмы с внешним миром. Ведь самая идея помочь политзаключенным находится в явном противоречии со всем нашим укладом — сколько людей отправилось на катоги и в одиночные камеры только потому, что были просто знакомы с людьми, подсвергшимися каре властителей? Закрытие «Политического Красного Креста» было вполне логичным делом, но с той поры семьи арестованных жили только слухами, часть которых распространялась специально для нашего устрашения.

Во главе этого учреждения с самого начала стояла Пешкова, но я пошла не к ней, а к ее помощнику, умнейшему человеку — Винаверу. Первый вопрос Винавера: какой чин рылся в сундуке? Тут я узнала, что чем выше чин главного ночного гостя, тем серьезнее дело и тем страшнее предуготовленная судьба. Об этой форме гадания я услышала впервые и потому не догадалась в ночь обыска посмотреть на нашивки. Винавер сообщил мне еще, что бытовые условия «внутри» вполне приличные — чистота и хороший стол. «Еда, наверное, лучше, чем у нас с вами дома...» Винавер не приилось объяснять, что лучше впроголодь, да на воле

и что в этой подлой тюремной «цивилизации» есть нечто непереносимо зловещее. Он и без меня все понимал и все знал. Несколько позже он сказал мне, чего нам ждать от будущего, и его предсказание исполнилось: у него был огромный опыт, и он умел делать из него выводы. К Винаверу я ходила, как на службу, а потом всегда извещала его о переменах судьбы. Делала я это даже не для того, чтобы получить совет, а просто из потребности в общении с одним из последних людей, не утративших в нашей сумятице правового мышления и упорно, хотя и тщетно, боровшихся с насилием.

А хороший совет Винавер мог дать. Это он уговаривал меня внушить О. М. быть как можно менее активным, ни о чем не просить, вроде перевода, например, в другое место, ничем о себе не напоминать, прятаться, молчать, словом, притвориться покойником... «Чтобы не было ни одной новой бумажки с вашим именем... Лишь бы они про вас забыли...» По его мнению, это был единственный способ спасти или хотя на некоторый срок продлить жизнь. Для себя Винавер этого рецепта использовать не мог и был все время на виду. В ежовщину он исчез. Про него ходят слухи, что он жил двойной жизнью и был не тем, за кого мы его принимали. Я этому не верю и никогда не поверю. Мне хотелось бы, чтобы постмортем обелило его память. Мне известно, что подобного рода порочащие слухи нередко распускались самой Лубянкой про неугодных ей людей. Даже если в архивах хранятся какие-нибудь документы, чернищие Винавера, они не могут служить доказательством, что он предавал органам своих посетителей; даже если Пешкову убедили, что Винавер был поставлен шпионить за ней, нам этому верить нельзя. Сфабриковать документы не так трудно, люди в застенках подписывали черт знает какой бред, напугать старуху стукачами и провокаторами ничего не стоит... Но как будут историки восстанавливать истину, если всюду и везде на крупицу правды насложились груды чудовищной лжи? Не предрасудков, не ошибок времени, а сознательной и обдуманной лжи?

Общественное мнение

Анна Андреевна тоже погрузилась в так называемые хлопоты. Она добилась приема у Енукидзе¹⁷. Тот внимательно ее выслушал и не проронил ни слова. Затем она побежала к Сейфуллиной¹⁸, которая тотчас бросилась звонить к знакомому чекисту. «Лишь бы его не свели там с ума», — сказал «знакомый чекист», — наши на этот счет большие мастера...» На следующий день он сообщил Сейфуллиной, что навел справки, — в это дело вмешиваться не следует... Почему?.. Ответа не последовало. У Сейфуллиной опустились руки. У нас всегда опускались руки, когда нам советовали не вмешиваться в какое-нибудь дело, и мы тут же отступали. Удивительная черта нашей жизни: мои современники подавали петиции и просьбы, выражали свое мнение и действовали только после того, как выяснялось, что скажут по этому поводу «наверху». Все слишком остро ощущали свою беспомощность, чтобы действовать напролом и наперекор. «У меня таких дела не выходят», — говорил Эренбург, объясняя, почему он отказывается хлопотать по некоторым делам — о пенсиях, например, жилищади и прописке. Ведь он мог только просить, но не настаивать... Чего уж удобнее для начальства! Можно было остановить любое общественное выступление, намекнув, что «наверху» им будут недовольны. Этим пользовались и промежуточные, и высшие инстанции в своих целях и создавали неприкасаемые дела. Начиная со второй половины двадцатых годов «шепот общественности» становился все более неуловимым и перестал превращаться в какие-либо действия. Все дела об арестах были, разумеется, «неприкасаемыми», хлопотать полагалось лишь членам семьи — то есть ходить к Пешковой, а потом в прокуратуру. Если кто-нибудь посторонний взвыпался в хлопоты, это было не правилом, а исключением, и ему нужно было за это воздать должное. А в дело О. М. вмешиваться, конечно, не стоило — ведь в своих стихах он посягнул на слишком грозное лицо. Поэтому я ценю, что в хлопоты 34 года пожелал впутаться и Пастернак и пришел к нам с Анной Андреевной и спросил, куда ему обратиться. Я посоветовала пойти к Николаю Ивановичу Бухарину, потому что уже знала, как он отнесся к аресту О. М., и к Демьяну Бедному.

Демьяна я называла не случайно. Через Пастернака я напоминала ему об обещании, данном в 1928 году. О. М. тогда случайно узнал на улице от своего однофамильца — Исаи

Бенедиктовича Мандельштама про пять банковских служащих, старых «спецов», как таких тогда называли, которых приговорили к расстрелу по обвинению не то в растрате, не то в бесхозяйственности. Неожиданно для себя и для своего собеседника и вопреки правилу не вмешиваться в чужие дела, О. М. перевернулся Москву и спас старииков. Эти хлопоты он упоминает в «Четвертой прозе». Среди прочих «интерграильных ходов» он обратился к Демьяну Бедному. Свидание состоялось где-то на задворках «Международной книги». Страстный книжник, Демьян был постоянным посетителем этого магазина и, вероятно, там и встречался со своими знакомыми — к тому времени жившие в Кремле уже не смели никого к себе приглашать. Хлопотать за старииков Демьян насторожился отказался. «А вам-то какое дело до них?» — спросил он у О. М., узнав, что речь идет не о родственниках и даже не о знакомых. Но тут же добавил, что, если что случится с самим О. М., он, Демьян, обязательно за него заступится.

Это обещание почему-то очень обрадовало О. М., хотя в ту пору у нас было твердое ощущение: «не тронут, не убьют...» Приехав в Ялту, он мне рассказал об этом разговоре: «Все-таки приятно... Обманет?.. Не думаю...» Вот почему в 34 году я посоветовала Пастернаку поговорить с Демьяном. Борис Леонидович позвонил ему едва ли не в первый день, когда у нас рылись вторично в сундуке, но Демьян как будто уже кое-что знал. «Ни вам, ни мне в это дело вмешиваться нельзя», — сказал он Пастернаку... Знал ли Демьян, что речь идет о стихах против человека с жирными пальцами, с которым ему уже пришлось столкнуться, или ответил обычной советской формулой, означающей, что всегда лучше держаться подальше от зачумленных? Возможно и то, и другое... Во всяком случае, Демьян сам уже был в немилости из-за своего книголюбия. Он имел неосторожность записать в дневнике, что не любит давать книги Сталину, потому что тот оставляет на белых страницах отпечатки жирных пальцев. Секретарь Демьяна решил выслужиться и переписал для Сталина эту выдержку из дневника. Предательство, кажется, не принесло ему пользы, а Демьян долго бедствовал и даже продал свою библиотеку. Когда его снова стали печатать, пятнадцатилетний наследственный срок уже истек, да, кажется, еще последний брак не был оформлен, и я видела, как его наследник, испытой юноша, ходил к Суркову, чтобы именем отца вымаливать хоть какие-нибудь подачки. И при мне Сурков начисто ему во всем отказал. Это было последнее унижение Демьяна уже в потомстве. А за что? Ведь Демьян работал на Советскую власть не за страхи, а за совесть. Чего уж мне удивляться, если меня времена от времени пихают сапогами. Я-то уж, наверное, не заслужила ничего.

В середине мая 34 года Демьян и Пастернак встретились на каком-то собрании, вероятно, организационном по поводу образования Союза писателей. Демьян вызвался отвезти Пастернака домой и, отпустив, насколько я помню, шофер, долго кружил по Москве. Тогда многие из наших деятелей еще не боялись разговаривать в машинах, а потом прошел слух, что в них тоже установили магнитофоны. Демьян говорил с Пастернаком о том, что «в русскую поэзию стреляют без промаха», и, между прочим, упомянул Маяковского. По мнению Демьяна, Маяковский погиб потому, что вторгся в область, где он, Демьян, чувствует себя как дома, но для Маяковского чужую.

Наговорившись, Демьян отвез Пастернака не домой, а на Фурманов переулок, где, обезумев от двух обысков, сидели мы с Анной Андреевной.

А на съезде журналистов в те дни метался Балтрушайтис¹⁹, умоляя всех одного за другим спасти О. М., и заклинал людей сделать это в память погибшего Гумилева. Представляю себе, как звучали для слуха прожженных журналистов тридцатых годов эти два имени, но Балтрушайтис был подданным другой страны, и ему не могли винуть, что «в это дело вмешиваться не рекомендуется»...

Балтрушайтис уже давно предчувствовал, какой конец ждет О. М.... Еще в самом начале двадцатых годов (в 1921, до гибели Гумилева) он уговаривал О. М. принять литовское подданство. Это было возможно, потому что отец О. М. жил когда-то в Литве, а сам О. М. родился в Варшаве. О. М. даже собрал какие-то бумаги и снес показать их Балтрушайтису, но потом раздумал: ведь уйти от своей участии все равно нельзя и не надо даже пытаться...

Хлопоты и шумок, поднятые вокруг первого ареста О. М., сыграли, очевидно, какую-то роль, потому что дело обернулось не по трафарету. Так по крайней мере думает

Анна Андреевна. Ведь в наших условиях даже эта крохотчая реакция — легкий гул, шепоток — тоже представляет непривычное, удивительное явление. Но если проанализировать этот шумок, еще неизвестно, что бы в нем обнаружилось. По своей наивности я думала, что общественное мнение всегда стоит за слабого против сильного, за обиженного против обидчика, за жертву против зверя. Мне раскрыла глаза более современная Лида Багрицкая. В 38 году, когда арестовали ее друга Поступальского, она горько мне пожаловалась: «Раньше все было иначе... Вот когда забрали Осипа Эмельевича, одни были против, другие считали, что так и нужно. А теперь что? Своих забирают!»

Нельзя не оценить формулировку Лиды Багрицкой. Со спартанской прямотой она выразила основной моральный закон тех, кому надлежало быть нашей интеллигенцией, а не в этом ли слове образуется общественное мнение? Деление на «своих» и «чужих» — тогда это называлось «чуждый элемент» —шло еще от гражданской войны с ее неизбежным правилом: «Кто кого?» После победы и капитуляции победители всегда претендуют на награды, подачки и поблажки, а побежденные подлежат искоренению. Но тут-то и оказывается, что право состоять в категории «своих» не бывает ни наследственным, ни даже пожизненным. За это право велась и ведется непрерывная борьба, и вчерашний «свой» в один миг может скатиться в категорию чужих. Мало того: логически развиваясь, принцип деления на своих и чужих приводит к тому, что каждый скатывающийся становится «чужим» именно потому, что он катится вниз. Тридцать семь лет и все, что за ним последовало, возможны только в обществе, где идея деления дошла до своей последней фазы.

Обычно при очередной вести о чьем-нибудь аресте одни притихали и еще глубже зарывались в свою нору, которая, кстати, никого не спасала, а другие дружно улюлюкали. Моя приятельница Соня Вишневецкая в конце сороковых годов каждый день узнавала об арестах своих друзей. «Всюду измена и контрреволюция!» — восклицала она в ужасе. Так полагалось говорить тем, кому жилось получше и было что терять. Возможно, что в этом восклицании содержится заклинательная формула вроде «чур-чур меня!... Что нам оставалось делать, как не колдовать?..

Свидание

Через две недели случилось чудо, первое по счету: мне позвонил следователь и предложил прийти на свидание. Пропуск вручили с неслыханной быстротой. Я поднялась по широкой лестнице таинственного дома, вошла в коридор и остановилась, как мне велели, у двери следователя. И тут произошло нечто из ряда вон выходящее: по коридору вели заключенного — видно, никак не ожидали, что в этом святилище может оказаться посторонний. Я успела заметить, что арестант — высокий китаец с дико выпученными глазами. Мне не удалось разглядеть ничего, кроме безумных глаз и падающих брюк, которые он подтягивал рукой. Конвоиры, увидев меня, засуетились, и вся группа тотчас исчезла в какой-то комнате или боковом проходе. Я еще успела даже не рассмотреть, а скорее почутуть физиономии конвоиров внутренней охраны, резко отличающихся по типажу от внешней. Впечатление было мимолетным, но от него осталось чувство ужаса и странного холода, пробегающего по спине. С тех пор холодок и мелкая дрожь всегда оповещают меня о приближении людей этой «внутренней» профессии еще до того, как я замечаю их взгляд — голова неподвижна, а поворачиваются, следя за вами, только глаза. Дети заимствуют этот взгляд у родителей — я наблюдала его у школьников и студентов. Впрочем, это особенность профессиональная, но у нас она страшно, как и все, подчеркнута, словно все люди с сыщицким взглядом — первые ученики, старательно демонстрирующие учителю, как хорошо они усвоили курс.

Китайца увели, но передо мной всегда возникают его глаза, когда я слышу слово «расстрел». Каким образом допустили эту встречу? По слухам, «внутри» принятые тончайшие технические меры, чтобы таких столкновений не случалось: коридоры будто разделены на секторы, и особая сигнализация оповещает конвоиров, что проход занят. Впрочем, разве мы знаем, что там делается? Мы пытались слухами и дрожали мелкой дрожью. Дрожь явление физиологическое и ничего общего с нормальным страхом не имеет. Впрочем, Анна Андреевна, услышав это, рассердилась: «Как не страх? А что еще?» Она утверждает, что никакой физиологии нет, и это был страх, самый обыкновенный, мучитель-

ный, дикий страх, который мучил ее все годы до самой смерти Сталина.

Рассказы о технической оснащенности — они касались множества вещей, далеко не только коридорной сигнализации — прекратились только в конце тридцатых годов в связи с переходом на «упрощенный допрос». Новые методы были столь понятны и традиционны, что положили конец всяkim легендам. «Теперь все ясно», — сказала та же Анна Андреевна, — шапочку-ушаночку и фытуть — в тайгу». Отсюда: «Там, за проволокой колючей, в самом сердце тайги дремучей тень мою ведут на допрос...»²⁰.

Я так и не знаю, в какое отделение меня вызвали на свидание — в третье или четвертое, но у следователя было традиционное в русской литературе отчество — Христофорович. Почему он его не переменил, если работал в литературном секторе? Очевидно, ему нравилось такое совпадение²¹. О. М. страшно сердился на все подобные сопоставления — он считал, что нельзя упоминать всуе ничего, что связано с именем Пушкина. Когда-то нам пришлось из-за моей болезни прожить два года в Царском Селе, да еще в Лицее, потому что там сравнительно дешево сдавались приличные квартиры, но О. М. этим ужасно тяготился — ведь это почти святотатство! — и под первым же предлогом сбежал и обрек нас на очередную бедомость. Так что обсуждать с ним отчество Христофорыча я не решилась.

Свидание состоялось при Христофорыче — я называю его этим запретным именем, потому что забыла фамилию. Крупный человек с почти актерскими — по Малому театру — назойливыми и резкими интонациями, он все время вмешивался в наш разговор, но не говорил, а внушал и подчеркивал. Все его сентенции звучали мрачно и угрожающе. Такова, однако, наша психологическая структура, что мне, пришедшей с воли, было не страшно, а только противно. Две недели без сна в камере внутренней тюрьмы и на допросах в корне бы изменили мое состояние.

Когда ввели О. М., я заметила, что глаза у него безумные, как у китайца, а брови сползают. Профилактика против самоубийств — «внутри» отбирают пояса и подтяжки и срезают все застежки.

Несмотря на безумный вид, О. М. тотчас заметил, что я в чужом пальто. Чье? Мамино... Когда она присхала? Я назвала день. «Значит, ты все время была дома?» Я не сразу поняла, почему он так заинтересовался этим дурацким пальто, но теперь стало ясно — ему говорили, что я тоже арестована. Прием обычный — он служит для угнетения психики арестованного. Там, где тюрьма и следствие окружены такой тайной, как у нас, и не подчиняются никакому общественному контролю, подобные приемы действуют безотказно.

Я потребовала объяснений у следователя. Неуместность всяких требований в этом судилище очевидна сама собой. Требовать там можно только по наивности или от бешенства. Во мне хватало и того, и другого. Но прямого ответа я, конечно, не получила.

Думая, что мы расстаемся надолго, а может, навсегда, О. М. поспешил передать со мной весточку на волю. У нас превосходно развиты тюремные навыки — у всех, сидевших и не сидевших, — и мы умеем использовать «последнюю возможность быть услышанным»²². О. М. в «Разговоре о Данте» приписал эту потребность Уголино... Но это только наше свойство — чтобы развить его, надо прожить нашу жизнь. Несколько раз мне выпадала возможность «быть услышанной», и я старалась ее использовать, но мои собеседники не понимали подтекста, не регистрировали моей информации. Им казалось, что наше только что начавшееся знакомство будет продолжаться вечно, и они успеют, не торопясь и не напрягаясь, постепенно все узнать. Это была роковая ошибка с их стороны, и мои усилия пропадали даром. О. М. во время свидания находился в лучшем положении — я была отлично подготовлена к приему информации, ничего разжевывать не приходилось, и ни одно слово не пропало даром.

О. М. сообщил, что у следователя были стихи, они попали к нему в первом варианте со словом «мужикоборец» в четвертой строке: «Только слышно кремлевского горца — душегубца и мужикоборца». Это было весьма существенно, чтобы выяснить, кто информировал органы. Дальше О. М. торопился рассказать, как велось следствие, но следователь непрерывно его обрывал и старался использовать создавшуюся ситуацию, чтобы припугнуть и меня. А я тщательно вылавливала из перепалки всевозможные сведения, чтобы передать их на волю.

Стихи следователь называл «беспрецедентным контрреволюционным документом», а меня — соучастницей преступления. «Как должен был на вашем месте поступить советский человек?» — сказал он, обращаясь ко мне. Оказывается, советский человек на моем месте немедленно сообщил бы о стихах в органы, иначе он подлежал бы уголовной ответственности... Через каждые три слова в устах нашего собеседника звучали слова «преступление» и «наказание». Выяснилось, что я не привлечена к ответственности только потому, что решили «не поднимать дела». И тут я узнала формулу: «Изолировать, но сохранить» — таково распоряжение свыше — следователь намекнул, что с самого верха, — первая милость... Первоначально намечавшийся приговор — отправка в лагерь на строительство канала — отменен высшей инстанцией. Преступника высыпают в город Черднин на поселение... И тут Христофорович предложил мне сопровождать О. М. к месту ссылки. Это была вторая неслыханная милость, и я, разумеется, тотчас согласилась схать, но мне до сих пор любопытно, что произошло бы, если бы я отказалась.

Какая бы выстроилась очередь, если бы в 37, скажем, году желающим предложили добровольно отправляться в ссылку вместе с семьями, детьми, бараком и книгами!.. Жены дежурили бы в этой очереди вместе с любовницами, мачехи — рядом с падчерицами...

А может, и нет... Люди только тем и держатся, что не знают своего будущего и надеются избежать общей участии. Пока погибают соседи, уцелевшие тешат себя знаменитым вопросом: «За что его взяли?» — и перебирают все неосторожности и оплошности, замеченные за погибающим. Женщины — ведь именно они подлинные хранительницы домашнего очага — с демонической силой поддерживают огонек надежды. Лия Яхонтова в 37 году говорила, проходя по Лубянке: «Я чувствую себя в безопасности, пока стоит этот дом...» Своей святой верой она, может, отсрочила на несколько лет гибель мужа — он выбросился из окна в припадке дикого страха, что его сейчас арестуют. А в 53 году одна правоверная кандидатка биологических наук, еврейка, доказывала другой еврейке, западной, а потому совершенно потрясенной, что с ней ничего не может случиться, если, конечно, «вы не совершили никакого преступления и совесть у вас чиста»... Да еще дорожная спутница 57 года, которая объясняла мне, что к реабилитированным нужно подходить с осторожностью, так как отпускают их из гуманных побуждений, а вовсе не потому, что они невинны, ведь что ни говори, а дыма без огня не бывает... Причинность и целесообразность — основные категории нашей потребительской философии.

Теория и практика

Я пришла домой с известием, что следователь предъявил О. М. стихи о Сталине и О. М. признал авторство и то, что человек десять из ближайшего окружения их слышали. Я сердилась, что он не отрицал всего, как подобает конспиратору. Но представить себе О. М. в роли конспиратора совершенно невозможно — это был открытый человек, не способный ни на какие хитроумные ходы. Того, что называется изворотливостью ума, у него не было и в помине. А, кстати, опытные люди говорили мне, что какой-то минимум в условиях нашего следствия необходимо признавать, иначе начинается «нажим» и обессиленный заключенный наговаривает на себя черт знает что.

Да и какие мы к черту конспираторы! Политический деятель, подпольщик, революционер, заговорщик — это всегда человек особого склада. Нам подобная деятельность противопоказана. А жизнь ставила нас в условия чуть ли не карбонариев. Встречаясь, мы говорили шепотом и косились на стены — не подслушивают ли соседи, не поставили ли магнитофон. Когда я приехала после войны в Москву, оказалось, что у всех телефоны закрыты подушками: пронеся слух, что в них установлены звукозаписывающие аппараты, все обыватели дрожали от страха перед черным металлическим свидетелем, подслушивающим их потаенные мысли. Никто друг другу не доверял, в каждом знакомом мы подозревали стукача. Иногда казалось, что вся страна заболела манией преследования. И до сих пор мы не выздоровели от этой болезни.

А ведь у нас были все основания для этого недуга. Мы ходили как бы просвещенные рентгеновскими лучами: взаимная слежка — вот основной принцип, которым нами упра-

вляли. «Чего бояться,— сказал Сталин.— Надо работать...» Служащие несли свой мед директору, секретарю парторганизации и в отдел кадров. Учителя при помощи классного самоуправления — старосты, профорга и комсорга — могли выжать масло из любого школьника. Студентам поручалось следить за лектором. Взаимопроникновение тюрем и внешнего мира было поставлено на широкую ногу. В любом учреждении, особенно в вузах, служит множество людей, начинавших свою карьеру «внутри». Они прошли такую прекрасную выучку, что начальство готово продвигать их в любой области. Уйдя на «учебу», они получают всяческие поощрения по службе и нередко остаются в аспирантуре. Кроме них, связь поддерживается стукачами, и эти, смешавшиеся с толпой служащих, ничем от них не отличимые, представляют еще большую опасность. Выслуживаясь, они способны на провокации, чего почти не случается с бывшими служащими органов. Такова была повседневная жизнь, быт, украшенный ночной исповедью соседа о том, как его вызывали «туда», чем ему грозили и что предлагали, или предупреждением друзей о том, кого из знакомых надо остерегаться. Все это происходило в масовом порядке с людьми, за которыми индивидуальной слежки не устанавливалось. Каждая семья перебирала своих знакомых, ища среди них провокаторов, стукачей и предателей. После 37 года люди перестали встречаться друг с другом. И этим достигались далеко идущие цели органов. Кроме постоянного сбора информации, они добились ослабления связей между людьми, разъединения общества да еще втянули в свой круг множество людей, вызывая их от времени до времени, беспокоя, получая от них подписки о «неразглашении».

И все эти толпы «вызывающих» жили под вечным страхом разоблачения и, подобно кадровым служащим органов, были заинтересованы в незыблности порядка и неприкосновенности архивов, куда попали их имена.

Такие формы быта установились не сразу, но О. М. удостоился индивидуальной слежки одним из первых: его литературное положение определилось уже к 23 году, когда его имя было вычеркнуто из списков сотрудников всех журналов, а потому и кишили вокруг него стукачи уже в двадцатых годах... Мы различали несколько разновидностей в этом племени. Легче всего определялись деловитые молодые люди с воинской выправкой, которые даже не симулировали интереса к автору, но сразу требовали у него «последних сочинений». О. М. обычно пробовал уклоняться: у него, мол, нет свободного экземпляра... Молодые люди тотчас предлагали все переписать на машинке: «И для вас экземплярчик сделаем...» С одним из таких посетителей О. М. долго торговался, отказываясь выдать «Волка»... Это происходило в 32 году... Деловитый юноша настаивал, утверждая, что «Волк» уже широко известен. Не добившись рукописи, он пришел на следующий день и прочел «Волка» наизусть. Доказав таким образом «широкую известность» стихотворения, он получил необходимый ему авторский список. Эти стукачи, выполнив очередное задание, бесследно исчезали. У них было еще одно достоинство: они всегда спешили и никогда не притворялись гостями. Очевидно, в их функции не входило «наблюдение за кругом», то есть за теми, кто нас посещает.

Второй вид стукачей — «ценители» — чаще всего члены той же профессии, сослуживцы, соседи... В ведомственных домах сосед всегда бывает и сослуживцем. Эти являлись без телефонного звонка, не говорившись, как снёт на голову, так сказать, «на огонек»... Они сидели подолгу, вели профессиональные разговоры, занимались мелкими провокациями. Принимая такого стукача, О. М. всегда требовал, чтобы я подала чаю: «Человек работает — нужно чаю...» Чтобы втереться в дом, они прибегали к мелким хитростям. С.— он же Б.— заявился к нам в первый раз с рассказами о Востоке — по происхождению он, мол, из Средней Азии и сам учился в медресе. В доказательство своей «восточности» он притащил небольшую статуэтку ярмарочного Будды. Будда служил доказательством, что Б., он же С.,— знаток Востока и настоящий ценитель искусств. Как сочетался Будда с магометанством и медресе, мы так и не выяснили. Вскоре С. прорвало, и он насандалил, а вакансия при О. М., очевидно, освободилась, потому что незвано-негаданно пришел другой сосед и для первого знакомства притащил точно такого же Будду. На этот раз О. М. взбесился: «Опять Будда! Хватит! Пусть придумают что-нибудь другое», — и выгнал неудачного заместителя. Чаю он не получил.

Третья и самая опасная разновидность называлась у нас «адъютанты». Это литературные мальчики — в академической среде аспиранты — с самым активным отношением к стихам, знавшие наизусть все на свете. Чаще всего они впервые приходили с самыми чистыми намерениями, а потом их заворбовывали. Некоторые из них открыто призывались О. М. — так бывало и с А. А., — что их «вызывают и спрашивают». После таких признаний они обычно исчезали. Другие тоже вдруг, ничего не объясняя, прекращали к нам ходить. Иногда через много лет я узнавала, что с ними произошло, то есть как их вызывали. Так было с Л., о котором я узнала от Анны Андреевны. Он не решился прийти к ней в Ленинграде и нашел ее в Москве. «Вы не представляете себе, как вы просвещены», — сказал он. Обидно, когда вдруг таинственно исчезает человек, с которым завязалась дружба, но, к несчастью, единственное, что могли сделать честные люди, — это исчезнуть, иначе говоря, отказаться от звания «адъютанта». «Адъютанты» же — это те, кто служил двум богам сразу. Любви к стихам они не теряли, но помнили, что сами они тоже литераторы или поэты и пора уже напечататься и как-то пристроиться в жизни. Именно этим их обычно соблазняли, и действительно близость, дружба, любые отношения с Мандельштамом или Ахматовой никакого пути в литературу не приоткрывали; зато чистосердечный рассказ о каком-нибудь — невиннейшем, конечно, — разговоре, который велся у нас вечером — и «адъютанты» помогут проникнуть на заветные страницы журналов.

В какой-то критический момент литературный юноша сдавался, и у него начиналась двойная жизнь.

Существовали, наконец, и настоящие любители зла, находившие вкус в своем двойственном положении. Среди них есть даже знаменитости, как, например, Эльсберг²³. Вот это, несомненно, крупная фигура в своей области. Работал он в другом кругу, и я о нем только слышала, но однажды, прочитав заголовок его статьи «Мoralный опыт советской эпохи», поняла всю изощренность этого человека. Статья эта появилась в тот момент, когда ждали публичного разоблачения автора, и своим заголовком и темой он как бы сообщал читателям, что ему ничего не грозит как настоящему знатоку моральных норм нашей эпохи. Разоблачения все-таки последовали, хотя и не скоро, но даже такой ничтожной санкции, как изгнание из ССП, к нему применить не удалось. Он не потерял ничего, даже преданности своих аспирантов. Характерная черта Эльсбера: отправив в ссылку своего друга Ш., он продолжал навещать его жену и давать ей советы... Женщина, уже знавшая о роли Эльсбера, боялась выдать свое бешенство — разоблачать стукачей у нас не полагалось, за это можно было жестоко поплатиться. Когда Ш. вернулся после Двадцатого съезда, Э. встретил его корзиной цветов, поздравлениями и рукопожатиями...

Мы жили среди людей, исчезавших на тот свет, в ссылках, в лагеря, в преисподнюю, и среди тех, кто отправлял в ссылки, в лагеря, на тот свет, в преисподнюю. Было опасно приближаться к людям, которые продолжали думать и работать, и поэтому совершило была права Алиса Гугновна Усова, которая не пускала к О. М. своего мужа. «К ним нельзя — там всякая сволочь бывает», — говорила она. Ее идея: лучше не рисковать — кто знает, на кого нарвешься в пылу литературного спора. Осторожность все-таки не помогла Дмитрию Сергеевичу: он отправился в лагерь своим путем — с языковедами по «делу о словарях». Все дороги вели туда. Старая пословица о тюрьме и суме действовала безотказно, а слово «писать» приобрело добавочный смысл. Старый учений (Жирмунский) сказал мне про группу преиспевающих кандидаток: «Все они пишут», — а Шкловский утверждал, что с собачкой Амкой надо осторожно — научилась писать у молодых, внимательных и зевливых адъютантов... Работая с Усовой в Ташкенте в университете, мы не искали стукачей, потому что «писали» все. И мы упражнялись в эзоповском языке. В присутствии аспирантов мы поднимали первый тост за тех, кто дал нам такую счастливую жизнь, и посвященные и аспиранты вкладывали в него нужный смысл...

Вполне естественно, что адъютанты и все прочие «писали», но странно, каким образом мы не разучились шутить и смеяться. В 38 году О. М. даже придумал машинку для предотвращения шуток, ибо шутки — вещь опасная... Он беззвучно шевелил губами — «как Хлебников» — и жестами показывал, что машинка уже находится в горле. Но изобретение

оказалось никуда не годным, и шутить он не прекращал.

Сборы и проводы

Как только я пришла домой, квартира заполнилась людьми. Мужья в зачумленный дом не пришли, но прислали жен — женщинам грозило все же меньше опасностей, чем мужчинам. Даже в 37 году большинство женщин пострадало за мужей, а не самостоятельно. Поэтому неудивительно, что мужчины соблюдали большую осторожность, чем женщины. Впрочем, «хранительницы очага» превосходили в своем «патриотизме» самых осторожных мужчин... Я прекрасно понимала, почему не пришли мужья, но изумилась, что набежало такое множество женщин: высыпаемых обычно избегали все... Анна Андреевна даже ахнула: «Сколько красоток!»

Я укладывала корзины, те самые, которые раздражали прислугу в Цекубу, как рассказал О. М. в «Четвертой прозе». Вернее, не укладывала, а беспорядочно кидала в них все, что попало: кастрюли, белье, книги... В тюрьму О. М. взял с собой Данте, но в камеру не затребовал — ему сказали, что побывавшая в камере книга на волю не выпускается: ее передают в библиотеку «внутри». Не зная точно, при каких обстоятельствах книга останется вечной узницей, я захватила с собой другое издание Данте. Надо было все припомнить, ничего не забыть — ведь переезд, да еще на поселение, ничуть не похож на нормальный отъезд с двумя чемоданами. Я хорошо это знала, потому что всю жизнь переехала с места на место со всем своим жалким имуществом.

Мать моя выложила все деньги, вырученные в Киеве за мебель. Но это были гроши — куча бумажек. Женщины бросились во все стороны собирать на отъезд. Эти проводы происходили на семнадцатый год существования нашего строя. Семнадцать лет щадительного воспитания не помогли. Люди, собиравшие нам деньги, и те, кто им давал, нарушили этими своими поступками весь выработавшийся у нас кодекс отношений с теми, кого карает власть. В эпохи насилия и террора люди прячутся в свою скорлупу и скрывают свои чувства, но чувства эти неискоренны, и никаким воспитанием их не уничтожить. Если даже искоренить их в одном поколении, а это у нас в значительной степени удалось, они все равно прорвутся в следующем. Мы в этом неоднократно убеждались. Понятие добра, вероятно, действительно присуще человеку, и нарушители законов человечности должны рано или поздно сами или в своих детях прозреть...

Анна Андреевна пошла к Булгаковым и вернулась, тронутая поведением Елены Сергеевны, которая заплакала, услыхав о высылке, и буквально вывернула свои карманы. Сима Нарбут²⁴ бросилась к Бабелю, но не вернулась... Зато другие все время прибегали с добычей, и в результате собралась большая сумма, на которую мы проехали в Чердынь, оттуда в Воронеж, да еще прожили больше двух месяцев. За билеты мы, правда, почти нигде не платили — только приплачивали на обратном пути — в этом удобство ссыльных путешественников... В вагоне О. М. сразу заметил, что у меня завелись деньги, и спросил, откуда. Я объяснила. Он рассмеялся — громоздкий способ добывать на путешествия. Ведь он всю жизнь рвался куда-нибудь съездить и не мог из-за отсутствия денег. Набранная сумма была по тем временам очень велика. Мы никогда не отличались богатством, но до войны в нашей среде никто не мог похвастаться даже относительным благополучием. Все перебивались со дня на день. Кое-кому из писателей-«копутчиков» привалило некоторое благополучие уже в 37 году, но оно, в сущности, было иллюзорно и ощущалось только по сравнению с прочим населением, которое всегда еле сводило концы с концами.

К концу дня пришел Длигач с Диночкой. Я попросила у него денег. Он пошел доставать, а Диночку бросил у нас. Больше я его никогда не видела — он исчез навсегда. Денег я от него не ждала, мне просто хотелось проверить, скроется ли он. Мы всегда подозревали, что он «адъютант». Узнав про мое свидание с О. М., «адъютант» должен был исчезнуть, боясь, что я догадалась об его роли. Так и случилось. Но его исчезновение еще не может служить полным доказательством его вины: ведь он мог просто испугаться... Это не исключается.

На вокзал меня провожали Анна Андреевна и братья — Александр Эмильевич²⁵ и Женя Хазин²⁶. По дороге на вокзал, как было условлено со следователем, я остановилась у подъезда дома на Лубянке, через который утром пришла на свидание. Дежурный впустил меня, и через минуту по

лестнице спустился следователь с чемоданчиком О. М. в руках. «Едете?» — «Еду... Прощаясь, я машинально протянула ему руку, попросту забыв, с кем имею дело. Ведь, повторяю, мы не народовольцы, не конспираторы, не политические люди. Совершенно неожиданно мы очутились в этой не свойственной нам роли, и я чуть не нарушила благородных традиций, пожав руку члену тайной полиции. Но следователь избавил меня от этого настоящего нарушения закона; рукопожатие не состоялось — таким людям, как я, то есть своим потенциальным подследственным, Христофорыч руки не подавал. Я получила хороший урок — первый урок политической сознательности в духе революционных традиций — жандармам руки не подают. Мне очень стыдно, что следователю пришлось мне напомнить о том, кто я и кто он. С тех пор я никогда об этом не забывала.

Мы вошли в зал ожидания. Я направилась к кассе, но меня перехватил невысокий блондин в мешковатом штатском костюме, и я узнала того, кто рылся в сундуке и разбросал по полу рукописи. Он вручил мне билет. Денег с меня не взяли. Носильщики, но не те, которых мы сначала подрядили, а какие-то новые, подхватили багаж. Мне сразу сказали, что я могу ни о чем не беспокоиться: все будет доставлено прямо в вагон. И я заметила, что первые носильщики даже не подошли ко мне поклониться на чай, а просто испарились...

Ждать нам пришлось долго, и Анна Андреевна вынуждена была уйти — уже отходил ее поезд на Ленинград. Наконец снова явился блондин, и налетка, избавленные от всех вокзальных забот, мы вышли на платформу. Подали поезд. В окне мелькнуло лицо О. М. Я предъявила билет, и проводница велела пройти в самый конец вагона. Провожающих, то есть братьев, в вагон не пустили.

О. М. уже находился в вагоне, а с ним три солдата. Мы двое вместе с конвоирами занимали ровно шесть лежачих мест, включая два боковых. Распорядитель нашего отъезда, блондин, появившийся то в форме, то в штатском, организовал все так безукоризненно, словно демонстрировал чудеса из Тысячи одной калифо-советской ночи.

О. М. прижался к стеклу. «Это чудо!» — сказал он и снова прильнул к стеклу. На платформе стояли братья — Женя и Шура. О. М. пытался открыть окно, но конвой остановил его: «Не положено». Снова появился блондин и проверил, все ли в порядке. Последняя инструкция кондукторов: держать дверь на эту площадку запертой всю дорогу, ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не отпирать, уборной с этой стороны не пользоваться. На промежуточных станциях выходить разрешается только одному конвоиру, двум другим неотлучно пребывать в вагоне. Словом: «Всем придерживаться инструкции». Пожелав счастливого пути, блондин удалился, но я видела, что он стоял на платформе до самого отхода поезда. Наверное, тоже по инструкции.

Вагон постепенно наполнялся. У входа в последнее купе стоял солдат. Он отгонял пассажиров, рвавшихся на свободные места, — беспилцартный вагон был набит до отказа. О. М. не отходил от окна. По обе стороны находились люди, которые стремились друг к другу, но стекло не пропускало звуков. Слух был бессилен, а смысл жестов неясен. Между нами и тем миром образовалась перегородка. Еще стеклянная, еще прозрачная, но уже непроницаемая. И поезд ушел на Свердловск.

По ту сторону

В тот миг, когда я вошла в вагон и сквозь стекло увидела братьев, мир раскололся для меня на две половины. Все, что было раньше, куда-то кануло, стало смутным воспоминанием, зазеркальем, и передо мной раскрылось будущее, которое не хотело склеиваться с прошлым. Это не литература, а робкая попытка описать сдвиг сознания, испытанный, вероятно, множеством людей, преступивших роковую черту. Этот сдвиг выразился прежде всего в полном безразличии ко всему, что осталось позади, так как появилась абсолютная уверенность, что все мы вступили на колею бесповоротной гибели. Одному, может быть, отпущен еще час, другому — неделю или даже год, но конец один. Конец всему — близким, друзьям. Европе, матери... Я говорю именно об Европе, потому что в «новом», куда я попала, не существовало всего этого европейского комплекса мыслей, чувств и представлений, которыми я до сих пор жила. Другие понятия, другие меры, другие счеты...

Еще недавно я была полна тревоги за близких, за родное мое дело, за все, на чем стояла. Сейчас исчезла тревога

и пропал страх. Их заменило острейшее сознание обреченностии, и оно породило безразличие, физически ощущимое, осознанное, весом почти в пуд. И тут оказалось, что времени больше нет, а есть только сроки до осуществления этого бесповоротного, которое подстерегает всех нас с нашей Европой, с нашей горсточкой последних мыслей и чувств.

Когда же придет бесповоротное? Как это случится? Не все ли равно!.. Сопротивление бесполезно. Я потеряла чувство смерти, потому что вошла в область небытия. Перед лицом обреченности даже страха не бывает. Страх — это просвет, это воля к жизни, это самоутверждение. Это глубоко европейское чувство. Оно воспитано самоуважением, сознанием собственной ценности, своих прав, нужд, потребностей и желаний. Человек держится за свое и боится его потерять. Страх и надежда взаимосвязаны. Потеряв надежду, мы теряем и страх — не за что бояться.

Бык, когда его ведут на бойню, еще надеется вырваться и растоптать грязных живодеров. Ведь другие быки не сумели ему винуть, что таких удач не бывает и скот, идущий на бойню, никогда не возвращается в стадо. А в человеческом обществе происходит непрерывный обмен опытом. Вот почему я никогда не слышала, чтобы человек, которого ведут на казнь, сопротивлялся, отбивался, защищался, ломал преграды и убегал. Люди даже выдумали особую отвагу для казненного — запретил завязать себе глаза и умер без повязки. А я за быка, за его слепую ярость. За упрямое животное, которое не рассчитывает своих шансов на успех с благородием и тупостью людей и не знает грязного чувства безнадежности.

Потом я часто задумывалась, надо ли выть, когда тебя избивают и топчут сапогами. Не лучше ли застыть в дьявольской гордыне и ответить палачам презрительным молчанием? И я решила, что выть надо. В этом жалком вое, который иногда неизвестно откуда доносился в глухие, почти звуконепроницаемые камеры, сконцентрированы последние остатки человеческого достоинства и веры в жизнь. Этим воем человек оставляет след на земле и сообщает людям, как он жил и умер. Воем он отстаивает свое право на жизнь, посыпает весточку на волю, требует помощи и сопротивления. Если ничего другого не осталось, надо выть. Молчание — настоящее преступление против рода человеческого.

Но в тот вечер, под конвоем трех солдат, в темном вагоне, куда меня так комфорtabельно доставили, я потеряла все, даже отчаяние. Есть моменты, когда люди переходят через какую-то границу и застыгают в удивлении: так вот, оказывается, где и с кем я живу! так вот на что способны те, с кем я живу! так вот куда я попала! Удивление так парализует нас, что мы теряем даже способность выть. Но это ли удивление, предшественник полного ступора и, следовательно, пропажи всех мер и норм, всех наших ценностей, охватывающего людей, когда они, попав «внутрь», вдруг узнавали, где и с кем живут, и каково подлинное лицо современности. Одними физическими мучениями и страхом не объяснишь того, что происходило там с людьми — что они подписывали, что делали, в чем признавались, кого губили вместе с собой. Все это было возможно только «за гранью», только в безумии, когда кажется, что время остановилось, мир кончился, все рухнуло и никогда не вернется. Крушение всех представлений — это тоже конец мира.

Но со мной-то, в сущности, что случилось? Ведь если подойти разумно, что ужасного в переезде в маленький городишко на Каме, где нам как будто придется прожить три года? Чем Чердынь хуже Малого Ярославца, Струнина, Калинина, Муйнака, Джамбула, Ташкента, Ульяновска, Читы, Чебоксар, Верей, Тарусы, Пскова, по которым меня, бездомную, носило после смерти О. М.? Было ли от чего сходить с ума и ждать конца мира?

Оказывается, да. Было. Сейчас, когда ко мне вернулось отчаяние и я обрела способность выть, я говорю это с полной уверенностью и твердостью. Было и есть. И мне кажется, что прекрасная организация нашего отъезда — без сучка и задоринки — с заездом на Лубянку за чемоданом, бесплатными носильщиками и вежливым блондином-проводником, который взял под козырек, желая нам счастливого пути, — так никто не уезжал в ссылку, кроме нас, — страшнее, и омерзительнее, и настойчивее твердит о конце мира, чем нары, тюрьмы, кандалы и хамская брань жандармов, палачей и убийц. Все это произошло в высшей степени красиво и гладко, без единого грубого слова, и мы вдвоем, под конвоем трех деревенских парней — конвоиров с инструкцией, — мчались, увлекаемые неведомой и непре-

одолимой силой, куда-то на восток, на поселение, в ссылку и в изоляцию, где, как мне изволили сказать, кого-то велено сохранить; а сказали мне это в чистом и большом кабинете, где, может быть, сейчас допрашивают китайца. у которого. вероятно, тоже есть жена.

Иrrациональное

Столкновение с иррациональной силой, иррациональной неизбежностью, иррациональным ужасом резко изменило нашу психику. Многие из нас поверили в неизбежность, а другие в целесообразность происходящего. Всех охватило сознание, что возврата нет. Это чувство было обусловлено опытом прошлого, предчувствием будущего и гипнозом настоящего. Я утверждаю, что все мы, город в большей степени, чем деревня, находились в состоянии, близком к гипнотическому сну. Нам действительно внушили, что мы вошли в новую эру и нам остается только подчиниться исторической необходимости, которая, кстати, совпадает с мечтами лучших людей и борцов за человеческое счастье. Проповедь исторического детерминизма лишила нас воли и свободного суждения. Тем, кто еще сомневался, мы смеялись в глаза и сами довершали дело газет, повторяя скромные формулы и слухи об очередной расправе — вот чем кончается пассивное сопротивление! — и подбирая оправдания для существующего. Главным доводом служило разоблачение всей истории во времени и пространстве: всюду одно и то же, всегда так и было, ничего другого, кроме насилия и произвола, человечество не знало и не знает. «Всюду расстреливают», — сказал мне Л., молодой физик. — У нас больше? Что ж, это прогресс...» «Поймите, Надя, — убеждала меня Люба Эренбург²⁷. — там ведь тоже плохо...» Многие и сейчас не понимают качественной разницы между «плохо» и нашим «седьмым горизонтом».

В середине двадцатых годов, когда столб воздуха на плечах стал тяжелее — в роковые периоды он бывал тяжелее свинца,— люди вдруг начали избегать общения друг с другом. Страхом стукачей и доносов это еще не объяснялось — к тому времени мы еще не успели по-настоящему испугаться. Просто наступило онемение, появились первые симптомы летаргии. О чем разговаривать, когда все уже сказано, объяснено, припечатано? Только дети продолжали нести свой вполне человеческий вздор, и взрослые — бухгалтеры и писатели — предпочитали их обществу разговором с равными. Но матери, подготовляя к жизни своих детей, сами обучали младенцев священному языку взрослых. «Мои мальчики больше всех любят Сталина, а потом уже меня», — объясняла Зинаида Николаевна, жена Пастернака. Другие так далеко не заходили, но своими сомнениями с детьми не делился никто: зачем обрекать их на гибель? А вдруг ребенок проболтается в школе и погубит всю семью? А зачем ему понимать лишнее? Пусть лучше живет, как все... И дети росли, пополняя число подвергшихся гипнозу. «Русский народ болен», — сказала мне Поля²⁸. — Его надо лечить». Болезнь стала особенно заметной сейчас, когда прошел кризис и начинают выявляться первые признаки выздоровления. Раньше больными считались мы — не утратившие сомнений.

Михаил Александрович Зенкевич рано впал в гипнотический сон или летаргию. Это не мешало ему служить, зарабатывать деньги, расти детей. Может, этот сон даже помог ему сохранить жизнь и выглядеть вполне нормальным и здоровым. Но, если копнуть, оказывалось, что он давно перешел через грань и не сумел разбить оконного стекла. Зенкевич жил сознанием, что все, что некогда составляло весь смысл его существования, необратимо, конечно, осталось по ту сторону стекла. Это чувство могло бы превратиться в стихи, но шестой акмеист пришел к твердому выводу, что стихов тоже не будет, раз нет Цеха поэтов и тех разговоров, что обольстили его в ранней юности. Он бродил по развалинам своего Рима, убеждая себя и других, что необходимо скорее сдаваться не только в физический, но и интеллектуальный плен. «Неужели ты не понимаешь, что этого уже нет, что все теперь иначе!» — говорил он О. М.... Это относилось к вопросам поэзии, чести и этики, к очередному политическому сюрпризу или насилию — к процессам, арестам и к раскулачиванию... Все оправдывалось — выпил, мол, столько брому, что совсем отшибло память... Но на самом деле он не забыл ничего и был трогательно привязан к О. М., хотя и удивлялся его упорству и безумному стоянию на своем. Единственное, что Зенкевич хотел перенести в свое новое посмертное существование.— это кучка автографов. «Вот Гумилева уже нет, а у меня не осталось ни одного

листочка», — жаловался он О. М., выпрашивая черновичок. О. М. злился и не давал: «Он уже готовится к моей смерти!»

В начале пятидесятых годов — отвратительное было время! — я встретила Мишеньку во дворе Дома Герцена, и он звал вечный разговор об автографах (мы не виделись с ним лет пятнадцать): «Где Осины бумаги? Вот не взял я у него ничего, и у меня ни одного автографа нет... Хоть бы вы мне дали...» Вспомнив, что О. М. не терпел этого каночения, я тоже ничего ему не дала, но он все же что-то раздобыл. От прошлого у него остались не книги, не звучащие стихи, а только листочки со стишками, записанные руками старых погибших товарищей, словно документальное свидетельство о былой литературной жизни. «Ведь и стихи теперь другие», — жаловался Миша.

Зенкевич одним из первых съездил на канал²⁹ и, выполняя заказ, написал похвальный стишок преобразователям природы. За это О. М. пожаловал ему право называться Зенкевичем-Канальским, как некогда к фамилии Семенова прибавили почетное — Тян-Шанский. В 37 году Лахути устроил О. М. командировку от ССР на канал. Доброжелательный перс надеялся, что О. М. что-нибудь сочинит и тем спасет себе жизнь. Вернувшись, О. М. аккуратно записал гладенький стишок и показал его мне: «Подарим Зенкевичу?» — спросил он. О. М. погиб, а стишок уцелел, не выполнив своей функции. Однажды в Ташкенте он попался мне на глаза, и я посоветовалась с Анной Андреевной, что мне с ним делать: «Можно его в печку?» Было это на балахане, где мы вместе коротали эвакуационные дни. «Наденька», — сказала Анна Андреевна, — Осип дал вам полное право распоряжаться абсолютно всеми бумагами...» Это было чистое лицемerie. Мы ведь все против фальсификаций, уничтожения рукописей и всякой подтасовки литературного наследства; Анне Андреевне нелегко было санкционировать замышленный мной поступок — вот она и подарила мне именем О. М. неожиданное право, которого О. М. мне никогда не давал: уничтожать и хранить, что мне вздумается. Сделала она это, чтобы избавиться от канальских стишков, и от них тут же осталась горсточка пепла.

Если у кого-нибудь случайно сохранился бродячий список этого стишка, я прошу — даже заклинаю тем правом, которое мы с Анной Андреевной присвоили себе на балахане,— преодолеть страсть к автографам и курьезам и бросить его в печку. Такой стишок мог бы пригодиться только иностранной комиссии ССР, чтобы показывать любопытствующим иностранцам: какое там литературное наследство у Мандельштама — посмотрите, стоит ли это печатать! Мы ведь не стесняемся искажать биографии, даты смерти — кто пустил слух, что О. М. был убит немцами в Воронеже? кто датировал все лагерные смерти началом сороковых годов? кто издает книги живых и мертвых поэтов, пристрастно пряча все лучшее? кто держит годами в редакционных портфелях уже подготовленные к печати рукописи погибших и живых писателей и поэтов? Всего не перечислишь, ведь слишком много спрятано и закопано в разного вида запасниках, а еще больше уничтожено.

Стишок с описанием красот канала вызывал у меня бешенство еще и потому, что сам О. М. должен был отправиться строить его, и этого не случилось только из-за инструкции «изолировать, но сохранить». Тогда канал заменили высылкой в Чердынь — ведь на стройках этих каналов никого сохранить нельзя. Молодые и здоровые языковеды Дмитрий Сергеевич Усов и Ярхо, выйдя на волю, умерли почти сразу, так их разрушили несколько лет, проведенных на канале, а ведь они на физической работе почти не были. Попади О. М. на канал, он умер бы в 34, а не в 38 году — «чудо» принесло ему несколько лет жизни. Но я все же содрогаюсь от чудес и при этом не считаю себя неблагодарной: чудеса — вещь восточная, западному сознанию они противопоказаны.

А вот к Мише Зенкевичу, добровольному римлянину, который на развалинах своего Колизея бережет несколько автографов убитых поэтов, я переменила свое отношение. Сейчас эта жизнь кажется мне трогательной и, несмотря на отсутствие катастроф — в тюрьме он не сидел и голодом его не морили,— почти трагической. Хрупкий от природы, Зенкевич раньше других подвергся психологической чуме, но она приняла у него не острую, как у меня в вагоне, а затяжную хроническую форму, от которой никто не выздоравливает. Легкость, с которой интеллигенты поддавались этой болезни, объясняется ли она только послереволюционными условиями? Не таятся ли первые микробы в дореволюционном смятении, метаниях и лжепророчествах?

Особый вид эта болезнь — летаргия, чума, гипнотический сон — принимала у тех, кто совершал страшные деяния во имя «новой эры». Все виды убийц, провокаторов, стукачей имели одну общую черту — они не представляли себе, что их жертвы когда-нибудь воскреснут и обретут язык. Им тоже казалось, что время застыло и остановилось, а это главный симптом описываемой болезни. Ведь нас убедили, что в нашей стране больше ничего никогда меняться не будет, а остальному миру надо только дойти до нашего состояния, то есть тоже вступить в новую эру, и тогда всякие перемены прекратятся навсегда. И люди, принявшие эту доктрину, честно поработали во славу новой морали, пристекавшей в конце концов из исторического детерминизма, доведенного до последней крайности. Всякого, кого они отправляли на тот свет или в лагерь, они считали навеки изъятым из жизни. Им не приходило в голову, что эти тени могут восстать и потребовать своих могильщиков к ответу. И поэтому в период реабилитации они впали в настоящую панику: им показалось, будто время обратилось вспять и те, кого они окрестили «лагерной пылью», вдруг опять обрели имя и тело. Среди них воцарился страх. Мне пришлось в те дни наблюдать скромную стукачку, соседку по квартире Василису Шкловской. Ее времена вызывали в прокуратуру, где она брала обратно свои стародавние показания и тем самым обеляла живых и мертвых. Возвращаясь домой, она прибегала к Василисе, за домом которой ей некогда приходилось наблюдать, и заплетающимся языком рассказывала, что она, видит Бог, никогда ни о ком, ни о Малкине, ни о других ничего дурного не говорила, и сейчас в прокуратуре она только и делает, что дает обо всех самые лучшие показания, чтобы покойников скорее реабилитировали... У этой женщины никогда ничего похожего на совесть не было, но тут она почему-то не выдержала, и ее разбил паралич. Возможно, что в какой-то момент она испугалась и поверила в серьезность пересмотров и в возможность привлечения клеветников и клевретов к уголовной ответственности. Этого, конечно, не случилось, но все же ей, лучше, парализованной и впавшей в детство, — время для нее опять остановилось.

А в Ташкенте один из крупнейших работников, которого после перемен отправили на пенсию, а потом изредка вызывали для очных ставок с бывшими подследственными, каким-то чудом выжившими и вернувшимися из лагерей, не выдержал испытания и повесился. Мне удалось прочесть черновик его посмертного письма, адресованного в ЦК. Аргументация у него несложная: беззатратно преданный, он комсомольцем был направлен в органы и все время получал повышения и награды. За все годы никого, кроме своих сотрудников и подследственных, не видел, работал днем и ночью без передышки и только после отставки имел досуг, чтобы подумать и осмыслить происшедшее, и тут-то ему пришло в голову, что он, может, служил не народу, а «какому-то бонапартизму»... Вину с себя самоубийца старается переложить: во-первых, на тех, кто, будучи под следствием, подсыпал на себя всякие небылицы и тем самым подводил следователей и прокуроров, а затем на инструкторов из центра, объяснявших приказ об «упрошеннем допросе» и требовавших выполнения плана, и, наконец, на осведомителей с воли, которые добровольно несли в органы информацию и вынуждали их открывать следствия против множества людей... Классовое сознание не позволяло работникам органов проходить мимо этой информации... Последним толчком к самоубийству послужила только что прочитанная им книга «Последний день осужденного»...

Самоубийцу похоронили, и дело замяли, что было необходимо, потому что он называл по именам инструкторов из центра и информаторов. Дочь самоубийцы долго рвала и метала, мечтая разделаться с теми, кто погубил ее отца. Гнев ее был обращен на тех, кто разворшил весь этот ад. «Надо же было подумать о людях, которые тогда работали! Они ведь это не сами выдумали, а только исполняли приказания», — говорила Лариса, — ей дали имя в честь Ларисы Рейнер. Лариса твердила, что она «этого так не оставит», и даже собиралась обо всем сообщить за границу, чтобы там узнали, как здесь поступали с ее отцом. Я спрашивала, на что же она собирается жаловаться. Для Ларисы это было совершенно ясно — нельзя так внезапно все изменять, потому что это травмирует людей. Нельзя травмировать людей — папу и всех его товарищей... «Кто вам посочувствует?» — спрашивала я, но она меня не понимала. Раз людям обещали, что больше ничего меняться не будет, нельзя допускать никаких перемен. «Пусть бы никого не арестовы-

вали, но все должно было оставаться, как было». Пусть остановленное время продолжает стоять. В остановке времени есть устойчивость и покой. Он необходим деятелям нашей эпохи...

Лариса требовала, чтобы время опять остановилось, и ее просьбу в значительной мере уважили. Сыновья снятых сотрудников ее отца поехали в Москву учиться новым методам и до отъезда возложили цветы на гроб ее отца. Они зайдут старые места и кабинеты и будут всегда готовы к действию по инструкциям сверху. Сейчас весь вопрос в том, чем будут эти инструкции...

Нам с Ларисой друг друга не понять, но, глядя на нее, я всегда думала, почему все путы приводили у нас к гибели. Кем нужно быть, чтобы спастись? Где та нора, в которую можно залезть, чтобы спастись? Лариса и ее друзья тоже рыли себе нору и тащили в нее все, что символизировало для них благополучие: серванты, фужеры, торшеры, чешский хрусталь и кузнецкий фарфор, вышитые халаты и японские ярмарочные веера. Они ездили в Москву покупать не только мебель, но и надгробные камни, потому что их нора тоже была недостаточно глубокой. Одни исчезали по сталинскому велению, другие кончали с собой...

Тезка

В вагоне я не сразу поняла, что с О. М. Он встретил меня с восторгом, и мое появление воспринял, как чудо. Да оно и было чудом. О. М. сказал, что все время готовился к расстрелу: «Ведь у нас это случается и по меньшим поводам...» Речи как будто вполне разумные. Мы никогда не сомневались, что его убьют, если узнают про стихи. Винавер, человек очень осведомленный, с громадным опытом, хранитель бесконечного числа фактов и тайн, сказал мне через несколько месяцев, когда я, приехав из Воронежа, зашла к нему и по его просьбе прочла ему стихи про Сталина: «Чего вы хотите? С ним поступили очень милостиво: у нас и не за такое расстреливают...» Он тогда же предупредил меня, чтобы мы не возлагали лишних надежд на высочайшую милость: «Ее могут отобрать, как только уляжется шум...» «А так бывает?» — спросила я. Моя наивность поразила его: «Еще бы!..» И сице: «Только не напоминайте о себе — может, забудут...» Вот этот совет — тише воды, ниже травы — мы не выполнили. О. М., шумный человек, продолжал шуметь до самой гибели.

В вагоне О. М. сказал мне: милостивая высылка на три года только показывает, что расправа отложена до более удобного момента, то есть буквально то, что я услышала потом от Винавера. И я этой концепции несколько не удивилась: все мы к 34 году уже кое-что знали. О. М. уверял, что от гибели все равно не уйти, и был абсолютно прав — трезвая оценка положения приводила именно к такому выводу. И я только кивала головой, когда он шептал мне: «Не верь им! Еще бы! Кто им поверит!

А ведь именно это было содержанием травматического психоза, которым О. М. заболел во внутренней тюрьме. Но на первых порах сумасшедшем показался мне не О. М., а старший конвойный Оська, тезка О. М. и адресата стихов, когда, отзовав меня в сторону и выпучив добрые бараньи глаза, он сказал: «Успокой его! Скажи, что у нас за песни не расстреливают...»

О том, что речь идет о стихах — по-народному они называются песнями, — Оська догадался из наших разговоров. По его мнению, у нас расстреливали шпионов, диверсантов и вредителей. Вот в буржуазных странах, говорил Оська, уцелеть невозможно: там за милую душу могут отправить на тот свет, если сочинишь какой неподходящий стишок...

Все мы, в разной степени, конечно, верили тому, чем нас пичкали; особенно доверчива молодежь — студенты, конвойные, писатели, солдаты... «Самые справедливые выборы», — сказал мне в 37 году демобилизованный солдат, — нам предлагают, а мы выбираем...» О. М. как писатель тоже попался на удачу и оказался черезсчур доверчивым. «Сначала так выбирают, потом постепенно приучатся и будут обычные выборы», — сказал он, покидая избирательный участок и покидая нововведение — первым и последним выборам, в которых участвовал. Даже мы, а опыта у нас было уже достаточно, не могли до конца оценить всех преобразований. Чего же требовать от молодежи — солдат и студентов?.. А соседка, носившая мне молоко перед войной в Калинине, раз вздохнула: «Нам хоть когда подкинут селедки там или сахару, или керосинчику... А как в капиталистических странах? Там верно, хоть пропадай!» Студенты до сих пор верят, что

всесобщее обучение возможно только при социализме, а «там» народ погряз в неграмотности и темноте... За столом у той же Ларисы, дочери ташкентского самоубийцы, возник горячий спор: отказывают ли в больших городах, вроде Лондона или Парижа, прописывать демобилизованных летчиков-инвалидов. Такой случай только что произошел в Ташкенте (1959), и Лариса утверждала, что летчика, особенно испытателя, прописать необходимо. Я попробовала объяснить, что «там» вообще никакой прописки нет, но мне никто не поверил: «там» ведь куда хуже, чем у нас, значит, с пропиской строгости совсем неизмеримые... Да и кто станет жить без прописки? Враз попадешься!.. Если все мы верили своим воспитателям и даже воспитатели, запутавшись, начали верить сами себе, что же удивительного, что им поверил старший конвой Оська?

В дорогу я захватила томик Пушкина. Оська так прельстился рассказом старого цыгана, что всю дорогу читал его вслух своим равнодушным товарищам. Это их О. М. называл³⁰ «племенем пушкиноведов», «молодыми любителями белозубых стихков», которые «грамотеют» в шинелях и с наганами... «Вот как римские цари обижают стариков,— говорил товарищем Оська.— Это ж за песни его так сослали...» Описание севера подействовало неотразимо: северная ссылка, конечно, вещь жестокая, и Оська решила меня успокоить: нам не грозит такая жестокая ссылка, как римскому изгнанинику. Провожая меня в уборную — по инструкции! — Оська умудрился мне шепнуть, что наша цель Чердынь — там климат хороший — и первая пересадка в Свердловске. Когда выяснилось, что следователь уже назвал нам место ссылки, Оська был потрясен: ему запретили говорить, куда мы едем, и велели хранить маршрут втайне. И вообще такие вещи полагается знать только конвою... Полюбив нас, Оська нарушил инструкцию и назвал место назначения... Но, оказывается, напрасно — я уже это знала. Но я утешила старшего — если бы не его бесхитростные слова, подтвердившие сообщение следователя, я могла бы вообразить Бог знает что — такую из всего делали тайну.

Это была не единственная поблажка, на которую решилась Оська. На многочисленных пересадках он заставлял конвоиров таскать наши вещи, а когда мы пересели в Соликамске на пароход, он шепнул, чтобы я взяла за свой счет каноту: «Пусть твой отдохнет...» Конвоиров он к нам не пускал, и они болтались на палубе. Я спросила, зачем он нарушает инструкцию, но Оська только махнул рукой. До сих пор он провожал уголовников и «вредителей» — с ними надо держать ухо востро. «А твой что? Его и стеречь не стоит!» Но до еды, как я ни пробовала угощать конвоиров, никто не дотронулся — запрещено. Лишь сдав О. М. в Чердыни коменданту, конвоиры сказали: «Теперь мы свободные — угощай...»

В своей жизни я соприкоснулась еще с двумя людьми Оськиной профессии. Один только скрежетал зубами и твердил, что мы ничего не знаем, не понимаем, не подозреваем... Он мечтал о демобилизации, просто бредил ею, и я рада была узнать, что он вырвался на волю. «Даже и совхоз вроде рая! — сказал он при встрече... Другой — низколобое, звероподобное существо — упустил однажды преступника и потерял работу, которая сулила столько возможностей и явно пришла ему по вкусу. Годами, в трезвом и пьяном виде, он проклинал «контру», «немца», «вредителя», «фашиста», «врага», стубившего его карьеру. Жил он мечтой — встретить и казнить злодея. Он затаил обиду и против Советской власти: зачем цацкаются с такими преступниками? Не в лагерь их посыпал, а в расход — и он выразитель но прищелкивал пальцами...

...Плохо бы нам пришлось, если б инструкцию о перевозке заключенного Мандельштама вручили не Оське, а этому человеку.

Шоколадка

Первая пересадка была в Свердловске. Там многочасовое ожидание на вокзале, причем конвойные не отходили не только от О. М., но и от меня. Я хотела дать телеграмму — нельзя!.. Купить хлеба — нельзя!.. Подойти к газетному ларьку — нельзя!.. На промежуточных станциях тоже не давали выйти — не положено! О. М. сразу заметил это: «Значит, и ты попалась...» Я пробовала объяснить конвойным, что я не выслана, а еду добровольно, провожаю... «Нельзя. Инструкция»...

Свердловск — это многочасовое — с утра до позднего вечера — сидение на деревянной вокзальной скамейке с дву-

мя часовыми при оружии. При малейшем нашем движении — нельзя было даже приподняться, чтобы размять ноги, не разрешалось шевельнуться или переменить положение — часовые тотчас настораживались и хватались за пистолеты... Нас посадили почему-то прямо против входа, лицом к нему, и мы невольно смотрели на непрерывный поток входящих и выходящих людей. Первый их взгляд был обращен на нас, но каждый из них тотчас отворачивался. Даже мальчишки, и те не удостаивали нас внимания... Есть тоже не полагалось, потому что еда находилась в чемодане, а до вещей дотрагиваться — не положено. До воды не дотянутся... Здесь Оська не смел нарушать инструкцию: Свердловск — станция серебряная...

Вечером мы пересели на узкоколейку Свердловск — Соликамск. Погрузились мы на запасных путях в сидячий вагон, и нас отделяло от прочих пассажиров несколько оставленных пустыми скамеек. Два солдата всю ночь простояли около нас, третий — у последней пустой скамейки, откуда он отгонял упрямых пассажиров. В Свердловске мы сидели рядом, а в вагоне друг против друга у окна неосвещенного вагона. Ночи уже были белые, и перед нами мелькали уральские леса, станции и холмы. Дорога была проложена в густом лесу, и О. М. не отрываясь смотрел в окно всю ночь напролет. Это была третья или четвертая бессонная ночь.

Мы ехали в переполненных вагонах и на пароходах, сидели на шумных, кишащих народом вокзалах, но нигде никто не обратил внимания на такое экзотическое зрелище, как двое разнополых людей под охраной трех вооруженных солдат. Никто даже не обернулся, чтобы посмотреть на нас. Привыкли они, что ли, на Урале к таким зрелищам или просто боялись заразы? Кто их знает... Но, скорее всего, это было проявлением особого советского этикета, который твердо соблюдался нашим народом в течение многих десятилетий: раз начальство ссылает, значит — так и надо, а моя хата с краю... Равнодушие толпы ранило и мучило О. М.: «Раньше они милостыню арестантам давали, а теперь даже не поглядят...» Он с ужасом шептал мне на ухо, что можно на глазах такой толпы сделать с арестантом что угодно — пристрелить, убить, растерзать — и никто не вмешается... Зрители только повернулись спиной, чтобы избавиться от неприятного зрелища... Всю дорогу я пытаясь перехватить хотя бы чей-нибудь взгляд, но мне это не удалось...

Может, только Урал был таким твердокаменным? В 38 году я жила в Струнино, в створенной зоне под Москвой; это небольшой текстильный поселок по Ярославской дороге, где в те годы еженощно проходили эшелоны с арестантами. Соседи, забегая к моей хозяйке, только об этих эшелонах и говорили. Их оскорбляло, что им запрещалось жалеть арестантов и они не могут подать им хлеба. Однажды моя хозяйка умудрилась бросить в разбитое зарешеченное окно теплушку шоколадку — она несла ее дочке!.. Редкое угощение в нищенской рабочей семье. Солдат с руганью отогнал ее прикладом, но она весь день была счастлива — все же удалось хоть что-то сделать! Кос-кто из соседок, правда, вздохнул: «Лучше с ними не связывайся... Со свету сживут... по завкомам затаскают...» Но моя хозяйка «сидела дома», то есть нигде не служила, и поэтому завкома не боялась.

Поймет ли кто-нибудь из будущих поколений, чем была эта шоколадка с детской картинкой в душном каторжном вагонетальнике 38 года? Люди, для которых остановилось время, а пространство стало камерой, каршером, будкой, где можно было только стоять, вагоном, набитым до отказа человеческим полумертвым грузом, отвергнутым, забытым, вычеркнутым из списка живых, потерявшим имена и прозвища, занумерованным и заштемпелеванным, переправлявшимся по накладным в черное небытие лагерей, — вот эти-то люди вдруг получили первую за многие месяцы весточку из другого, для них запретного мира: дешевую детскую шоколадку, говорящую о том, что их еще не забыли и еще живы люди по ту сторону тюремы...

По дороге в Чердынь я утешала себя мыслью, что суроые уральцы просто боятся глядеть на нас и что каждый встретившийся нам человек, вернувшись домой, расскажет шепотом отцу, жене или матери о двух людях — мужчине и женщине, — которых трое солдат из внешней охраны перегоняют куда-то на север.

Прыжок

Я поняла, что О. М. болен, в первую же ночь, когда заметила, что он не спит, а сидит, скрестив ноги, на скамейке

и напряженно во что-то вслушивается. «Ты слышишь?» — спрашивал он меня, когда наши взгляды встречались. Я прислушивалась — стук колес и храп пассажиров. «Слух то у тебя негодный... Ты никогда ничего не слышишь...» У него действительно был чрезвычайно изощренный слух, и он улавливал малейшие шорохи, которые до меня не доходили, но на этот раз дело было не в слухе.

Всю дорогу О. М. напряженно вслушивалась и по временам, вздрогнув, сообщал мне, что катастрофа приближается, что надо быть начеку, чтобы не попасться врасплох и успеть... Я поняла, что он не только ждет конечной расправы — в ней и я не сомневалась, — но думает, что она произойдет с минуты на минуту, сейчас, здесь, в пути... «В дороге? — спрашивала я. — Ты, верно, про двадцать шесть комиссаров вспомнил...» «Отчего же нет? — отвечал О. М. — Ты думаешь, что наши на это неспособны?» Мы оба прекрасно знали, что наши способны на что угодно... Но в своем безумии О. М. надеялся «предупредить смерть», бежать, ускользнуть и погибнуть, но не от рук тех, кто расстреливал. Странно, что все мы, безумные и нормальные, никогда не расстаемся с надеждой: самоубийство — это тот ресурс, который мы держим про запас и почему-то верим, что никогда не поздно к нему прибегнуть. А между тем столько людей собирались не даваться живыми в руки тайной полиции, но в последнюю минуту попались врасплох...

Мысль об этом последнем исходе всю жизнь утешала и успокаивала меня, и я нередко — в разные невыносимые периоды нашей жизни — предлагала О. М. вместе покончить с собой. У О. М. мои слова всегда вызывали резкий отпор*. Основной его довод: «Откуда ты знаешь, что будет потом... Жизнь — это дар, от которого никто не смеет отказываться... И, наконец, последний и наиболее убедительный для меня довод: «Почему ты вбила себе в голову, что должна быть счастливой?» О. М., человек абсолютно жизнерадостный, никогда не искал несчастья, но и не делал никакой ставки на так называемое счастье. Для него таких категорий не существовало.

Впрочем, чаще всего он отшучивался: «Покончить с собой? Невозможно! Что скажет Авербах³¹? Ведь это был бы положительный литературный факт!» И еще: «Не могу жить с профессиональной самоубийцей...» Впервые мысль о самоубийстве пришла к нему во время болезни по дороге в Чердынь, как способ улизнуть от расстрела, который казался ему неизбежным. И тут я ему сказала: «Ну и хорошо, что расстреляют — избавят от самоубийства...» А он, уже больной, в бреду, одержимый одной властной идеей, вдруг рассмеялся: «А ты опять за свое...» С тех пор жизнь складывалась так, что эта тема возвращалась неоднократно, но О. М. говорил: «Погоди... Еще не сейчас... Посмотрим...»

А в 37 году он даже советовался с Анной Андреевной, но она подвела: «Знаете, что они сделают? Начнут еще больше беречь писателей и даже дадут дачу какому-нибудь Леонову. Зачем это вам нужно?..» Если бы он тогда решился на этот шаг, это избавило бы его от второго ареста и бесконечного пути в телячьем вагоне во Владивосток — в лагерь, к ужасу и смерти, а меня — от посмертного существования. Меня всегда поражает, как трудно людям переступить этот роковой порог. В христианском запрете самоубийства есть нечто глубоко соответствующее природе человека — ведь он не идет на этот шаг, хотя жизнь бывает гораздо страшнее смерти, как нам показала наша эпоха. А меня, когда я осталась одна, все поддерживала фраза О. М.: «Почему ты думаешь, что должна быть счастливой?», да еще слова протопопа Аввакума: «Сколько нам еще так идти, протопоп?» — спросила изнемогающая жена. «До самой могилы, попадья», — ответил муж, и она встала и пошла дальше.

Если мои записки сохранятся, люди, читая их, могут подумать, что их писал больной человек, ипохондрик... Они ведь забудут все и не будут верить ни одному свидетельскому показанию. Сколько людей за рубежом до сих пор не верит нам. А ведь они — современники: нас разделяет только пространство, но не время. Еще недавно я прочла чье-то разумное рассуждение: «Говорят, что там боялись все. Не может быть, чтобы все боялись: одни боялись, другие нет...» Разумно и логично, но наша жизнь была далеко не так логична. И я вовсе не была «профессиональной самоубийцей», как меня дразнил О. М. Об этом думали многие.

* Рассказ Георгия Иванова о том, что О. М. в ранней юности пытался в Варшаве покончить с собой, по-моему, не имеет ни малейшего основания, как и многие другие новеллы этого мемуариста. (Примечание автора.)

Недаром вершиной советской драматургии была пьеса, называвшаяся «Самоубийца»...³²

Итак, в вагоне, под охраной трех солдат, О. М. впервые подумал о самоубийстве, и это было для него болезнью: этот человек всегда замечал тончайшие детали происходящего и обладал острией наблюдательностью. «Внимание, — записал он где-то в черновиках, — доблесть лирического поэта. Рассеянность и растрепанность — увертки лирической лягушки». И вот по дороге в Чердынь эта хищная наблюдательность и изощренный слух обратились против него, подбрасывая горючес его болезни. В дикой вокзальной суете и в вагонах он непрерывно регистрировал всякие мелочи и, относя все к себе — не эгоцентризм ли является первымзнаком душевных заболеваний? — делал из всего один вывод: роковой момент приближается.

В Соликамске нас посадили на грузовик, чтобы с вокзала отвезти на пристань. Ехали мы лесной просекой. Грузовик был переполнен рабочими. Один из них — бородатый, в буро-красной рубахе, с топором в руке — своим видом напугал О. М.. «Казнь-то будет какая-то петровская», — шепнул он мне. А на пароходе, в отдельной каноте, полученной благодаря Оське, О. М. уже смеялся над своими страхами и ясно сознавал, что пугается тех, кто совсем не страшен — вроде соликамских мужиков. И сетовал, что ему дадут успокоиться, забыться и «зацепают», когда он этого не будет ждать. Так и случилось, только через четыре года.

В безумии О. М. понимал, что его ждет, но, выездовев, потерял чувство реальности и поверил в собственную безопасность. В той жизни, которую мы прожили, люди со здоровой психикой невольно закрывали глаза на действительность, чтобы не принять ее за бред. Закрывать глаза трудно, это требует больших усилий. Не видеть, что происходит вокруг тебя, отнюдь не простой пассивный акт. Советские люди достигли высокой степени психической слепоты, и это разлагавшее действовало на всю их душевную структуру. Сейчас поколение добровольных слепцов сходит на нет, и причина этого самая примитивная — возраст. Но что передали они по наследству своим потомкам?

Чердынь обрадовала нас пейзажем и общим допетровским обликом. Нас привезли в Чеки и сдали вместе с документами коменданту. Оська объяснил, что он привез особую птицу, которую велено обязательно сохранить. Вероятно, он очень старался внушить это коменданту, человеку с типажом не внешней, а внутренней охраны, из тех, кто расстреливал и пытали, и за жестокость, то есть как свидетель неупоминаемых вещей, был отправлен подальше. Я почувствовала, что Оська приложил кое-какие старания, по любопытно-злобным взглядам коменданта и по тому, как легко я заставила его помочь мне внедриться в больницу. Обычно, как мне потом сказали чердынские ссыльные, он никогда не «потворствовал» приезжющим под конвоем... В больнице нам отвели огромную пустую палату, где поставили перпендикулярно к стене две скрипучие койки.

Я действительно не спала пять ночей и сторожила безумного изгоя. А в больнице, истомившись бесконечной белой ночью, я под утро забылась каким-то тревожным, как бы прозрачным сном, сквозь который видела, как О. М., скрестив ноги и расстегнув пиджак, сидит, прислушиваясь к тишине, на шаткой койке.

Вдруг — я почувствовала это сквозь сон — все сместились: он вдруг очутился у окна, а я рядом с ним. Он спустил ноги наружу, и я успела заметить, что весь он спускается вниз. Подоконник был высокий. Отчаянно вытянув руки, я уцепилась за плечи пиджака. Он вывернулся из рукавов и рухнул вниз, и я услышала шум падения — что-то шлепнулось — и крик... Пиджак остался у меня в руках. С воплем побежала я по больничному коридору, вниз по лестнице и на улицу... За мной бросились санитарки. Мы нашли О. М. на куче земли, распаханной под клумбу. Он лежал, сжавшись в комочек. Его с руганью потащили наверх. Ругали главным образом меня за то, что я недоглядела.

Прибежала встревоженная и очень злая врача и быстро его осмотрела. Сказала, что он вывихнул правое плечо. Остальное все цело. Это был благополучный исход — он выбросился из окна второго этажа старой земской больницы, который по высоте равен по крайней мере трем современным.

Откуда-то взялось множество санитаров и костоправов — Бог их знает, кто они были. О. М. лежал на полу совершенной пустой комнаты, называвшейся операционной, отбиваясь от державших его мужчин, а врача вправляла ему плечо под громкую ругань, заменившую отсутствовавший в боль-

нице наркоз. Рентгеновский аппарат не работал, так как в период белых ночей движок экономии ради останавливали, а монтер уходил в очередной отпуск. Вот почему врачи не заметили перелома плечевой кости (без смещения). Перелом обнаружился гораздо позже — в Воронеже, где пришлось обратиться к хирургу, потому что рука не работала. О. М. долго лечился и стал частично владеть рукой, но поднять ее, чтобы повесить, например, пальто, не мог. Это он делал левой рукой.

После ночных прыжка наступило успокоение. Так и сказали в стихах: «Прыжок — и я в уме»³³.

Чердынь

Небритый, заросший библейской бородой, две недели прожил О. М. в Чердыни, внимательно приглядываясь ко всему сосредоточенным и почему-то очень спокойным взглядом. Мне кажется, что у него никогда не было такого внимательного и спокойного взгляда, как в этот период болезни. Он не испугался таких же бородатых, как он, мужиков, которые бродили по коридорам больницы: помог, как он мне тогда объяснил, соликамский опыт — мужики это мужики и от них ничего худого ждать не надо... «Тем выглядят совершенно иначе... У мужиков гноились запущенные язвы, и их лечили такими же цирюльническими методами, как О. М. Они вели между собой неторопливые разговоры и почему-то всегда усмехались. Много есть непонятного в человеческом поведении — вот и эту усмешку не понять никогда. Проще объяснить язвы — переселение в чудовищных условиях, непосильные тяжести, ушибы... Худенькая женщина с лицом шестидесятницы, ссылочная, работавшая в больнице кастелянщей — она считала, что ей удивительно повезло с работой — говорила, что готова пожертвовать жизнью ради этих мужиков, и по этой реплике О. М. определил, кто она».

Как называли там этих бородатых мужиков? Переселенными? Перемещенными? Не помню, но раскулаченными их называть запрещалось. Мы не любили называть вещи собственными именами. Бородатые люди с гноящимися язвами — они давно лежат в могилах. Мы никогда и нигде о них не упоминаем. Боимся ли мы коснуться этих язв?

В тот период не только на каторге, но и в дальних ссылках сохранились товарищество и взаимопомощь. На воле с этим давно покончили, но Чердынь жила традициями, и кастелянша приняла в нас горячее участие. Она настаивала, чтобы я купила на зиму пимы — их потом не достанешь — и занялась огородом: иначе не прокормиться. Участок для огорода ссылочным отводили, но комнату приходилось нанимать. Как и всходу, в Чердыни был жилищный кризис, и ссылочные ютились по углам. Мы заходили с кастеляншей к коротконогому человечку, который сумел недурно устроиться — отгородил плюшевыми занавесками угол в чьем-то доме, сам сделал полки и сверху донизу уставил их сочинениями Маркса и Энгельса. За этими занавесками он жил вместе с женой, и оба ходили каждые три дня отмечаться к коменданту. Это приходилось делать и О. М., хотя он и попал в больницу. Ему выдали бумажку, которая «видом на жительство» служить не могла, и на ней комендант каждые три дня ставил свою печать. Чердынских ссылочных беспокоило, как бы комендант не вздумал загнать О. М. в район. В Чердыни, уездном центре, старались никого не оставлять: «Они считают, что нас здесь и так слишком много...» «А он имеет право?» — спросила я, объяснив, что назначение О. М. просто «Чердынь», а не район... «Вы у него в руках. Куда захочет, туда пошлет. Только и делает, что гонит из города...» В начале весны здесь было значительно больше политических, но их всех выселили в район, где никакой работы, кроме физической, получить нельзя. «А там были совсем больные товарищи», — сказала кастелянша. В обстановке каторги и ссылки слово «товарищ» имело особое значение, о котором на воле уже давно успели позабыть.

Муж кастелянши постоянно спорил с коротконогим марксистом, жившим за плюшевой занавеской. Это были остатки разбитых партий, их периферия, а споры начались еще в царском подполье. Жены занимались больше хозяйством и работой, чем спорами, и явно скучали по детям. Обе пары оставили детей у родственников. «Как-то им там живется!» — вздыхали матери, но к себе братья детей не решались: «Мы ведь обреченные, пусть хоть они живут...» Собственное

будущее представлялось им совершенно ясно: при случае их тут же прикончат или сгноят в лагерях. «Может, смягчится», — сказали мы как-то марксисту. «Что вы! — ответил он. — Только сейчас начинает разгораться». И я не поверила. Совершенно естественно, думала я, что они так мрачно смотрят на будущее; в их положении оптимизма не наберешься... Но ведь не может же вечно так продолжаться, как сейчас... За мою долгую жизнь мне много раз казалось, что мы дошли до предела и скоро наступит то, что я называла смягчением... Расставаться с иллюзиями никому не хочется.

Чердынские ссылочные успокаивали меня насчет здоровья О. М.: «Оттуда все выходят в таком виде, а потом ничего, поправляются...» «Почему в таком виде?» — спрашивала я. Они не знали, как объяснить. «А раньше тоже было так?» Они ведь прошли царские тюрьмы и могли мне раскрыть, в чем дело... Но они только говорили, что раньше аресты не так действовали на психику. Бесспокойства, однако, не надо: «это» проходит бесследно... Длится болезнь от двух до трех месяцев. Главное — внутренняя дисциплина: нельзя заглядывать в будущее — оно ничего хорошего не сулит. Надо пользоваться Чердынью как последней передышкой. Ничего не ждать и быть ко всему готовым. В этом секрет равновесия.

Они умоляли меня примириться с судьбой и не тратить последних денег на телеграммы. Все ссылочные, пораженные той фантастикой, которая с ними случилась «внутри», начинают с того, что забрасывают правительство телеграммами с протестами. Ответа не получал еще никто. Опыт у моих новых знакомых был огромный — их таскали по ссылкам и лагерям уже больше десяти лет, сначала врозь, а потом мужьям и женам удалось соединиться. Я вспомнила старика Гендельмана, провинциального врача. Я встретила его в самом начале двадцатых годов в Москве. Он приехал «хлопотать» и ничего не добился. «Никого не осталось», — сказал он мне. — Они сослали всех, даже Мило, даже Нолю...» Он перечислял мне сыновей и подростков-внуков: «Так никогда не бывало...» Старик знал, что в старое время, когда старшего сына отправляли в ссылку, а это случалось весьма часто, к нему тут же привозили внуков. Арест сына не затрагивал никого из членов семьи — все оставались на воле и жили, где кому вздумается. Теперь старик пытался отхлопотать хоть кого-нибудь из несовершеннолетних, но у него ничего не вышло.

Я рассказала чердынским ссылочным про формулу «изолировать, но сохранить». Что она сулит, эта формула? Может, комендант не посмеет выбросить О. М. в район — в еще более тяжелые условия? Они сомневались... В их среде многие были лично знакомы с теми, кто оказался облеченым властью, включая Сталина. Им приходилось сталкиваться с ними и в царском подполье, и в ссылках. Теперь же, когда их ссылали, они часто слышали заверения, что их только «изолируют», но постараются «создать им условия», чтобы они могли жить и работать... Обещания, однако, никогда не выполнялись, а все заявления и письма, которыми они забрасывали правительство, канули в бездну. Изоляция сулила не «сохранение», а самое обыкновенное уничтожение втихаря, без свидетелей, в «удобную минуту»... Единственное, на что можно надеяться, это на собственную выдержку и дисциплину. Отбрось надежды, жди гибели и не теряй человеческого достоинства. Сохранить его трудно, для этого надо собрать все силы. Этому учит опыт и трезвый анализ положения... Так нас научили люди, которые приобрели опыт раньше нас. А нам казалось, что они не совсем объективны в своем пессимизме: такая уж у них судьба, что они невольно видят все в чересчур темном свете. Три года ссылки в Чердынь — неужели это конец? Все наладится, все смягчится, жизнь возьмет свое...

Человек всегда цепляется за малейший проблеск надежды, рассстаться с иллюзиями не хочет никто, посмотреть прямо в лицо жизни очень трудно. Трезвый анализ и выводы требуют сверхчеловеческого усилия. Есть добровольные слепцы, но среди тех, кто считает себя зрячим, много ли осталось людей, которые не только смотрят, но и видят? Вернее, не искажают слегка того, что видят, чтобы сохранить иллюзии и надежду... Может, именно этим объясняется наша живучесть?

У моих чердынских знакомых оставалась одна цель — сохранить человеческое достоинство. Ради этого они отказались от всякой деятельности, добровольно обрекли себя на полную изоляцию с перспективой близкой гибели. Несомненно, что это род пассивного сопротивления, но по сравне-

* С.р. (Примечание автора.— Т.е. социалистка-революционерка.)

нию с ним то, что известно под этим названием и применялось в Индии, является активнейшей политической борьбой... В известном смысле они приняли путь самоусовершенствования, который им когда-то предложили веховцы, а они с негодованием отвергли. Впрочем, выбора у них не было. Единственное, что им оставалось, это вой, который все равно никто бы не услышал.

Мне удалось совершенно случайно узнать про судьбу чердынской кастелянши. Она попала на Колыму и рассказывала одной сосланной туда ленинградке про болезнь О. М. После прыжка из окна он продолжал ждать расстрела, но уже не пытался спастись бегством. Приход убийц он назначал на какой-нибудь определенный час и ждал их в страхе и смятении. В палате, где мы жили, висели большие стенные часы. Однажды О. М. признался, что ждет расправы в шесть вечера, и кастелянша посоветовала мне потихоньку перевести часы. Мы это с ней сделали, и О. М. не пережил припадка возбуждения и страха при приближении рокового часа. «Смотри, — сказала я. — Ты говорил о шести, а теперь уже четверть восьмого...» Как это ни странно, обман удался, и пароксизмы, связанные с определенными часами, прекратились.

Кастелянша очень точно запомнила этот случай и рассказала о нем соседке по лагерному бараку, литераторице из Ленинграда Е. М. Тагер. Промаявшись около двадцати лет по лагерям, Тагер получила после Двадцатого съезда реабилитацию и вернулась в родной город. Ей дали квартиру в том же доме, что Анне Андреевне, и там мы с ней встретились. И я, тоже случайно уцелевшая и сохранившая память, опознала в той, что рассказывала про случай с часами, чердынскую кастеляншу. Случайностьцеплялась за случайность для того, чтобы я могла записать на этом листочке — дойдет ли он когда-нибудь к людям? — о том, что худшие ожидания чердынских ссылочных оказались правильными. Моя безымянная чердынская сестра умерла на Колыме от острого истощения. Но я никак не могу узнать про участь ее детей, от которых она отказалась, чтобы «хоть они жили»... Миновала ли их та судьба, которая обычно доставалась детям ссылочных и каторжан? Не пришло ли им тоже расплачиваться тюрьмами и лагерями за своих родителей, пожелавших сохранить человеческое достоинство? И, наконец, сохранили ли дети то человеческое достоинство, за которое так дорого заплатили их родители?

Этого я не знаю и никогда не узнаю.

Галлюцинации

Мы ходили по Чердыни, разговаривали с людьми, ночевали в больнице, и я уже не боялась открытого окна. Только рука на перевязь напоминала мне о первом утре — или это была белая ночь? — и о том, как у меня в руках остался пустой пиджак. Когда в 38 году пришли чекисты и снова увели О. М., у меня опять в руках остался пустой пиджак — в спешке он забыл его взять.

За несколько дней в Чердыни О. М. очень успокоился, острое состояние прошло, но болезнь все же продолжалась. По-прежнему он ждал расправы, но произошел психический поворот, вернувший его к некоторой реальности. Уже в Чердыни, после случая с часами, он мне сказал, что от расправы, очевидно, не уклониться, все равно ничего не успеешь сделать, даже покончить с собою не так просто — «иначе никто не дался бы им в лапы живым...»

Возбуждение прошло, но слуховые галлюцинации остались. Они ощущались не как внутренний голос, а как нечто насилиственное и совершенно чуждое. Уже в Чердыни О. М. говорил о них почти объективно, пробовал разобраться и понять, в чем дело. Он объяснял, что голоса, которые он слышит, не могут идти изнутри, а только извне: не его словарь. «Этого я не мог даже мысленно произнести», — таков был его довод в пользу реальности этих голосов. В каком-то смысле способность к анализу мешала ему бороться с галлюцинациями. Он не мог поверить в их внутреннее происхождение, считая, что галлюцинация должна каким-то образом отражать внутренний мир больного.

«Может, вытесненное?» — допытывалась я. Он твердо настаивал, что «вытесненное» у него совсем другое, а это постороннее. «Страхи — и то совсем не те...» О. М. так сильно раскрывался в стихах, что в нем оставалось, по крайней мере для меня, очень мало темных мест — я говорю именно о «темных местах», потому что по-своему он был сдержанным человеком и существовали темы, которых он почти не касался. Например, он не раскрывал ход стиховых

ассоциаций, стихов вообще не комментировал, сколько высказывался о самых дорогих для него вещах и людях, о матери, например, и о Пушкине... Иначе говоря, у него была область, касаться которой ему казалось почти святотатством, и именно в этом смысле я говорю о сдержанности. Но назвать это «задержками» нельзя, это не был человек задержанных мыслей, чувств и ощущений, скорее наоборот... Да стоит ли вообще думать о «задержках», когда болезнь вызывает слишком сильной реакцией на действительность?

«Чей же это был язык? Чьи слова ты слышишь?» Точно определить он не мог. Быть может, тех, кто водил его по коридорам внутренней тюрьмы наочные допросы. Они иногда, перемигиваясь, щелкали пальцами — символический жест, означавший «в расход», и обменивались отдельными устрашающими репликами: ведь все их поведение тоже служило для застрашивания заключенных, они, так сказать, сотрудничали со следователями, и это знали все, побывавшие во внутренней тюрьме. О. М. часто припоминал еще голос человека, выпускавшего его из «железных ворот ГПУ». О. М. называл его комендантом, но, может, это был просто дежурный из охраны. Самого выпускавшего он не видел, потому что находился в «воронке», но слышал, как некто проверяет документы прежде, чем выпустить из ворот машину, и голос вместе со всем обрядом произвел на него большое впечатление. Но главное — это внушительные речи следователя с его «преступлением и наказанием»...

«Голоса, — сказал он как-то мне, — это как будто «сборная цитата» из всего, что я слышал...» («Сборная цитата» — выражение Андрея Белого: каждого автора, говорил Белый, он представляет себе не в виде разрозненных и точных цитат, а в виде некой обобщенной «сборной цитаты», представляющей как бы квинтэссенцию его мыслей и слов...)

Чтобы проверить, как О. М. ориентируется в действительности, я спрашивала, не слышит ли он голосов конвойных, Оськи, например, или мужиков, с которыми мы находились в больнице. О. М. возмутился: конвойные — простые деревенские парни, несущие страшную службу — «как кур в оицца попались», а раскулаченных он принимал именно за то, чем они были. «Обыкновенные люди этого говорить и думать не будут...» «Обыкновенные» люди и те, с кем он столкнулся внутри, представлялись ему как бы двумя половинами. Не раз и в Чердыни, и позже О. М. говорил: «Ты себе не представляешь, как они там подобрались...» При этом он отличал внешнюю охрану и некоторых начальников, с которыми мы сталкивались в Воронеже, от специфического аппарата, работавшего по ночам. Первые были подобраны по общекрасноармейскому типу, а те «внутри» — совсем особые: «Чтобы там работать, нужно иметь к этому привыкание — обычновенный человек этого не выдержит...» В Чердыни он относил к людям «внутренней профессии» одного только коменданта. Это совпадало с оценкой ссылочных. Они предсторегали — с комендантом вести себя поосторожнее и поменьше попадаться ему на глаза: «Бог знает, что ему взбредет в голову». Это был человек гражданской войны: «Он всегда прислушивается к своему классовому чутью, — с ужасом сказал мне коротконогий марксист, — а это к добру не приводит — ведь никогда не угадаешь, на что оно его толкнет». Бедняга находился в полной власти этого коменданта, переведенного на окраину за самоуправство. Инстинктивный ужас О. М. перед этим человеком был вполне обоснован.

О. М. мерещились грубые мужские голоса, запугивающие, квалифицирующие его преступление, перечисляющие все возможные кары, говорящие на языке наших газет в дни сталинских разоблачительных кампаний, ругающие его отборной бранью, упрекающие его в том, что он стубил столько людей, прочитав им свои стихи. Голос перечислял имена этих людей, как подсудимых на будущем процессе, и взвывал к совести того, кто их погубил. Как это ни странно, но слово «совесть», совершенно выпавшее у нас из обихода — оно не употреблялось ни в газетах, ни в книгах, ни в школе, потому что его функция выполнялась сначала «классовым чувством», а потом «пользой государства», — сохранилось и работало «внутри». Там постоянно угрожали подследственным «муками совести». Борис Сергеевич Кузин рассказывал, что, когда его «таскали», требуя, чтобы он стал стукачом, его запугивали арестом, помехами в работе, службами, которые грозились распустить среди друзей и сослуживцев, будто он является тайным агентом, но также муками совести за те бедствия, которые он навлечет на свою семью, если отвергнет предложения органов... Это слово, появившееся в галлюцинациях в специфическом контексте, прямо указывало,

что их источник вочных допросах. И «процесса» вместе со списком обвиняемых в заговоре против Сталина О. М. тоже не выдумал и не почерпнул в темных сферах своего сознания — этой темы при мне касался следователь, объясняя, что «не поднимает дела» только по приказу свыше, а за этим последовал риторический вопрос: как же объяснить такое поведение людей, как не заговором... Наша реальность пре-восходит самое смелое и самое боязнь воображение.

Где же проходит в такие эпохи, как наша, грань между психической нормой и болезнью? И я, и О. М. думали об одном и том же, но у него все эти мысли вызывали чувственную окраску — он не только думал, но и представлял себе, как все может обернуться. Среди ночи он будил меня и говорил, что Анна Андреевна арестована и ее ведут сейчас на допрос. «Почему ты так думаешь?» — «Мне так кажется...» Гуляя по Чердыни, он искал труп Анны Андреевны в оврагах... Конечно, это безумие... А я, очнувшись от летаргии, охватившей меня в вагоне, не спала ночной и гадала, кого из наших близких и друзей уже забрали и что им предъявляют — хорошо, если недонесение, но ведь можно пришить что угодно... Следователю, обещавшему «не поднимать дела», верить было бы настоящим безумием и даже подлостью. Вот Аделис, например: как я отшатнулась от нее, узнав, как ее вызывали по делу одного из ее мужей — она повернула следователю и тут же отреагировала от ни в чем не повинного человека...

Была ли я боязнь, когда бессонными ночами воображала допросы и истязания — пока что психологические и, во всяком случае, такие, что не оставляют никаких следов на теле — всех своих знакомых? Нет, болезнью тут и не пахло — всякий нормальный человек на моем месте мучился бы именно такими мыслями. Кто из нас не воображал себя в кабинете следователя, кто из нас по самым дурацким поводам не придумывал ответов на те вопросы, которые ему зададут? Недаром у Анны Андреевны появились строчки: «Там, за проволокой колючей, в самом сердце тайги дремучий, тень мою ведут на допрос...»

О. М. был, конечно, человеком повышенной чувствительности и возбудимости. Травмам он поддавался легче других и на внешние раздражения реагировал всегда очень сильно. Но нужна ли такая сверхчувствительность, чтобы сломаться в этой жизни?

Больных полагается лечить. Я требовала экспертизы. Женщина-врач, заведующая больницей, наотрез отказалась послать его на экспертизу. Ее ответы напоминали мне Оськино: «Не положено...» Я приставала, она избегала разговоров и отругивалась. Однажды, не выдержав, она мне сказала: «Чего вы от меня хотите? Все они «оттуда» приезжают в таком состоянии...»

У меня сохранилось устарелое представление, что ссылать человека в бреду нельзя — беззаконие... И врача за ее равнодушие я честила палачихой. Но вскоре я заметила, что бородатые мужики относятся к ней неплохо. «Нечего к ней лезть», — сказал один из них. — Что она может? Ровным счетом ничего...» — «А что она за человек?» — спросила я. — «Не хуже других», — ответили бородачи. Действительно, проявлять высокие нравственные качества можно не во всяких условиях. Присмотревшись, я поняла, что она обыкновенный районный врач. Ей не повезло — она попала в местность, куда посыпали «оттуда», и поэтому ей приходилось непрерывно входить в соприкосновение с органами и «действовать по инструкции». Тут-то она и научилась держать язык за зубами и не вмешиваться в распоряжения начальства. По целым дням она возилась с гнойными перевязками бородачей, кричала на них, ругалась, но все же по мере сил лечила их, а мне дала добрый совет: не добиваться, чтобы О. М. послали в Пермь на экспертизу, и не отдавать его ни в какое лечебное заведение. «Это у них проходит, а там его загубят... Вы знаете, как у нас в таких местах...» Этот совет я приняла и хорошо сделала: «это» у них действительно проходит... Но я бы хотела знать, как «это» называется в медицине, почему оно поражает такое количество подследственных, какими условиями «внутри» обусловлена массовость заболевания. Повторю, О. М. обладал чрезмерной возбудимостью, может быть, склонностью к психическим заболеваниям, и меня поразила не его болезнь, а то, что все, с кем я сталкивалась, твердили мне о массовости этих заболеваний; а люди, знаяшие царские тюрьмы, отнюдь не отличавшиеся гуманностью, подтвердили мою догадку о том, что тогда арестанты держались гораздо крепче и их психика сохранялась несравненно лучше.

Через много лет в поезде, идущем на восток, я попала

в одно купе с молоденькой девушкой, врачом, которой тоже не повезло: она попала по распределению в лагерную больницу. Время уже было не страшное — 54 год. — и девушка разговорилась. Куда идти?.. Как спастись?.. Ведь больше нельзя терпеть... «Главное, ничего нельзя сделать... Что чай? Пишем, что прикажут, делаем, что прикажут...» К этому времени я уже твердо знала, что никакие врачи вольничать не смеют и слишком часто вынуждены поступать против своей совести, а некоторые даже не подозревают, что поступают против медицинской совести, когда отказывают, например, в удостоверениях о болезни, бюллетенях, свидетельствах об инвалидности... А впрочем, почему выделять врачей? Все мы делаем только то, что нам приказано. Все мы живем «по инструкции», и нечего на это закрывать глаза.

Профессия и болезнь

Мне кажется, что для поэта слуховые галлюцинации являются чем-то вроде профессионального заболевания.

Стихи начинаются так — об этом есть у многих поэтов, и в «Поэме без героя», и у О. М.: в ушах звучит назойливая, сначала неоформленная, а потом точная, но еще бессловесная музыкальная фраза. Мне не раз приходилось видеть, как О. М. пытался избавиться от погудки, стряхнуть ее, уйти... Он мотал головой, словно ее можно было выплеснуть, как каплю воды, попавшую в ухо во время купания. Но ничто ее не заглушало — ни шум, ни радио, ни разговоры в той же комнате.

Анна Андреевна рассказывала, что когда пришла «Поэма», она готова была сделать что угодно, лишь бы от нее избавиться, даже бросилась стирать, но ничего не помогло.

В какой-то момент через музыкальную фразу вдруг простиупали слова, и тогда начинали шевелиться тубы. Вероятно, в работе композитора и поэта есть что-то общее, и появление слов — критический момент, разделяющий эти два вида сочинительства.

Иногда погудка приходила к О. М. во сне, но, проснувшись, он не помнил приснившихся ему стихов.

У меня создалось впечатление, что стихи существуют до того, как они сочинены. (О. М. никогда не говорил, что стихи «написаны». Он сначала «сочинял», потом записывал.) Весь процесс сочинения состоит в напряженном улавливании и проявлении уже существующего и неизвестно откуда транслирующегося гармонического и смыслового единства, постепенно воплощающегося в слова.

Последний этап работы — изъятие из стихов случайных слов, которых нет в том гармоническом целом, что существует до их возникновения. Эти случайно прокрашившиеся слова были поставлены наспех, чтобы заполнить пробел, когда проявлялось целое. Они застрияли, и их удаление тоже тяжелый труд. На последнем этапе происходит мучительное вслушивание в самого себя в поисках того объективного и абсолютно точного единства, которое называется стихотворением. В стихах «Сохраня мою речь»³⁴ последним пришел эпитет «совестный» (деготь труда). О. М. жаловался, что здесь нужно определение точное и скучное, как у Анны Андреевны: «Она одна умеет это делать...» Он как бы ждал ее помощи.

В работе над стихами я замечала не один, а два «выпрямительных вздоха»³⁵ — один, когда появляются в строке или строфе первые слова, второй, когда последнее точное слово изгоняет случайно внедрившихся пришельцев. Тогда процесс вслушивания в самого себя, тот самый, который подготовляет почву к расстройству внутреннего слуха, к болезни, останавливается. Стихотворение как бы отпадает от своего автора, перестает жужжать и мучить его. Одергимый получает освобождение. Бедная корова Ио удрала от пчелы.

Если стихотворение не отстает, говорит О. М., значит, в нем что-то не в порядке или «еще что-то спрятано», то есть осталась плодоносная почка, от которой тянется новый росток; иначе говоря, работа не завершена.

Когда внутренний голос умолкал, О. М. рвался прочесть кому-нибудь новый стишок. Меня бывало недостаточно: я так близко видела эти метания, что О. М. казалось, будто я тоже слышала всю погудку. Иногда он даже упрекал меня, что я чего-то недослышала. В последний воронежский период (стихи из «Второй» и «Третьей» тетрадей³⁶) мы шли к Наташе Штемпель³⁷ или зазывали к себе Федю Мараница, обезьяноподобного агронома, прелестнейшего и чистейшего человека, готовившегося в скрипачи, но случайно в юности испортившего себе руку. В Феде была та внутренняя гармония, которой отличаются люди, слыша-

щие музыку. Со стихами он столкнулся впервые, но его музыкальное чутье делало его лучшим слушателем, чем многих специалистов.

Первое чтение как бы завершает процесс работы над стихами, и первый слушатель ощущается как его участник. Первыми слушателями О. М. с тридцатого года были Борис Сергеевич Кузин, биолог, которому О. М. посвятил стихотворение «К немецкой речи», Александр Маргулис — это он, в сущности, распространял стихи первых двух тетрадей. Запомнив стихи с голоса или получив список, Маргулис читал их друзьям и знакомым, а имел он несметное количество. О. М. сочинял бесконечные «маргутеты», стишкы про Маргулиса, которые должны были начинаться со слов «старик Маргулис» и обязательно получить одобрение самого Маргулиса, и уверял, что у ницца старика Маргулиса (ему было тогда не больше тридцати лет) дома сидят еще более ницца старик, которого он тайком кормит. Сам Маргулис был настоящим человеком-оркестром и высыпал самые сложные симфонии. Жаль, что потеряны самые лучшие «маргутеты» о том, как «старик» исполняет на московских бульварах Бетховена. И женился Маргулис на пианистке Изе Ханцын, прекрасной исполнительнице Скрябина. Маргулис в жизни любил музыку, стихи и приключенческие романы. Мне рассказывали, что, умирая под дальневосточным небом, он рассказывал уголовникам всякие небылицы и приключения мушкетеров, а они его за это подкармливали.

Первым слушателем часто оказывался и Лева Гумилев — он жил у нас зимой 33/34 года. Начало «Первой воронежской тетради» О. М. читал Рудакову, высланному в Воронеж вместе с ленинградскими дворянами, но вскоре ему удалось вернуться в Ленинград.

Случилось так, что у всех первых слушателей О. М. была трагическая судьба. Кроме Наташи, всем пришлось пройти через тюрьмы и ссылки. Федя, например, больше года сидел во время сжившины и вытерпел все, но ничего не подписал и попал поэтому в число счастливцев, выпущенных после падения Ежова. Вышел он из этого испытания больным и растерзанным человеком, а во время войны его снова сослали просто за то, что ему случилось родиться в Вене, откуда его увезли домой в Киев трех недель от роду.

Логически рассуждая, можно подумать, что если все первые слушатели Мандельштама подверглись репрессиям, то между их делами должна быть какая-то связь. На самом же деле никакой связи не было. Кузина «таскали» еще до нашего с ним знакомства в связи с делами биологов. Попался он в первый раз из-за каких-то своих шуточных стихов, которые тщательно от нас скрывал. Его вызывали на какие-то частные квартиры, где в отдельной, специально для этого закрепленной комнате сидел следователь и вербовал стукачей. Сел же он в первый раз еще в 32 году, а потом был взят вторично в один день с биологом Вермслем — оба они чисились неоламаркистами и были уже изгнаны из Тимирязевки.

Биолог Кузин, агроном Федя Маранц, сын расстрелянного генерала Рудаков и сын расстрелянного поэта Лева даже знакомы друг с другом не были. Единственное общее между ними было — любовь к стихам. Очевидно, это чувство требует той степени интеллигентности, которая обрекала у нас людей на гибель или в лучшем случае на ссылки. Жить разрешалось только переводчикам.

Процесс работы над переводом прямо противоположен сочинению подлинных стихов. Я не говорю, конечно, о чудесном слиянии двух поэтов, как бывало с Жуковским или с А. К. Толстым, когда перевод вносил новую струю в русскую поэзию или переводные стихи становились полноценным фактом русской литературы, как любимая нами «Коринфская невеста». Такие удачи бывают только с настоящими поэтами, да и то очень редко, а просто перевод — это холодный и разумный версификационный акт, в котором имитируются некоторые элементы стихописания. Как это ни странно, но при переводе никакого готового целого до его воплощения не существует. Переводчик заводит себя, как мотор, длительными, механическими усилиями вызывает мелодию, которую ему нужно использовать. Он лишен того, что Ходасевич очень точно назвал «тайнослышаньем». Перевод — это занятие, противопоказанное подлинному поэту, созданное для того, чтобы предотвратить даже зарождение стихов.

В «Разговоре о Данте» О. М. говорит о «переводчиках готового смысла», выражая свое отношение и к переводческой работе, и к тем, кто пользуется формой стихов, чтобы

излагать свои мысли. Их О. М. всегда отделял от подлинных стихотворцев. Одно время у нас в стране перестали читать стихи: «Стихи — такая вещь,— сказала Анна Андреевна,— кто раз проглотит суррогат, навсегда как отравленный». К стихам вернулись и сейчас их читают как никогда, но только потому, что научились отличать их от всех продуктов переводческого ремесла.

Стихи — как слово. Сознательно выдуманное слово лишено жизнеспособности. Это доказано всеми неудачами словоизделия — наивной индивидуалистической игры с божественным даром человека — речью. К фонетическому комплексу, называющемуся словом, прикрепляют произвольное значение, и получается блатной язык или та словесная шелуха, которой пользуются в корыстных целях жрецы, заклинатели, правители и прочие шарлатаны. И над словом, и над стихами совершают это надругательство, чтобы пользоваться ими, как хрусталиком гипнотизера. Обман рано или поздно будет разоблачен, но человеку всегда грозит опасность попасть под обаяние и власть новых обманщиков, другой стороной повернувших свой хрусталик.

«Внутри»

Что происходило во внутренней тюрьме во время следствия? О. М. много говорил об этом со мной в Воронеже и старался отделить галлюцинации и бредовые представления от фактов. Острой наблюдательности он не терял ни на минуту. Я убедилась в этом, когда на свидании он сразу задал мне вопрос о том, что за пальто на мне, и сделал из моего ответа, что пальто мамино, правильный вывод: «значит, ты не была арестована...» Но болен он был, и далеко не все наблюдения и выводы оказались правдой. Мы тщательно отбирали с ним крупицы реальности, и это давалось нам нелегко.

У нас был один неплохой критерий подлинности того, что он запомнил, — во время свидания следователь успел коснуться многих вопросов. Он преследовал при этом явную цель — внушить мне свою точку зрения на все дело в целом и на различные аспекты следствия. Я получила, так сказать, авторитетные разъяснения, как следует трактовать происшедшее. Существовало много женщин подобных Аделис, которые подобные разъяснения принимали с благодарностью... Большинство делало это из чувства самосохранения, но кое-кто из всей души. Итак, во время свидания я была как бы пластинкой, на которой и следователь, и О. М. торопливо записывали свою версию происшедшего, чтобы я сообщила о ней на воле. Следователь сознательно старался приугнить меня, а через меня и тех, с кем я буду разговаривать. Но он прогадал, как и другие деятели нашей эпохи, которым в голову не приходило, что их жертва что-нибудь запомнит и посмеет подойти к событиям не с официальной, а с собственной меркой. Террор и самовластие всегда близоруки.

О. М. благодаря своей возбудимости оказался, вероятно, легкой добычей, и особенно утонченных приемов с ним не применяли. Содержался он в «двухместной одиночке». Следователь прокомментировал одиночку следующим образом: «Одиночное заключение у нас запрещено из гуманных соображений». Я знала, что это ложь. Если такое запрещение когда-нибудь существовало, то только на бумаге. Во все периоды мы встречали людей, которых держали в одиночках. Зато, когда ощущалась нужда в тюремной жилплощади, эти крохотные камеры набивались до отказу. Об этом мы впервые услышали во время изъятия ценностей. Люди, выходившие из тюрьмы, рассказывали, что им сутками приходилось стоять в набитых битком одиночках. Обычно же вторую койку использовали особым образом, о котором в 34 году до ареста О. М. мы еще не знали...

Сосед О. М. по камере запугивал его предстоящим процессом. Он убеждал О. М., что все его близкие и знакомые уже арестованы и будут обвиняемыми на грядущем процессе. Он перебирал статьи кодекса и, так сказать, «консультировал» О. М., то есть угрожал ему обвинениями в терроре, заговоре и тому подобных вещах. Возвращаясь с ночного допроса, О. М. попадал в лапы к своему «соседу», который не давал ему отдохнуть. Но работал этот человек топорно, и на его приставания О. М. спрашивал: «Отчего у вас чистые ногти?» Этот заключенный имел глупость сказать, что он «старожил» и сидит уже несколько месяцев, а ногти у него были аккуратно подрезаны. Однажды утром этот тип вернулся чуть позже О. М. — якобы с допроса, и О. М. заметил, что от него пахнет луком, и тут же ему сказал:

Следователь, парируя сообщение О. М., что он содержался в одиночке, заявил о гуманном запрещении одиночек и прибавил, что О. М. был в камере с другим заключенным, но так «обижал своего соседа», что того пришлось перевести. «Какая заботливость!» — успел вставить О. М., и перепалка на эту тему кончилась.

О. М. на первом же допросе признал авторство инкриминируемых стихов, значит, роль подсаженного лица не могла сводиться к обнаружению фактов, которые пытаются скрыть от следователя. Вероятно, в функции этих людей входило запугивание и утомление подследственных, чтобы жизнь им стала не мила. До 37 года у нас шеголяли психологическими пытками, но потом они сменились физическими, совершенно примитивными избиениями. Не слышала я после 37 года и об одиночных камерах с подсаженными людьми или без. Быть может, люди, удостоенные одиночки на Лубянке, после 37 года живыми оттуда не выходили.

О. М. подвергся тем физическим пыткам, которые практиковались у нас всегда. В первую очередь это бессонный режим. На допросы его водили каждую ночь, и они продолжались по много часов. Большая часть ночи уходила не на допрос, а на ожидание у дверей кабинета следователя под конвоем. Однажды, когда допроса не было, О. М. все-таки разбудили и повели к какой-то женщине, и она, продержав его много часов у себя под дверью, изволила спросить, нет ли у него жалоб. Бессмыслица жалоб так называемому прокурорскому надзору всем ясна, и О. М. этим своим правом не воспользовался. К прокурорше его таскали, вероятно, чтобы соблюсти формальность и сохранить для него бессонный режим и в ту ночь, когда следователь отсыпался. Этиочные птицы вели дикий образ жизни, но все же поспать им удавалось, хотя и не в те часы, когда спят обыкновенные люди. А пытка бессонницей и направленный на глаза ярчайший свет знакомы всем, кто прошел этот путь...

На свидании я заметила воспаленные веки О. М. и спросила, что у него с глазами. На этот вопрос поспешил ответить следователь: читал, мол, слишком много, но тут же выяснилось, что книг в камеру О. М. не давали. С больными веками пришлось возиться все годы — вылечить их так и не удалось. О. М. уверял меня, что воспаление произошло не только от ярких ламп, но что ему будто бы пускали в глаза какую-то едкую жидкость, когда он подбегал в камере к «глазку». Всякое беспокойство ведь преворилось у него в движение, и, оставшись один в камере, он метался по ней... Мне говорили, что «глазок» защищен двумя толстыми стеклами, поэтому пустить жидкость через него никак нельзя. Возможно, что эта едкая жидкость принадлежит к ложным воспоминаниям, но достаточно ли одной яркой лампы, чтобы причинить такое стойкое заболевание век?

О. М. кормили соленым, но пить не давали — это делалось сплошь и рядом с сидевшими на Лубянке. Когда он требовал воды у того же часового, подходя к «глазку», его тащили в карцер и завязывали в смирительную рубашку. Раньше смирительной рубахи он никогда не видел и поэтому предложил мне проверить этот факт следующим образом: он записал, как она выглядит, и мы сходили в больницу посмотреть, точно ли его описание. Оно оказалось точным.

На свидании я заметила, что обе руки у О. М. забинтованы в запястьях. «Что это у тебя с руками?» — спросила я. О. М. отмахнулся, а следователь произнес угрожающую тираду о том, что О. М. пронес в камеру запрещенные предметы, а это карается по статуту тем-то... Оказалось, что О. М. перерезал себе вены, а орудием послужило лезвие «Жилетт». Дело в том, что Кузин, выпущенный в 33 году после двухмесячной отсидки — его отхлопотал знакомый ему чекист, увлекавшийся энтомологией, — рассказал О. М., что в таких переделках больше всего не хватает ножа или хоть лезвия. Он даже придумал, как обеспечить себя на всякий случай лезвиями: их можно запрятать в подошве. Услыхав это, О. М. уговорил знакомого сапожника пристроить у него в подошве несколько бритвочек. Такая предусмотрительность была в наших нравах. Еще в середине двадцатых годов Лозинский показал нам приготовленный на случай ареста мешок с вещами. Инженеры и люди других «подсудимых профессий» делали то же самое. Удивительнее всего не то, что они держали у себя заготовленные заранее тюремные мешки, а то, что эти мешки и рассказы не производили на нас никакого впечатления: совершенно естественно, что люди думают о будущем, молодцы... Таковы были наши будни, и заблаговременно упрятанное в сапоге лезвие дало

О. М. возможность вскрыть себе вены: изойти кровью не такой уж плохой исход в нашей жизни...

Работа, разрушающая психику, велась на Лубянке по всей линии, в ней была система, а так как наши органы тоже бюрократическое заведение и ничего без инструкций не делают, то существовали, вероятно, и соответствующие инструкции. Нельзя ничего объяснить инстинктами злобного персонала, хотя людей, конечно, подбирали подходящих, но завтра такой же персонал может оказаться добрым — тоже по инструкции... Среди нас на воле ходили слухи, что Ягода завел тайные лаборатории, насадил там специалистов и всячески экспериментирует: пластики, наркозы, внушение. Проверить эти слухи нельзя, быть может, это наше большое воображение или сознательно пущенные среди нас басни, чтобы держать всех в руках...

О. М. слышал у себя в камере доносившийся издалека женский голос, который он принял за мой. Это были жалобы, стоны и торопливые рассказы, но настолько неясные, что слов он не мог разобрать. Тогда он решил, что меня действительно арестовали, как ему намекал следователь на допросах. Обсуждая с ним это, мы колебались, можно ли приписать этот голос слуховой галлюцинации. Почему он не разбирал слов? Ведь при слуховой галлюцинации слова слышались ему даже черезсур ясно, а множество людей, прошедших в те годы через внутреннюю тюрьму, тоже слышали голоса и крики своих жен, которые потом оказывались на свободе. У всех, что ли, были галлюцинации? А если так, то чем это достигалось? Поговаривали, будто есть у них в арсенале пластики с голосами типовой жены, матери, дочери, которые используются для сокрушения духа арестованного... После того, как уточненные пытки и психологические методы сменились примитивнейшими, никто больше не жаловался, что слышал голос своей жены. О более грубых приемах я знаю: показывали, например, в щелку избитого человека, окровавленного, в страшном виде, и говорили, что это сын или муж арестованной... Зато про издали доносящиеся голоса уже не говорил никто... Были ли такие пластики? Мне этого знать не дано и узнать не у кого. Поскольку у О. М. вообще были после выхода из тюремы галлюцинации, я склоняюсь к мысли, что и этот голос принадлежал к тем внутренним голосам, которые мучили его в Чердыни. А про лабораторию наркозов слухи ходят и сейчас.

Все эти методы возможны только там, где с момента ареста у заключенного прерывается всякая связь с внешним миром: ничего, кроме расписки в книге передач, он об оставленных на воле людях не знает, но ведь и передачи разрешаются далеко не всем. Первый способ воздействия на заключенного — это запрещение ему передач, этой последней ниточки, связывающей его с миром. Вот почему в нашей жизни лучше было не иметь привязанностей: насколько крепче чувствует себя человек, которому не приходится ловить на допросах мнимые обмолвки и намеки следователя, чтобы узнать о судьбе близкого человека. У однокого гораздо труднее расшатать психику, и ему гораздо легче сосредоточиться на собственных интересах и вести систематическую оборону. Несмотря на предрешенность приговора, кое-какую роль умная самозащита все же играла. Одному моему приятелю * удалось поразительно перехитрить следователя, правда, провинциального. Он после долгой борьбы согласился у себя в камере записать все басни, которые ему приписывали. Ему выдали бумагу, и он написал все, что с него требовал следователь, но своей подписи под показаниями не поставил, а следователь на радостях этого не заметил. Приятель мой родился, конечно, под счастливой звездой, потому что в это время сняли Ежова. Дело не успело дойти до коллегии, приговора не вынесли, и он добился пересмотра ввиду того, что отсутствие подписи делало его показания недействительными. Он принадлежит к тем немногим, кому после падения Ежова удалось выйти на волю. Родиться под счастливой звездой еще недостаточно — рекомендуется еще не терять голову, а легче всего это сделать одиноким людям...

Христофорыч

Следователь О. М., пресловутый Христофорыч, был человеком не без снобизма и свою задачу по запугиванию и расшатыванию психики выполнял как будто с удовольствием. Всем своим видом, взглядом, интонациями он показывал, что его подследственный — ничтожество, презренная тварь,

* Актер Камерного театра — Шура Румнев. (Примечание автора.)

отребье рода человеческого.— «Почему он так пыжится?» — спросили бы мы, если б встретили такого человека в нормальной обстановке, но во время ночных допросов человек должен чувствовать себя раздавленным этим взглядом или, по крайней мере, сознавать свое полное бессилие. Держался он, как человек высшей расы, презирающий физическую слабость и жалкие интеллигентские предрассудки. Об этом свидетельствовала вся его хорошо натренированная повадка, и я тоже, хотя и не испугалась, но все же почувствовала во время свиданий, как постепенно уменьшалась под его взглядом. А ведь я уже догадывалась, что такие христофорычи, зигфриды, потомки и друзья сверхчеловека не выдерживают никаких испытаний и совершенно теряются в нашем положении. Они великолепны только перед беззащитными и умеют когтить очередную жертву, уже пойманную в капкан.

Снобизм следователя не ограничивался его манерой держаться, иногда он позволял себе выпады высшего класса, припахивающие литературными салонами. Первое поколение молодых чекистов, сменившее и уничтоженное в 37 году, отличалось моднейшими и вполне утонченными вкусами и слабостью к литературе, тоже, разумеется, самой модной. При мне он сказал О. М., что для поэта полезно ощущение страха — «ты же сами мне говорили», — оно способствует возникновению стихов, и О. М. «получит полную меру этого стимулирующего вещества»... Мы оба заметили, что Христофорыч употребил будущее время — не «получил», но «получит». В каких московских салонах набрался следователь таких разговорчиков?

У меня с О. М. появилось общее и одинаковое ощущение, которое он выразил так: «У этого Христофорыча все перевернуто и навыворот». Чекисты действительно были передовым отрядом «новых людей» и подвергли все обычные взгляды людей коренной сверхчеловеческой ломке. Их сменили люди совершенно другого физического типа, у которых вообще никаких взглядов, перевернутых или правильных, не было.

Основной прием, которым действовал следователь, запугивая О. М., оказался все же абсолютно примитивным: назвав чье-нибудь имя — мое, Анны Андреевны или Евгения Яковлевича, — он сообщал, что получил от нас такое-то показания... О. М. начинал допытываться, арестован ли упомянутое лицо, а следователь не отвечал ни да, ни нет, но как бы невзначай давал понять, что «они уже у нас», чтобы через минуту отречься от своих слов: «Я вам этого не говорил». Неизвестность в таких делах разрушительна для последственного, и она возможна только при наших условиях заключения. Христофорыч, играя в кошки-мышки с О. М. и только намекая ему на аресты по его делу родных и близких, вел себя по высокому следовательскому рангу, так как обычно, не пускаясь ни в какие игры, объявляли, что все уже арестованы, уничтожены, допрошены и расстреляны... А потом сиди у себя в камере, разбирайся, правда это или ложь...

Следователь, «специалист по литературе», усиленно щеголял своей осведомленностью: всех он, мол, знает и в курсе «всех ваших дел». Он старался создать впечатление, что все наши знакомые бывали у него и ему ясна вся наша подноготная. Многих он называл не по имени, а по какому-нибудь характерному признаку: одного — «двоеженцем», другого — «исключенным», одну из бывавших у нас женщин — «театралкой»... Эти прозвища он употребил при мне на свидании, но О. М. говорил, что у него были клички и для других. Кроме своей осведомленности, он демонстрировал этим и нечто другое: ведь в охранках агенты всегда значатся не под именами, а под кличками. Называя людей кличками, он как бы бросал на них тень. Характерно, что ташкентский самоубийца, по словам его дочери, тоже «знал всех и для всех придумывал клички»...

О. М. на клички не обращал внимания — он понимал, чего этим хочет достичь следователь.

О. М. утверждал, что в работе следователя все время прорывались казенщина и схематизм. Наша юриспруденция предполагала, что для каждого класса и даже прослойки общества характерны типовые «разговорчики». Говорят, что научные силы Лубянки создавали целевые простыни таких классовых разговорчиков и на них-то следователь и пытался поймать О. М. «Такому-то вы говорили, что предпочли бы жить не в Москве, а в Париже...» Считалось, что О. М., как буржуазный писатель и идеолог погибающих классов, должен рваться обратно в их лоно. Фамилия гипотетического собеседника называлась первая попавшаяся, но обязатель-

но очень распространенная, вроде Иванова или Петрова, а в случае надобности — Гинзбурга или Рабиновича. Подследственному кролику подлагалось вздрогнуть и начать мутильно перебирать в памяти всех Петровых или Рабиновичей, с которыми он мог поделиться своей заветной заграничной мечтой. Такая мечта в нашей юриспруденции если не полное преступление, то, во всяком случае, отягощающее обстоятельство, а иногда она может выйти боком и квалифицироваться по любому пункту кодекса. Во всяком случае, мечта о Париже вскрывает классовое лицо подсудимого, а с классовой принадлежностью в нашем бесклассовом обществе нельзя не считаться... К такому же типу схематических вопросов относится: «Такому-то вы жаловались, что до революции зарабатывали литературой несравненно больше, чем сейчас». Ясно, что на такие крючки О. М. не поймался. Работа действительно была топорной, но они и не нуждались в тонкой. Зачем?.. был бы человек, дело найдется...

Следствие Христофорыч вел, как подготовку к «процессу», о чем он упомянул при свидании — «мы решили не поднимать дела» и тому подобное... По нашим обычаям материала на «дело» хватило бы с избытком, и такой оборот был более вероятен, чем то, что случилось. Метод следствия — объяснение каждого слова инкриминируемых стихов. Следователь особенно интересовался тем, что послужило стимулом к их написанию. О. М. огорчил его неожиданным ответом: больше всего, сказал он, ему ненавистен фашизм...

Ответ этот вырвался, очевидно, невольно, потому что О. М. не собирался исповедоваться перед следователем, но в тот момент, когда он это произнес, ему было все равно и он махнул рукой на все... Следователь метал громы, как ему и положено, кричал, спрашивал, в чем О. М. усматривает фашизм нашей жизни — эту фразу он повторил и при мне на свидании, но — удивительное дело! — удовольствовался уклончивыми ответами и уточнять ничего не стал. О. М. убеждал меня, что во всем поведении следователя чувствовалась какая-то двусмысленность и что, несмотря на железный тон и угрозы, все время проскальзывала его ненависть к Сталину. Я сму не верила, но в 38 году, узнав, что этот человек тоже расстрелян, мы призадумались. Быть может, О. М. заметил то, что на его месте не обнаружил бы трезвый и разумный человек, находящийся, как всегда бывает у трезвых и разумных людей, во власти готовых концепций. Трудно себе представить, чтобы могущественный Ягоды со своим грозным аппаратом без всякой борьбы сдался Сталину. Ведь в 34 году, когда велось следствие о стихах О. М., уже стало широко известно, что Вышинский подкапывается под Ягоду. По невероятной слепоте — вот она, власть готовых концепций! — мы с интересом ловили слухи об этой борьбе прокурора с начальником тайной полиции, думая, что Вышинский, юрист по образованию, положит конец самоуправству и террору тайных судилищ. И это думали мы — уже знаяшие по процессам двадцатых годов, чего можно ожидать от Вышинского!.. Во всяком случае, для сторонников Ягоды, в частности для Христофорыча, было ясно, что победа Вышинского не принесет им благоденствия, и они уж, конечно, понимали, какие мучения и издевательства ждут их перед концом. Когда борются две группы за право бесконтрольно распоряжаться жизнью и смертью своих сограждан, все побежденные обречены на гибель, и О. М., может, действительно прочел тайные мысли своего твердокаменного следователя. Но замечательное свойство эпохи — все эти новые люди, убивавшие и погибшие, признавали только свое право на мысль и суждение.

Любой из них расхохотался бы, если б узнал, что человек в сплюзающих брюках и без единой театральной интонации, тот самый человек, которого к нему приводят под конвоем в любой час дня и ночи, не сомневается, несмотря ни на что, в своем праве на свободные стихи. Ягоде, как оказалось, так понравились стихи О. М., что он изволил запомнить их наизусть — ведь это он прочел их Бухарину, когда мы были еще в Чердыни,— но он, не усомнившись, пустил бы в расход всю литературу — прошлую, настоящую и будущую,— если б считал это полезным для себя. Для этой удивительной формации кровь человеческая, что вода. Все люди заменимы, кроме победившего властелина. Смысль человека в той пользе, которую он приносит властелину и его клике. Умелые агитаторы, которые помогают внушить народу восторг перед владыкой, заслуживают лучшей оплаты, чем прочий сброд. Своих личных знакомых можно иногда обласкать — каждый из них любил покровительствовать и разыгрывать гарун-аль-рашидовские триюки, но никому наши властители не позволяли вмешиваться в их дела

и иметь свое собственное суждение. С этой точки зрения стихи О. М. были настоящим преступлением — узурпацией у власти имущих права на слово и мысль. Для врагов Сталина так же, как и для его клики. Эта поразительная уверенность вошла в плоть и кровь наших властителей: право на суждение определяется и будет определяться служебным положением, чином и рангом. Еще совсем недавно Сурков мне объяснил, чем плох роман Пастернака: доктор Живаго не имеет права судить о нашей действительности. Мы ему не дали этого права. Христофорыч не мог признать этого права за Мандельштамом.

Самый факт написания стихов Христофорыч называл «акцией», а стихи — «документом». На свидании он сообщил, что такого чудовищного, беспрецедентного «документа» ему не приходилось видеть никогда. О. М. не отрицал, что прошел стихи нескольким людям, общим числом в одиннадцать, включая меня, двух братьев — моего и своего — и Анну Андреевну. Имена эти следователь выяснял по одному, называя людей, бывавших у нас в доме, и выяснилось, что он был действительно хорошо информирован о нашем ближайшем окружении. Имена людей, фигурировавших в следствии. О. М. перечислил мне на свидании, чтобы я могла всем предупредить. Никто из них не пострадал, но испуг был огромный. Списка этих людей я не привожу, чтобы у кого-нибудь не появилось искушение искать среди них предателя. Следователь выяснял, как каждый из слушателей реагировал на стихи. О. М. утверждал, что все умоляли его позабыть эти стихи и не губить ни себя, ни других. Кроме этих одиннадцати, стихи о Сталине слышали еще человек семь восемь, но следователь не назвал их имен, и потому в деле они не фигурировали. Не названы были, например, Пастернак и Шкловский.

Протоколы О. М. подписывал, не перечитывая, за что я грызла его все годы. В этом следователь упрекнул его при мне. «Вероятно, доверяя вам», — злобно сказала я... И действительно, я и сейчас думаю, что в этом смысле следователю можно было доверять: дело по нашим условиям было совершенно реальным, материалов хватило бы на десять процессов, и поэтому измышлять что-нибудь дополнительное не имело никакого смысла.

В начале следствия, как заметил О. М., следователь держался гораздо агрессивнее, чем под конец. Он даже перестал квалифицировать сочинение стихотворения как террористический акт и угрожать расстрелом. Вначале же он грозился расстрелом не только автору, но и «всем сообщникам», то есть людям, выслушавшим эти стихи. Обсуждая это смягчение, мы решили, что оно вызвано было инструкцией «сохранить». Я не видела следователя в первый fase — угрожающей, — и мне показалось, что и на свидании он вел себя чудовищно агрессивно. Но такова уж эта профессия и, вероятно, не только у нас.

Следователь выяснял также отношение О. М. к Советской власти, и О. М. сказал, что готов сотрудничать с любым советским учреждением, кроме Чека. Сказал он это не из смелости или бравады, а по полному неумению лавировать. Мне кажется, что это чрезвычайное неумение было для следователя загадкой, разрешить которую он не мог. Такое заявление, да еще сделанное у него в кабинете, он мог объяснить только глупостью, но с такими дураками ему еще не приходилось встречаться, и у него был явно недоумевающий вид, когда он процитировал на свидании этот дурацкий ответ. А мы с О. М. вспомнили этот эпизод в разгар ежовщины, когда в «Правде» появился подвал Шагинян, где она рассказывала, как подсудимые охотно открывают душу своим следователям и «сотрудничают с ними» на допросах... И все это, по мнению Шагинян, происходит от великого чувства ответственности, свойственного советскому человеку... Добровольно Шагинян написала этот фельетон или по инструкции свыше, во всяком случае, забывать его не следует.

В своем одичании и падении писатели превосходят всех. Еще в 34 году до нас с Анной Андреевной дошли рассказы писателя Павленко — как он из любопытства принял приглашение своего друга-следователя, который вел дело О. М., и присутствовал, спрятавшись не то в шкафу, не то между двойными дверями, на ночном допросе. В кабинете следователя я видела несколько одинаковых дверей — их было слишком много для одной комнаты. Нам потом объяснили, что одни двери открываются в шкафы-ловушки, другие служат запасным выходом. Научно разработанная и глубоко современная архитектура подобных зданий ставит себе целью защитить и обезопасить следователя, рискующего

жизнью в борьбе за правопорядок, от заключенного в случае, если бы он вздумал бежать или напасть на своего христофорыча.

Павленко рассказывал, что у Мандельштама во время допроса был жалкий и растерянный вид, брюки падали — он все за них хватался, — отвечал невпопад — ни одного четкого и ясного ответа, — порол чушь, волновался, вертесся, как карась на сковороде, и тому подобное... Общественное мнение всегда подвергалось у нас обработке против слабого в пользу сильного, но то, что сделал Павленко, превосходит все. Никакой Булгарин на это не осмелился бы. Кроме того, в кругу официальной литературы, к которому принадлежал Павленко, совершенно забыли, что единственное, что можно обвинять заключенного, это в даче ложных показаний в угоду начальству и для спасения своей шкуры, но, во всяком случае, не в растерянности и страхе. Почему мы должны быть такими храбрыми, чтобы выдерживать все ужасы тюрем и лагерей двадцатого века? С песнями валиться во рвы и общие могилы?.. Смело задыхаться в газовых камерах?.. Улыбаясь путешествовать в телячих вагонах?.. Вести салонные разговоры со следователями о роли страха в поэтическом творчестве?.. Или выявлять импульс к сочинению стихов, написанных в состоянии ярости и негодования?

А тот страх, который сопровождает сочинение стихов, ничего общего со страхом перед тайной полицией не имеет. Когда появляется примитивный страх перед насилием, уничтожением и террором, исчезает другой таинственный страх перед самим бытием. Об этом часто говорил О. М.: с революцией, у нас на глазах пролившей потоки крови, тот страх исчез.

Кто виноват

Первый вопрос, заданный следователем: «Как вы думаете, почему вас арестовали?». После уклончивого ответа следователь предложил припомнить стихи, которые могли вызвать арест. О. М. последовательно прочел «Волка», «Старый Крым»³⁸ и «Квартиру»³⁹. Он еще надеялся, что этим удовольствуются: любого из этих стихотворений было бы достаточно, чтобы отправить автора в лагерь. Следователь не знал ни «Старого Крыма», ни «Квартиры» и тут же их записал. «Квартиру» О. М. сообщил без восьми строчек — «Наглей комсомольской ячейки и вузовской песни наглей присевших на школьной скамейке учить щебетать палачей... Пайковые книги читаю, пеньковые речи ловлю и грозное баюшки-баю колхозному паюю», — и в этом виде она оказалась в списках Тарасенкова⁴⁰. Затем следователь вынул из папки листок, дал описание стихов о Сталине и зачитал ряд строк. О. М. признал авторство. Следователь потребовал, чтобы О. М. прочел стихи. Выслушав, он заметил, что первая строфа в его списке звучит иначе, и прочел свой вариант: «Мы живем, под собою не чуя страны, наши речи за десять шагов не слышны, только слышно кремлевского горца, душегубца и мужикоборца». О. М. объяснил, что таков был первый вариант. После этого О. М. пришлось записать стихи, а следователь положил автограф в папку.

О. М. видел список, предъявленный следователем, но он не мог припомнить, брал ли он его в руки и прочел ли глазами записанные там стихи. В ту минуту он так растерялся, что сам себя не помнил. Поэтому остается открытым вопрос, в каком виде были доставлены в органы стихи — полностью или отдельными строчками, а также точно ли они были записаны.

Среди людей, слышавших эти стихи, многие могли запомнить с голоса даже при однократном чтении все эти шестнадцать строчек. Особенно легко запоминают люди, которые сами пишут, но при этом почти неизбежны мелкие искажения: замены слов, пропуски... Если бы О. М. обнаружил такие искажения, он мог бы, наверное, сказать, что доставил стихи в органы человек, слышавший, а не записавший их, и таким образом обелить того единственного человека, которому он разрешил их записать, да еще в первом варианте. Но для такой проверки у О. М. не хватило самообладания. Хорошо было нам задним числом в Воронеже обсуждать, что следовало сделать и как надо было поступить. Теперь я часто слышу рассказы о том, как смельчаки ловко обкручивали следователей и задавали им жару... Не плод ли это позднейших размышлений о том, что надо делать и как поступать?..

Равнодушие О. М. объяснялось и другим: он вовсе не жаждал обличить предателя и не очень верил, что у него

будет для этого время. Мы жили в мире, где всех «таскали туда», требуя, чтобы они информировали власть о наших мыслях и настроениях. Таскали женщин, красивых и некрасивых, предназначая совсем иные функции для красоток и дурнушек и соблазня их не одинаковыми, а разными наградами. Таскали людей с биографическими и психическими изъянами — одного пугали тем, что он сын чиновника, банкира или офицера, а другому сулили ласку и покровительство... Таскали тех, кто боялся потерять службу или хотел сделать карьеру, и тех, кто ничего не хотел и не боялся, и тех, кто был готов на все... Таская, преследовали не одну только цель добывания информации. Ничто не связывает так, как общее преступление: чем больше запачканных, замешанных, запутанных, чем больше предателей, стукачей и доночиков, тем больше сторонников у режима, мечтающих, чтобы он длился тысячелетия... И когда всем известно, что «таскают», само общество, люди теряют способность общаться, связи между ними ослабевают, каждый забивается в свой угол и молчит, а в этом — неоценимое преимущество для властей.

Они взвыли к сыновним чувствам Кузина: «Ваша мать не вынесет, если мы вас арестуем»... Он отвечал, что желает смерти своей матери, и собеседник был ошеломлен таким бессердечием. Это он грозился распустить слухи, что «мы вас завербовали и вы не сможете смотреть в лицо людям»...

Лева Бруни, художник, чистейший человек, наш общий любимец, всегда являлся на их вызовы с опозданием — не прийти не смел никто, хотя вызовы были не официальные, чаще всего по телефону, как у Кафки. Его упрекали за опоздание, а он отвечал: «Я всегда засыпаю, когда у меня неприятности»... Мою подругу, хорошеньюку тогда девчонку, еще в двадцатые годы останавливали на улице и умыкали, разыгрывая похищение Европы... Чего только не делали...

Приглашали людей обычно не на Лубянку, а на специально содержавшиеся с этой целью квартиры. Отказывающиеся держали там часами, бесконечно долго, предлагая «подумать». Из вызовов тайны не делали: они служили важным звеном в системе устрашения, а также способствовали проверке гражданских чувств — упрямцев брали на заметку и при случае с ними расправлялись. Согласившимся облегчили служебную дорогу, и в случае сокращения или чистки они могли рассчитывать на доброе отношение отдела кадров. Людей для вызова всегда хватало — ведь подрастали новые поколения.

У каждого поколения была своя реакция на предложение сотрудничать с органами. Старшие страдали оттого, что со страха дали подпись хранить разговор втайне. Из моих знакомых только Зощенко отказался подписаться под таким документом. Следующие поколения даже не понимали, чем такая подпись предосудительна. Отбоявались они совсем другим способом: «Если б я что-нибудь знал, я бы сам к вам пришел, но я и узнать ничего не могу — кроме службы никуда не хожу...». Все эти рассказы идут от тех, кто отказался «сотрудничать». Сотрудничеством у нас называлось все на свете... Но какой процент отказывался? Этого учесть нельзя. Надо думать, что их количество увеличивалось в периоды ослабления террора. Кроме людей, принуждавшихся к «сотрудничеству», были толпы добровольцев. Доносами заваливали все учреждения. Доносы стали бедствием. Перед Двадцатым съездом я сама ссыпалась, как инспектор Министерства просвещения, приславший в Чувашский пединститут, где я работала, просил на собрании преподавателей перестать писать доносы и предупреждал, что анонимные вообще считаться не будут. Так ли это? Неужели их действительно не читают? Мне что-то не верится...

На почве вызовов у людей развились две болезни: одни подозревали во всяком человеке стукача, другие боялись, что их примут за стукача. Совсем недавно один поэт вздыхал, что у него нет стихов О. М. Я предложила дать ему список, но он пришел в ужас: «Вдруг я подумаю, что он выманивает список для Лубянки! Шенгели, когда я предложила дать ему те же стихи, счел своим долгом подробно мне рассказать, как его десятилетиями вызывают и мучают. В 34 году, когда О. М. уже находился в Воронеже, ко мне явился Маргулис, наспущенный и мрачный: «Скажите, это не я?» Он пришел узнать, не его ли мы считаем виновником ареста, а он никогда даже не слыхал стихов, которые инкриминировались, и вообще был добрым другом. Я это сказала, и у него словно горя с плеч скатилась.

Мы не раз останавливали людей, которые слишком вольно разговаривали: «Бог с вами! Что вы делаете? За кого вас

примут, если вы будете так разговаривать». А нас уговаривали ни с кем не встречаться. Вот Мишенька Зенкевич, например, он учил меня пускать к себе только тех, кого знаешь всю жизнь, но я ему весьма резонно отвечала, что и те люди могли превратиться совсем в не то, чем они были в начале жизни. Так мы жили, и поэтому мы не такие, как все.

Такая жизнь даром не сходит. Все мы стали психически сдвигнутыми, чуть-чуть не в норме, не то, чтобы болымями, но не совсем в порядке — подозрительными, залгавшимися, запутавшимися, с явными задержками в речи и подозрительным, несовершеннолетним оптимизмом. Годятся ли такие, как мы, в свидетели? Ведь в программу уничтожения входило и искоренение свидетелей.

Адъютант

«Стансы» из «Воронежских тетрадей» появились так: некто Длигач напечатал в одном из толстых журналов стихи, в которых обещал распознать классового врага по одному только звуку его лиры. В этих стихах упоминалось «Слово о Полку».

С Длигачем мы познакомились в Киеве в середине 20-х годов, когда куча молодых журналистов так задурила голову идиоту редактору местной газеты, что он согласился напечатать несколько статеек О. М. В центре это уже было невозможно. Жена Длигача, прозрачная беляночка, из тех, что всегда трогали О. М. кончила ту же гимназию, что я. Жили они неподалеку от моих родителей, и, приезжая в Киев, мы часто встречались с ними. Через несколько лет Длигач очутился в Москве, в редакции «Московского комсомольца» с О. М. Работа у него не ладилась, московские лихачи затирали провинциала. Однажды Длигач прибежал к нам сияющий — наконец-то ему повезло: он нашел оброненное письмо своего врага, одного из руководителей газеты. Это было типичное письмо деревенского парня, ушедшего в город на заработки. Родным, знакомым, друзьям, сверстникам и соседям кланяется. Мамаше сообщает, что начальство его, слава Богу, любит и поощряет. Без милости и без работы он не останется. А там, гляди, устроится попрочнее, заслужит награду, ему комнатку дадут и возьмет он к себе кого-нибудь из братишек, чтобы и его в люди вывести.

Письмо было вполне человеческое, и в нем перечислялись личные интересы ответственного комсомольского газетчика, а на это он права не имел. Мало того, мальчишка упоминал Бога — это комсомольским вождям не разрешалось. Даже такие отработанные сочетания, как «слава Богу», считались данью религии. Парень явно жил двойной жизнью и говорил на двух разных языках. В какой момент переходят они с языка учрежденческого и высоко идеологического на язык домашний? Самый крупный из наших драматургов* все мечтал написать пьесу о двуязычии и об этом критическом моменте. Но он принадлежал к старшему поколению и поэтому замысла своего не осуществил. А руки у него чесались и он все спрашивал: «Когда это бывает? На улице или уже дома?..» Через много лет к этой теме подошел другой писатель, гораздо моложе⁴¹, рассказав о заседании сельсовета. У него мужики переходили на казенную речь по звонку председателя, открывавшего собрание.

Длигач готовился вовсю использовать находку — письмо двуязычного идеолога комсомольской газеты, чтобы разоблачить своего врага перед высшим начальством. Он пришел к нам похвастаться своей удачей и показал письмо О. М. Тот выхватил его и бросил в печку.

Поведение Длигача типично для той эпохи — конца двадцатых и начала тридцатых годов. В борьбе за чистоту идеологии начальство всячески поощряло «мужественных разоблачителей», которые, «невзирая на лица», обнаруживали «пережитки» и остатки старой психологии у своих сослуживцев. Репутации лопались, как мыльные пузыри, а разоблачители карабкались вверх по служебной лестнице. Каждый из деятелей, поднимавшихся в те годы, хоть разок да использовал этот прием, то есть разоблачение своего начальника. Иначе как займешь его место? Письмо могло сослужить Длигачу большую службу, но, к нашему удивлению, до него дошли доводы О. М., и он покинул нас печальный, но не рассерженный, хотя его надежды на лучшее будущее сгорели в печке. А может, все-таки он рассердился, потому что после этого инцидента мы не видели его несколько лет.

* Эрдман. (Примечание автора.)

Длигач снова появился уже на Фурмановом переулке зимой 33/34 года. Привела его Диночка, оставленная нам в наследство Яхонтовым, крошечная актриска, маленькая, нелепая, но очень милая женщина. Вспомнили письмо: Длигач благодарил О. М. за то, что он спас его от низости. Он быстро втерся в доверие, старая комсомольская история перестала поминаться — чего только не творили мальчишки в те времена, нельзя же преследовать их всю жизнь за один поступок...

В 33 году Длигач вертелся и возле Безыменского, устраивая через него какие-то свои газетные делишки. Он то и дело предлагал О. М. посоветоваться относительно разных дел с Безыменским: О. М. кипел еще историей с Саргиджаном и Толстым...

Почти перед самым арестом Длигач уговаривал О. М. пойти к какой-то прокурорше, приятельнице Безыменского, чтобы рассказать ей, что послужило поводом к пощечине Толстому. Не знаю, что означало это шебуршение, но мне известно, что О. М. прочел Длигачу стихи о Сталине.

Наутро после ареста, очень рано, нам позвонил Безыменский. Я объяснила — конечно, иносказательно, но этот язык был понятен всем, — что случилось ночью. Безыменский присвистнул и повесил трубку. Ни до этого, ни после он никогда нам не звонил. Что ему рассказывал Длигач про О. М.? Может, он прослыпал что-нибудь об аресте и позвонил, чтобы проверить? Но от кого мог он узнать об этом? Кто об этом знал? Ведь подписал ордер Ягода, а времени после увоза О. М. прошло слишком мало — сдали ли несколько часов, чтобы успел распространиться слух. Почему он позвонил?

Последний раз я видела Длигача у нас в передней на Фурмановом переулке в день, когда я вернулась со свидания в кабинете следователя. Длигач ушел добывать деньги, которые я с него потребовала, и больше не вернулся. Когда Диночка собралась к нам в Воронеж, Длигач устроил ей страшную сцену, требуя, чтобы она отказалась от своей затеи. Диночка возмутилась, и они расстались. Не помня себя от удивления, Диночка рассказывала нам в Воронеже про неожиданную истерику своего возлюбленного и про разрыв их отношений, длившихся, кажется, несколько лет. После войны до меня дошло, что Длигач повесился. Это был испуг во время кампании против «космополитов». Храбрость Длигача не отличалася.

О. М. не искал предателя. Он говорил, что виноват во всем сам — в наши дни нельзя искушать людей. Недаром Бродский — тот, который сидел в кресле при аресте О. М., — просил как-то О. М. не читать ему опасных стихов, так как он будет вынужден о них донести... «Не Длигач, так другой», — с поразительным равнодушием говорил О. М. Это я прожужжала ему уши относительно Длигача. Мне очень хотелось все свалить на эту блоку, потому что все другие варианты были действительно непереносимыми. Гораздо легче оклеветать ничтожного Длигача, чем заподозрить какого-нибудь настоящего человека, которого мы считали другом. И все же я не уверена, что доносчиком был он.

Во время следствия имя Длигача не упоминалось. Быть может, берегли агента, но возможно и другое: стукачи, перечислявшие, кто нас посещает, не встретились с Длигачом, потому что он обычно заходил днем с Диночкой, а она вечером бывала занята в театре и вообще дичилась наших знакомых и предпочитала заставлять нас одних. Стукачи же всегда информировали органы о всех посетителях — проектор направлялся не на одного человека, а на весь его круг. И в нашем случае — Христофорович знал почти всех, кто у нас бывал.

Способен ли был Длигач с голоса запомнить шестнадцать строчек? Я никогда не слыхала, чтобы он повторял услышанные с голоса стихи. Стихотворение о Сталине О. М. прочел при нем только один раз и, вопреки своему обычью, в присутствии другого лица, художника Тышлера. Имя этого художника на следствии не вспыльвало — следователь его не называл. А самого существенного мы восстановить не смогли: в каком варианте слышал Длигач это стихотворение — с «мужикоборцем» или без. Скорее всего — без. Тышлер бывал у нас редко, он зашел к нам незадолго до ареста, когда первый вариант был уже совсем отставлен. А единственный человек, которому О. М. разрешил записать стихи, имел первый вариант, но, судя по всей жизни, этот человек вне подозрения. Может, кто-нибудь похитил у него эти стихи? Предположение не лишено эффектности, но, по-моему, пути передвижения из каждого дома в органы были гораздо более примитивными.

Поведение Длигача после ареста О. М. можно объяснить трусостью или знаменитой болезнью — страхом быть принятным за стукача. По своей биографии он больше всех подходил к этой роли, но в том-то и ужас, что этим занимались люди, от которых никак нельзя было этого ожидать. Сколько в этой профессии насчитывалось вполне приличных дам и юношей из хороших семей — им ведь всякий доверится! — или мыслящих, болеющих за науку и искусство людей, проникающих в самую душу, тонкими, умными, изящными разговорами. И к этой роли они подходили несравненно лучше, чем символапый Длигач!.. А в конце концов, Бог с ним. Он лишь жалкая букашка, которой довелось жить в страшное время. Разве человек действительно отвечает за себя? Даже поступки, даже характер его — все находится в лапах у эпохи. Она сжимает человечка двумя пальцами и выжимает из него ту каплю добра или зла, которая ей потребна.

Еще одна проблема: когда стали известны органам стихи о Сталине? Они были написаны осенью 33 года, арест произошел в мае 34 года. Может, после пощечины Толстому власти активизировали слежку, порасспросили агентов и только тогда узнали про стихи? Или они пролежали целых полгода без движения? Последнее кажется немыслимым... А Длигач появился у нас довольно поздно — среди зимы — и втерся в доверие к весне.

И последний вопрос: виновата ли я, что не повыговарила всех друзей и знакомых и не осталась с глазу на глаз с О. М., как делало большинство моих совремниц, хороших жен и матерей? Мою вину умаляет только то, что О. М. все равно бы вырвался из-под присмотра и прочел недопустимые стихи — а с нашей точки зрения, все стихи недопустимы — первому встречному. Режим самоубуздания и самоареста был не для него.

О природе чуда

Винавер, которому часто приходилось ходить на Лубянку, первый узнал, что вокруг дела О. М. что-то происходит: «Какая-то особая атмосфера — суeta, перешептывания...». Оказалось: дело внезапно пересмотрено, новый приговор — «минус двенадцать». Все это в неслыханных темпах — пересмотр занял не то день, не то несколько часов. Сами темпы свидетельствовали о чуде: когда наверху нажималась кнопка, бюрократическая машина проявляла удивительную гибкость.

Чем сильнее централизация, тем эффективнее чудо. Мы радовались чудесам и принимали их с чистосердечием восточной, а может, даже ассирийской черни. Они стали частью нашего быта. Кто только не писал писем в высшие инстанции на самые металлические имена? А ведь такое письмо является, так сказать, прошением о производстве чуда. Грандиозные груды писем, если они сохранятся, — настоящий клад для историка: в них запечатлелась жизнь нашей эпохи в гораздо большей степени, чем во всех других видах письменности, потому что они говорят об обидах, оскорблениях, ударах, ямах и капканах. Но чтобы их разобрать и выловить из-под словесного сора мелкие крупицы реальности, все же понадобится сизифов труд. Ведь и в этих письмах мы соблюдали особый стиль и утонченную советскую вежливость и говорили о своих несчастях на языке газетных передовиц. А если только взглянуть на эти кипы писем «наверх», можно безошибочно констатировать, что в чудесах ощущалась насущная потребность, иначе говоря, жить без чудес было невозможно. Надо только иметь в виду, что писавших, даже если чудо совершалось, подстерегало горькое разочарование. К этому просители не были подготовлены, хотя народная мудрость издавна утверждает, что чудо лишь мгновенная вспышка, не дающая никаких результатов. Что оставалось в руках после осуществления трех желаний? Во что превращалось утром золото, полученное ночью от хромоногого? Глинная лепешка, горсточка пыли... Хороша только та жизнь, в которой нет потребности в чудесах.

История с О. М. открыла целую серию передававшихся из уст в уста историй о чудесах, грянувших сверху, как гром и благодетельная гроза, если только гроза бывает благодетельной... А все-таки нас чудо спасло и подарило нам три года воронежской жизни. Как обойтись без чудес? Нельзя...

Е. Х.⁴² сообщил нам телеграммой о замене приговора. Мы показали ее комендантцу. Он поклонился: «Улита сядет... Пока до нас доползет, снег выпадет...» И он напомнил, что пора выбираться из больницы и добывать себе зимнее жи-

лье: «Смотрите, чтобы из щелей не дуло. Зима здесь знаяя».

Официальная телеграмма пришла на следующий день. Комендант, может, и не сразу бы оповестил нас о ней, но еще до его прихода на работу нам рассказали о ней две девушки — телеграфистка и регистраторша, с которыми О. М. уже научился болтать и шутить. Мы пошли в комендантскую и долго ждали «хозяина». Он при нас прочел телеграмму и не поверил своим глазам: «А может, это ваши родственники бахнули?.. Я почем знаю!» Два-три дня он не выпускал О. М. — и это стоило нам немало волнений — пока, наконец, не дождался подтверждения из Москвы, что телеграмма действительно правительственная, а не сфабрикована ловкими родственниками ссылочного, сданного ему под расписку. Тут он вызвал нас и предложил выбирать город. Решать пришлось сразу — на этом комендант настаивал: ведь в телеграмме не было сказано, чтобы он дал нам подумать. «Безотлагательно!» — сказал он, и мы выбрали город под его взором. Провинции мы не знали, знакомых у нас не было нигде, кроме двенадцати запрещенных городов, да еще окраин, которые тоже находились под запретом. Вдруг О. М. вспомнил, что биолог Леонов из Ташкентского университета хвалил Воронеж, откуда был родом. Отец Леонова работал там тюремным врачом. «Кто знает, может, еще понадобится тюремный врач», — сказал О. М., и мы остановились на Воронеже. Комендант выписал бумаги. Он так был потрясен всем оборотом событий, то есть быстротой, с которой было пересмотрено дело, что проявил неслыханную любезность — дал казенную подводу, чтобы перевезти вещи на пристань. Частных лошадей мы бы не достали, их уже смывала недавно проведенная коллективизация. В последнюю минуту комендант пожелал нам всяческой удачи — вероятно, он даже счел нас чем-то вроде «своих», потому что оказался одним из первых свидетелей чуда, которое гранило «сверху»...

Зато с кастеляншей все вышло наоборот — она потеряла к нам всякое доверие. Кем должен быть человек, чтобы с ним так поступили? — прочла я немой укор в ее глазах. Она, конечно, не усмнилась, что у О. М. должны быть какие-то страшные заслуги, иначе «они» не выпустили бы его из своих лап, как не выпускают никого, кто однажды попался. Опыт у кастелянши был глубже, чем у нас, а в нашей стране у людей развелся странный, но вполне понятный эгоцентризм — они соглашались доверять только собственному опыту. Ссыльный О. М. был для нее «своей» — через три года она уже узнала, что далеко не всякий ссылочный может быть зачислен в категорию «своих» и что при ссылочных тоже надо держать язык за зубами; неожиданно помилованный — для чердынца ссылка в Воронеж кажется раем — он стал для нее чужим и подозрительным. Думаю, чердынские ссылочные после нашего отъезда долго припоминали, не наговорили ли они чего опасного при нас, и обсуждали, не были ли мы специально засланы, чтобы разведать их мысли и тайны. Сердиться на кастеляншу не приходится — я бы так же чувствовала себя на ее месте. Потеря взаимного доверия — первый признак разъединения общества при диктатурах нашего типа, и именно этого добивались наши руководители.

И для меня кастелянша была «чужой», и я не понимала многое, что она говорит. У нас такие исковерканные правовые представления, мы так одичали и такими полубезумными глазами смотрим на мир, что между «познавшим» и «еще не познавшим» в сущности не может быть никакого контакта. В тот памятный год я уже кое-что понимала, но еще недостаточно. Кастелянша утверждала, что их всех совершенно незаконно держат в ссылке. Вот она, например, к моменту ареста уже отошла от работы в своей партии и, когда ее забрали, являлась частным лицом: «И они это знали!» А я, дикарка или одичавшая от всего, что мне вливали в уши, не понимала ее доводов: если она сама признает, что принадлежала к разбитой партии, почему же она обижается, что ее держат в ссылке? По нашим нормам так и полагается... Так я тогда думала. «Наши нормы», как я полагала, ужасны, жестоки, но такова реальность, и сильная власть не может терпеть явных, хотя бы не действующих, но все же потенциально активных противников. Государственной пропаганде я поддавалась очень тую, но все же и мне успели внушить дикарские правовые идеи. А Нарбут, например, оказался еще более восприимчивым учеником нового права. С его точки зрения нельзя было не сослать О. М.: «Должно же государство защищаться? Что же будет иначе — ты пойми...» Я не возражала. Стоило ли спорить

и объяснять, что не напечатанные и не прочитанные на собрании стихи равносильны мысли, а за мысли ссылать нельзя. Только собственное несчастье раскрывало нам глаза и делало нас чуточку похожими на людей, да и то не сразу.

Мы никогда испугались хаоса, и вдруг все сразу взмолились о сильной власти, о мощной руке, чтобы она загнала в русло все взбаламученные людские потоки. Этот страх — самое, пожалуй, стойкое из наших чувств, мы не оправились от него и поныне и он передается по наследству. Каждому — и старым, видевшим революцию, и молодым, которые еще ничего не знают, кажется, что именно он станет первой жертвой разбушевавшейся толпы. Услыхав вечно повторяющееся: «Нас первых повесят на столбе», я вспомнила слова Герцена про интеллигентию, которая так боится народа, что готова ходить связанный, лишь бы с него не сняли пут.

Выровнять ход истории, уничтожить ухабы на ее пути, чтобы не было никаких неожиданностей, а все текло гладко и планомерно — вот чего мы хотели. И эта мечта психологически подготовила появление мудрецов, определяющих наши пути. А раз они есть, мы уже больше не решались действовать без руководства и ждали прямых указаний и точных рецептов. Ведь лучшего рецептурного списка ни я, ни ты, ни он составить не может, значит, нужно благодарить за тот, что нам предложен сверху. Отважиться мы можем только на совет в каком-нибудь частном случае: нельзя ли, например, разрешить различные стили при выполнении социального заказа в искусстве? Очень хотелось бы... Слепцы, мы сами боролись за единомыслие, потому что в каждом разногласии, каждом особом мнении нам снова чудилась анархия и неодолимый хаос. И мы сами помогали — молчанием или одобрением — сильной власти набирать силу и защищаться от хулителей — какой-нибудь кастелянши, поэта или болтуна.

Так мы жили, культивируя свою неполнценность, пока на собственной шкуре не убеждались в непрочности своего благополучия. Только на собственной шкуре, потому что чужому опыту мы не верим. Мы действительно стали неполнценными и ответственности не подлежим. А спасают нас только чудеса.

К месту назначения

Нам выправили документы со штампом самого влиятельного в Союзе учреждения, и мы получили право получать билеты в воинской кассе по литерам. Неслыханное по тому времени преимущество, так как все пристани и вокзалы были забиты черной и мрачной толпой, по неделям дежурившей у билетных касс. Дикая толпа, как во времена переселения народов или эвакуации... Пристани в Перми. На мешках, на тряпье, около деревянных сундуков с грубым лакированным рисунком расположились целыми семьями, а то и родами, изнеможенные, оборванные люди с почерневшими лицами. На берегу в вырытых в песке ямках тлели угли: здесь варили детям похлебку. Взрослые жевали корки. Их везли мешками про запас — хлеб еще выдавался по карточкам. Это раскулачивание столкнуло с места огромные толпы, и они метались по стране в поисках, где лучше, и еще вздыхали по своим заключенным избам.

Раскулаченных в полном смысле слова здесь не было. Тедавно уже были высланы и доставлены по месту назначения. А эти — периферийные волны — снялись с места в момент испуга и заколебдили по всей стране — куда угодно, только прочь из родной деревни... Мы пережили много насилиственных и несколько добровольных переселений народов: гражданская война, голод в Поволжье и на Украине, раскулачивание, эвакуацию. Вплоть до войны вокзалы были еще забиты снявшимися с места крестьянами. После войны опять потянулись люди, но уже не в таких количествах, в поисках хлеба и работы. Всякая семья, где сохранился мужчина, рвалась туда, где, по слухам, был хлеб и спрос на рабочие руки. Иногда переселялись организованно, то есть предварительно завербовавшись. Узнав на опыте, что хрен редьки не слаще, бросались обратно или искали нового прибежища. Всякое насилиственное переселение — классов и национальностей — вызывало волны добровольных беженцев. Дети и старики мерли, как муhi.

Насильственные переселения — это нечто абсолютно новое, принесенное нам двадцатым веком. А может, египетскими или ассирийскими завоевателями? Я видела поезда с бродягами с Украины и с Кубани, а потом запертые теплушками эвакуированных на Дальний Восток. А потом поезда с немцами Поволжья, татарами, поляками,

эстонцами... И снова теплушки с зёками. Они шли всегда — иногда гуще, иногда реже... Как-то иначе уезжали дворяне из Ленинграда. Это было второе по счету массовое переселение, следующее после раскулачивания. В 35 году мы поехали с Анной Андреевной на Павелецкий вокзал проводить тщедушную женщину с тремя крошечными мальчиками, направлявшимися на постоянное жительство в Саратов. Пропили с них, конечно, не в городе — такие беспомощные и в районе проживут!.. На вокзале нас встретила обычная картина — ступить некуда, все забито до отказа, но люди сидели не на мешках, а на довольно приличных чемоданах и сундучках, еще пестревших старыми заграничными наклейками. Пока мы пробивались на платформу, нас все время останавливали какие-то знакомые старухи — внучки декабристов, бывшие дамы, просто женщины. «Я не знала, что у меня столько знакомых дворян», — сказала Анна Андреевна... — «Почему подняли крик? Зачем им загромождать Ленинград?» — сказала, поджимая губы, Таня Григорьева, беспартийная большевичка, жена Евгения Эмильевича, младшего брата О. М.

Я читала, что в истории каждого народа есть пора, когда люди «блуждают и телом и духом»*. Это — молодость народа, творческий период его истории, отзывающийся на многое столетий и двигающий его культуру. И мы тоже «все как будто странники» и не только «как будто», а на самом деле. Принесут ли наши блуждания те плоды, которые нам обещал мыслитель? Нам было слишком тяжело, чтобы сохранить веру в эти плоды. И все же я не могу сказать — нет. Всем народом, сверху донизу, мы чему-то научились, хотя успели при этом уничтожить свою культуру и попросту одичать. Но то, чему мы научились, кажется, очень существенно.

Из Чердыни в Казань мы ехали двумя пароходами, и пересадка в Перми дала нам нелегко. Ждать парохода пришлось почти целые сутки. В гостиницу нас не пустили, потому что у О. М. не было паспорта: его отняли при аресте. Паспорт — это привилегия горожанина, деревня у нас беспартийная, так что чайкам в гостиницу не попасть, так же, как и потерпевшим катастрофу горожанам. Впрочем, в гостиницах никого нет мест и для обычновенных граждан.

Присесть на пристани не удалось из-за толпы добровольных переселенцев. Мы бродили весь день до полного изнеможения по городу. Сидели на скамейках в чахлом городском саду и удивлялись бледности благополучных городских детей. Вспомнили, как нас по временам поражала желтизна кожи московских малышей — ею знаменовалась каждая очередная массовая голодовка. Последний раз это случилось в тридцатом году, когда мы вернулись из Армении в Москву сразу после повышения цен и нездолго до введения карточек и распределителей. Это Москва расплачивалась за раскулачивание. К нашему отъезду она уже оправилась, но Перми еще пугала своим видом. Обедали мы в ресторане, но посидеть там не могли, потому что возле каждого столика выстраивалась очередь: продуктов в городе не было, а рестораны все же давали какую-то суррогатную еду.

Пропорционально усталости у О. М. нарастало возбуждение, и я ждала рецидива. Два путешествия — с конвоем и без — затягивали и обостряли травматическую болезнь. Ночью он рвался к окочечку МГБ в городе — мы еще бродили по улицам — «поговорить о деле...» Дежурный отговарял его: «Уходи прочь... Целыми днями к нам такие лезут...» О. М. вдруг опомнился: «Как магнит это проклятое окошко», — сказал он, и мы пошли на пристань. Время это Анна Андреевна называет еще сравнительно вегетарианским, но «магнит» действительно уже притягивал все умы. Был ли человек, которому не мешались допросы, следствия, «дела» и расстрелы?.. Среди очень молодых, пожалуй, такие счастливцы были...

Пароход пришел среди ночи. Получив билеты в воинской кассе, мы, чувствуя себя не ссылыми, а по крайней мере любими детьми грозного учреждения, пробрались через рокочущие толпы и почти первыми взошли на сходни. Толпа провожала нас завистливыми и недружелюбными взглядами: народ не любит привилегий, а ведь толпа на пермской пристани не знала, как нам досталась эта приятная возможность купить билет не в общей очереди. В нашу эпоху ненависть к привилегированным особенно обострилась, потому что даже кусок хлеба всегда бывал привилегией. По крайней мере десять лет из первых сорока мы

пользовались карточками, и даже на хлеб не было никакой уравниловки — одни не получали ничего, другие мало, а третьи с излишком. «У нас голод,— объяснил нам в тридцатом году, когда мы вернулись из Армении, Евгений Яковлевич.— Но сейчас все по-новому. Всех разделили по категориям, и каждый голодают или ест по своему рангу. Ему выдается ровно столько, сколько он заслуживает...» А один молодой физик — это было после войны — поразил свою тещу: он ел бифштекс, полученный в распределителе тестя, и похваливал: «Вкусно и особенно приятно, потому что у других этого нет...» Люди гордились литерами своих пайков, прав и привилегий и скрывали получки от низших категорий. По ironии судьбы нам полагалось на этот раз получать билеты в самой «чистой» из всех привилегированных касс, и это вызывало всеобщую зависть. А вид у нас к тому же был далеко не начальственный, и это усугубляло раздражение. «Начальничек», то есть тот, кто при случае может и в ряло заехать, всегда импонирует нашей толпе — ничего с этим не поделаешь... Зато пароходная челядь всю дорогу отлично нас обслуживала — эти знали наизусть, что первыми на сходни попадают только достойные люди: такие «главные», что даже на чай не дают...

Мы заняли двухместную каюту, гуляли по палубе, принимали ванну — ехали, как настоящие туристы. Именно в эти пароходные дни произошел подлинный перелом в болезни О. М. Я даже удивилась, как мало ему нужно, чтобы очнуться — трое суток тишины и покоя. Он сразу затих, хорошо спал, читал Пушкина, разговаривал и к тому же совершенно спокойно. Между прочим, он ослепил меня цельным фейерверком сопоставлений «чудотворных строителей»⁴³ и доказывал, что принятые у нас суждения по аналогии не выдерживают критики. Впервые за последние недели он говорил на эту тему, позабыв о себе и о том, что его могут растоптать. Когда дошло до этого, я поняла, что болезнь побеждена. Недаром Эмма Герштейн называла О. М. феником, который, сгорев, возрождается из кучки пепла. Слуховые галлюцинации, припадки страха, возбуждение и эгоцентрическое восприятие действительности больше почти не возвращались; во всяком случае, он научился сам справляться с легкими рецидивами болезни. Но она еще не исчерпалась — на пароходе был только решающий перелом. До поздней осени оставалась повышенная чувствительность, утомляемость — он всегда легко уставал, так как сердце было у него непропорционально маленьким, а в то лето оно резко ослабело. Кроме того, я заметила несвойственную ему ранимость и уж совершенно чуждую интеллектуальную вялость. Читать он начал почти сразу, но активных занятий избегал, даже в Данте почти не заглядывал. Быть может, возвращение к полной жизни замедлилось, потому что в Воронеже его ждала новая неприятность — заболела я, сначала сыпным тифом, подхваченным на какой-нибудь пристани или вокзале. Народные бедствия всегда сопровождаются сыпняком, и у нас он не переводился до самого последнего времени. В больницах, обманывая статистику, название болезни заменяли цифрой — люди болели не сыпняком, а формой номер пять или шесть, точной цифры я не помню... Из этого тоже делали государственную тайну, чтобы враги социализма не догадались, чем мы болеем. После сыпняка я съездила в Москву и схватила там дизентерию. Она тоже была законспирирована и числилась под каким-то номером. Я попала вторично в инфекционные бараки, и лечили меня по старинке. Бактериофаг в бараки еще не проник, его придерживали для высших категорий больных. Одновременно со мной болел Вишневский, и только поэтому я узнала, что существуют новые лекарства, которые могли значительно ускорить мое выздоровление. Но и лекарства распределяются у нас по табели о рангах. Однажды я пожаловалась на это при одном отставном сановнике: всем, мол, такие вещи нужны... «Как так всем! — воскликнул сановник.— Вы хотите, чтобы меня лечили, как всякую уборщицу?» Сановник был человек добрый и вполне порядочный, но у него не сковырнулся набекрень мозги от борьбы с уравниловкой...

Хоть нам с О. М. полагалось лечиться по самому низшему разряду, мы оба выжили и начали свою трехлетнюю воронежскую «передышку»...

* Чаадаев (Примечание автора.)

Комментарий

Начальные главы воспоминаний Надежды Яковлевны Мандельштам (1899–1980), писавшихся ею в первой половине 60-х годов, публикуются по авторизованной машинописи с учетом позднейших помет, сделанных автором на полях зарубежного издания (Изд-во им. Чехова, Нью-Йорк, 1976 г.).

В кратком комментарии даны сведения, которые трудно найти в доступной справочной литературе, и тексты стихотворений, недостаточно известных широкому читателю.

Полный текст «Воспоминаний» готовится выпустить в свет изда-
тельство «Книга» в 1989 г.

1. Ночь с 13 на 14 мая 1934 г.

2. Суть инцидента состояла в следующем. Писатель С. П. Бородин (Саргиджан) учинил в доме Мандельштамов скандал и ударил Надежду Яковлевну. Требуя удовлетворения и не рассчитывая на добровольное извинение Бородина, О. М. обратился в товарищеский суд писателей, который, под председательством А. Н. Толстого, постановил, что в конфликте виноваты обе стороны. По воспоминаниям Е. М. Тагер, О. М., дав пощечину, произнес: «Я наказал палача, выдавшего ордер на избиение моей жены». Эпизоды из биографии Мандельштама 10-х годов и главы «Четвертой прозы» дают основание предположить, что поэт ждал от А. Толстого ответного вызова на дуэль. Обостренное мандельштамовское чувство чести и достоинства писателя легко могло показаться его современникам нелепым и архаичным.

3. Искусствовед, в те годы — муж А. А. Ахматовой.

4. Сын А. А. Ахматовой и Н. С. Гумилева.

5. Поэт, связанный с О. Э. Мандельштамом дружескими отноше-
ниями.

6. «Домашнее» название стихотворения О. Э. Мандельштама:

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Зашихай меня лучше, как шанку в руках
Жаркой шубы сибирских степей —

Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сняли всю ночь голубые песьи
Мне в своей первобытной красе.

Уведи меня в ночь, где течет Енисей,
Где сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.

7. Шуточное стихотворение начала 1934 г.:

Какой-то гражданин,
Не то, чтоб слишком пьяный,
Но, может быть, в нетрезвом виде —
Он
В квартире у себя установил орган.
Инструмент заревел. Толпы жильцов в обиде.
За управдомом шлют. Тот гневом обуян.
И тотчас вызванный им дворник Себастьян
Бах — бах —
Машинку смял,
Мошеннику дал в зубы.
Не в том беда, что Себастьян — грубый,
Но плохо то, что бах какой-то грубый.

8. По-видимому, строки из стихотворения Н. С. Гумилева «Да, я знаю, я Вам не пара...»:

И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь узкой щели,
Утонувшей в густом плюще.

9. Из финала «Стихов о неизвестном солдате» О. Э. Мандельштама:

...И в кулак зажимая истертый.
Год рождения — с гурьбой и гуртом,
Я шенчу обескровленным ртом:
Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году — и столетья
Окружает меня огнем.

10. Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гиры, верны,

Тараканы смеются усница
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеших вождей,
Он играет услугами полулюдей,

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь барабанит и тычет,

Как подковы, кует за указом указ —
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него, то малина
И широкая грудь осетина.

11. Биолог, друг О. Э. Мандельштама, автор воспоминаний о нем.

12. А. А. Ахматова в Москве часто останавливались в доме своей подруги Н. А. Ольшевской, жены писателя-юмориста В. Е. Ардова.

13. Литераторовед, автор книги «Новое о Мандельштаме».

14. Ссылка О. Э. Мандельштама в Воронеж в 1934—1937 гг.

15. Секретарь Н. И. Бухарина.

16. Первая жена А. М. Горького.

17. В то время секретарь Президиума ЦИК.

18. Советская писательница.

19. Литовский и русский поэт. В те годы — полномочный представитель Литвы в СССР.

20. Из «Поэм без героя» А. А. Ахматовой.

21. Граф Александр Христофорович Бенкendorff — начальник тайной полиции России в пушкинскую эпоху.

22. См.: О. Мандельштам. «Разговор о Данте». М., Искусство, 1967, стр. 41.

23. Литераторовед, исключенный в конце 50-х гг. из Союза писателей за доносительство.

24. Жена поэта-акмеиста В. И. Нарбута.

25. Младший брат О. Э. Мандельштама.

26. Старший брат Н. Я. Мандельштам.

27. Жена И. Г. Эренбурга.

28. Хозяйка дома в Тарусе, где в 60-е годы снимала комнату Надежда Яковlevna.

29. Беломорско-Балтийский канал, носивший имя И. В. Сталина, в основном строился силами заключенных. Это строительство описывалось в тогдашней прессе как образцовый пример перевоспитания трулом.

30. В стихотворении «День стоял о пяти головах. Сплошные пять стуков...»:

На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко,
Чтобы двойка конвойного времени парусами неслась хорошо.
Сухомятная русская сказка! Деревянная ложка — ву!
Где вы, трое славных ребят из железных ворот Г.П.У.

Чтобы Пушкин славный товар не пошел по рукам дармоедов,
Грамотеся в шинелях с наганами племя пушкиноведов —
Молодые любители белозубых стицков...

31. Литературный критик-рапповец.

32. Пьеса Н. Эрдмана.

33. В «Стансах» («Я не хочу среди юношей тепличных...»)

34. Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастия и дыма,
За смолу кругового терпения, за совестный деготь труда.

35. Из «Восьмистиший»:

Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то четырех задыханий
Придет выпрямительный вздох.

36. «Воронежские стихи» имели три раздела, носивших «домашнее» название «Воронежские тетради».

37. Н. Е. Штемпель, единственный друг Мандельштамов в последний год воронежской ссылки. Ее воспоминания опубликованы в ж. «Новый мир», № 10, 1987 г.

38. «Домашнее» название стихотворения:

Холодная весна. Голодный Старый Крым,
Как был при Врангеле — такой же виноватый,
Очарки на дворах, на рубищах заплаты,
Такой же серенький, кусающий дым.

Все так же хороши рассеянная даль,
Деревья, почками набухшие на малость,
Стоят, как пришльые, и вызывает жалость
Вчерашней глупостью украшенный миндаль.

Природа своего не узнает лица,
И тени страшные — Украины, Кубани —
Как в туфлях вояжных голодные крестьяне,
Калитку стерегут, не трогая кольца.

39. «Домашнее» название стихотворения «Квартира тиха, как бумага...»

40. Литераторовед, автор статьи о Мандельштаме в 1-м издании «Литературной энциклопедии».

41. А. Яшин «Рычаги».

42. Е. Я. Хазин, брат Надежды Яковлевны.

43. Ср. «Медный всадник» А. С. Пушкина восхищение Евгения, обращенное к памятнику Петра: «Добро, строитель чудотворный...»

Публикация и комментарий
С. ВАСИЛЕНКО и Ю. ФРЕЙДИНА

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ НАДЕЖД

Интервью с Олегом ПОПЦОВЫМ,
секретарем МО СП РСФСР



— Олег Максимович, думаю, вас не удивит, что разговор о вашем новом романе «И власти плен...» я буду тесно увязывать с темами перестройки, темами, волнующими всех нас. Ваш роман не совсем обычный, он из тех редких произведений, которые исследуют проблемы не только управления, но и власти как таковой. В романе много «начальников». Но нет никакой схемы, нет деления на плохих и хороших организаторов производства. В центре вашего внимания — система управления, не так ли? Ведь ваш главный герой — Анатолий Васильевич Метельников, генеральный директор машиностроительного объединения, герой, в сущности, положительный, истый профессионал, человек дела, отдающий ему все свои силы, — у него нет склонности к перерождению, нет того, о чем мы часто читаем в газетах. Нет острых углов? По-моему, суть его глубже. Вы рассматриваете «управленца» в системе управления. Важно отметить, что Метельников (как и его коллеги) ориентирован только «вверх», он не чувствует своей зависимости снизу, он отравлен бесконечными расчетами, обдумыванием «расстановки сил», людей разных «команд». Судьба такого «управленца» еще недавно целиком зависела от перевеса в иерархической структуре. Вы это хотели показать?

— И это тоже. Я не писал производственный роман. Подобное деление литературы мне чуждо. Психология власти — вот что интересно. Метельников — единица власти. Ее носители запрокидывают голову, выматривая, что там, на вершине пирамиды. Почему их так мало интересует основание? Потому что они вне власти этого основания. По-своему парадоксальная ситуация. Этажи власти растут, никак не соотносясь с возможностями фундамента. Метельников как тип сформировался в эпоху застоя. И хотя он противник времени, его создавшего, он и его дитя. В этом пагубность, драматизм. Он понимает ситуацию. Он не из тех, кто идет на поводу. Но его бунт строго дозирован им самим. Он всякий раз предупреждает себя: «Надо быть реалистом». Странная эта формула «всеоправдывающей» реальности.

— Так все-таки Метельников противник бюрократической власти или ее союзник?

— Он ее часть. А часть всегда живет по законам целого. Часто мы спрашиваем себя: «Как же так? Я знал его приличным человеком. Он обрел власть и превратился в свою противоположность». Навинное суждение. Положительность нашего знакомого, если она и была, растратилась на достижение власти. Да и то вопрос: растратилась ли? У власти иной нравственный реестр. А может быть, ему надо было освободиться от своей положительности, предать ее. И только тогда он получил доступ наверх. Но это уже ближе к тому, как вы говорите, о чем пишут газеты. Административно-командная система, которая годами утверждалась в нарушение ленинской концепции социализма, привела именно к управлению пирамидой, к классической системе власти — авторитарной, «культурой». Эта система не была открытым, она возникала всегда, когда государству было удобно. Одни из всегдаших признаков бюрократической системы — это желание управленцев иметь под своим началом как можно больше подчиненных. Вообще, если рассуждать здраво, всякий вышестоящий аппарат численно должен определяться конкретным производителем. Примерно по этому принципу сейчас наработана кооперативная модель в агробольшинстве «Ново-Московский». Его взгляивает Василий Александрович Стародубцев. Но это единичные примеры. Пока же в жизни все как раз наоборот. Чем больше у меня подчиненных — тем я значимее. У тебя семья человек аппарата, у меня — четырнадцать, следовательно, я весомее. Начальник любого ранга должен иметь подчиненных. Иначе какой он начальник. Такова логика. Непосредственные производители рассуждают иначе: чем меньше над нами начальства, тем мы самостоятельнее, следовательно, значимее. Наверху нам нужен лишь тот, кто способен преумножить нашу прибыль: предприятия, колхоза, НИИ. Пусть он имеет процент с этой прибыли, но пусть он будет нам подотчетен. Да-да, управленческий аппарат на службе у производителей, а не наоборот.

Наши управленческие принципы называют: «демократический централизм», а не наоборот, скажем, «центральный демократизм» или что-то в этом роде. Только потому, что демократия первична, а централизм вторичен. Иначе говоря, он возможен равно на столько, на

сколько позволяет ему демократия. А у нас все обернулось вверх ногами. Централизм возобладал.

Бюрократ смотрит на перестройку с точки зрения того, «что я потеряю». Массы, общество, наоборот, что они в результате демократизации обретут. Как мы видим, полярное понимание одного и того же процесса. С точки зрения бюрократа, лучше зависеть от каприса начальника, чем от своеобразия массы. В системе начинают действовать свои законы, имеются свои «правила игры», потому, шагая «вверх», Метельников усваивает и учитывает эти обстоятельства. Он старается действовать в интересах производства, интересах дела, но незаметно для себя принимает все те ограничения, которые налагает на него система.

Демократия вне самодисциплины, вне сопоставления своих интересов с интересами общества (не в пустыне живем) очень близка к анархии. Но вот что парадоксально. Раб в этом смысле этalon самодисциплины. Я умышленно довожу суждения до абсурда. Разве не мы сами не позволяли себе говорить правду? Разве не мы сами способствовали колхозству, истолковывая его иначе, — оберегать авторитет руководителя. Разве не мы сами не позволяли себе выступать против абсурдных кадровых назначений, оять же находя для себя объяснение: главное — стабильность, здоровая преемственность. Само поколение нынешних пятидесятых в громадной степени сделало себя «пропущенным» поколением. Оно ждало, что его заметят и позовут. Не позвали. А сейчас, призванное под знамена перестройки, оно дорабатывает свой общественный ресурс.

Демократия — это торжество человеческого достоинства, а точнее, здоровая среда для его торжества. Диктат бюрократизма практически свел на нет авторитет профессионализма. Я не устаю это повторять. Никакие ограничительные сроки выборности не дадут принципиального результата, если вместе с отработавшими свои сроки депутатами, членами райкомов и обкомов, секретарями всех районов и достоинств не будет меняться на 80 процентов аппарат власти. Именно длительность пребывания в управленческой структуре рождает закоснелость аппарата, чувство безнаказанности.

Трагедия профессионального человека в бюрократической системе заключается в том, что его судьбу решают не по профессиональным критериям; я могу сказать подчиненному: «Ты мне не нравишься, потому что ты вспыльчив, категоричен, ты слишком много о себе думаешь, мне наплевать, что ты отличный специалист, что ты честен, что ты умен. Ты меня не устраиваешь — и баста!» Неудобные люди отсеваются. Метельников понимает драматизм этой ситуации, чувствует, что не столько он вживается в систему власти, сколько она поглощает его, моделирует по своему усмотрению. Этот компромисс в интересах дела, говорит Метельников и на что-то закрывает глаза, принимает союз чуждого ему человека. «Потом, потом, там, наверху, я отыграюсь...» Вот суть человеческой трагедии Метельникова.

— Бюрократизм выступает как мертвая сила...

— Если бы так! Эта «мертвая сила» — живой организм, живущий по своим законам, воспроизводящий себя, «плодоносящий» всеми своими клетками. Не какой-то группой клеток, как каждой клеткой.

Однажды я вдруг понял, почему так устойчив и плодовит бюрократизм. Он не зависит от практики. Завод сорвет план. Колхозы не соберут урожая, на бюрократе это никак не отразится, он получит свою зарплату. Только с той разницей, что сначала он сочинил бумаги о фактуре общественно-политического подъема, благодаря которому возросло и прибавилось, а теперь с той же ретивостью — о потере чувства ответственности тех, кто сорвал, не смог, не выполнил, не учел... Эта сила тоже реагирует на перестройку, реагирует, как в физике: всякое действие рождает равное ему противодействие. Верней, противодействие откликается на действие...

— Вы несколько раз употребили выражение «правила игры». Да, люди играют, так по правилам, но можно ведь изменить «игру» и ее правила. Что мы сейчас и делаем — от форума XIX Всесоюзной партконференции до каждого на своем рабочем месте. Вы отлично изобразили правила той «игры», еще вчера незыблевой: «В кругу своих, и не только своих, Метельникова считали человеком Голутвиным, а самого Голутвина — человеком Дармотова...» Вот правила

«игры», которая могла быть и честной, но, к сожалению, лучше была приспособлена для таких, как Рашидов в Узбекистане или Бодиол в Молдавии. Метельников как раз из честных, но вскоре и он вынужден признаться: «Связь, которые ты настроил порвать, не есть твои связи, они часть общей паутины... Любое твое движение натягивает, рвет, дырявит эту общую паутину и создает неудобство, сквозняк на территории, тобой не учтенных и тебе неведомых». Жалко Метельникова. Как он мучается перед собственным юбилем: «Где посадить министра? Рядом с собой? Выделить слишком — плохо, не выделить — еще хуже». Вот почти гоголевский вопрос: «О чём думает юбиляр накануне своего юбилея?» Подводит итоги своей жизни? Как бы не так! «Он сравнивает свой юбилей с остальными юбилеями. Его мучает номенклатурный синдром...» Это ужасно. И еще ужасней: «Я горжусь, что меня называют человеком Голтутина. Грех стыдиться своего происхождения». Вот происхождение! Никакой сатиры в вашем романе, а какой гротеск! Апофеоз Системы.

— Когда я работал над романом «И власти плен...», я даже ощущал тяжесть от сознания, как непросто будет завтра все происходить. Ведь административно-командная система формировалась в течение нескольких поколений.

— Часто случается, что дочь противоречит матери, незаметно для себя усваивает ее привычки...

— Не будем тешить себя иллюзиями, что новое поколение власти сразу окажется свободным от наследия прошлого.

— Человек, поставленный в благоприятные условия, становится лучше. Как изменить условия? Мне кажется, роман наталкивает на мысль, что структура власти должна быть пронизана двойной зависимостью: сверху и снизу. Взаимодействие двух полюсов обеспечивает движение... Дело не только в том, чтобы «хорошие кадры» выявлять сверху и продвигать их. Нужен встречный поток. То есть выборы — снизу вверх!

— Все должно вернуться на круги своя. Народ творит власть, а не власть — народ. Мы никак не выговорим главной беды: мы продуцировали извращенный социализм, наставили на нем. Социализм, который не может накормить свой народ, должен спросить себя: как жить дальше? И то, что у партии хватило смелости такой вопрос поставить в упор, делает ей честь. Трудный, тяжкий вопрос. И ответ на него не может быть простым.

Мы длительное время развивались вне общественного мнения. Оно как бы присутствовало: «По просьбе трудящихся рабочий день пятого ноября переносится на девятое», но не более того. Бюрократия создавала иллюзию общественного мнения, всенародного единства. В выборах участвовало 99, 98 процентов. Эти самые проценты участвовали в голосовании, в ритуале погружения бюллетеней в урну, но никакого выбора люди не делали. Шли на поклон к власти, которая должна стоять перед народом навытяжку, хотя бы уже потому, что народ эту власть кормит, и она, власть, в отличие от народа, живет безбедно на всех уровнях. Все потому же: аппарат власти превратился во власть аппарата, при которой депутаты не более чем буфер должны удержать недовольство народное, дабы последнее не раздражало аппарат. Свидетельствуя как депутат районного Совета шести созывов. Поэтому лозунг «Вся власть Советам» крайне актуален.

— Исчезновение мнимого единства многие принимают за разрушение единства. Так, Нина Андреева в «Советской России» усмотрела в этом нарушение наших принципов...

— Вопрос по существу: какого единства мы желаем? Вокруг чего? Помните у Ленина? — прежде чем объединиться, надо размежеваться, обострить взгляд на предмет спора, каковой являются революционная партия, ее тактика и стратегия.

Ничего быть против перестройки попросту невыгодно. Можно угодить под колесо истории. Что характерно для статьи Андреевой. Там — как рефрен — через абзац: «Во имя перестройки, во благо перестройки, судьба перестройки». Терминология привычная, революционная, а цели совсем другие. Дескать, надо дозировать демократию — во благо перестройки. Гласность не значит вседозволенность, низвержение авторитетов, расшатывание принципов стабильности, преемственности, государственности. Иначе говоря, не всякому положена гласность. Сказали однажды: культ личности — это плохо, и достаточно, зачем душу бередить? Дескать, это дело специалистов, руководителей, народу и незачем знать всего. Народ должен работать, а все эти крикуны, печать то есть, расшатывают устои, раскачивают корабль, отрывают народ от дела, нервируют, балантиют его. А это мешает главному — перестройке. Ясно? Делом, делом надо заниматься, а не митинговать. Но, увы, все не так явно, как кажется в выступлениях подобного рода. У этих сил нет позитивной программы, это верно, но програмmaticкая концепция все-таки есть, ее можно назвать охранительной, а точнее, неизогретной.

Тут тоже разделение труда, если Нина Андреева касается наших нравственных устоев, принципов, то действия Минфина, например, с его новой шкалой прогрессирующего налога для кооператоров, которые практически еще не встали на ноги, — это материализация идей Андреевой в экономике. Ибо единственным результатом этой инновации было бы уничтожение кооперативов, — когда они начнут заявлять о самороспуске, и тогда значительные отчисления в Государственный бюджет, на которые рассчитывает Минфин, перестанут поступать вообще (прекрасно, что на сессии Верховного Совета, когда принимался Закон о кооперации, был дан бой удушающей тактике бюрократии). Как только экономический профессионализм заявляет о себе, некомпетентность, бюрократизм переходит в атаку, размахивая политическими лозунгами. Тот самый 18-миллионный бюрократизм, который пожирает 40 млрд. рублей в год на свое бюрократическое времяпровождение, что в 2 раза больше, чем среднеголовой прирост национального дохода.

Я как-то обратил внимание на одну деталь. У нас перестали

строить дома с парадным входом. И это не изыск архитектуры. Это, если угодно, жизненная философия. Всюду вход со двора. Раньше это называли черным ходом. А если вдруг и есть парадный, то его тут же закрывают, делают недоступным.

Существуют люди, масса людей, которые всякую светлую идею атакуют с черного хода. Это от страха, от понимания, что открытый всем и вся вход лишает их защитных гарантов, скрывающих их грехи, непрофессионализм, догматизм и неумение. Они и говорят во всеуслышание: «Устроили проходной двор. Твердой руки на вас нет».

Недавнее выступление академика Р. Сагдеева, опять же в «Известиях», меня в определенной степени потрясло. Он говорил о нашем отставании в космических исследованиях. Странно, но именно космос был предметом нашей гордости, нашего немногочисленного лидера. И так куда ни повернись. В сельском хозяйстве — отстав, в легкой промышленности — отстав, в машиностроении, приборостроении. Отстав, отстав, отстав. «И только в области балета мы впереди планеты всей». Правда, самая читающая страна, как мы вдохновенно заявляем, по производству бумаги стоит на 68-м месте в мире. Следующей за ней идет Танзания. Трудно произнести эти слова, но мы живем в отсталой стране. Это горькая плата за словесно-бумажный мифически прогрессирующий социализм. Плата за вранье, поставленное на конвейер, ставшее даже не формой выражения, а образом мысли управляемого аппарата целого государства. Плата за преследование всякого поднимавшего свой голос против лжи, неминуемо обвиняемого в очернительстве нашей страны, переполненной социальным оптимизмом действительности, которая лишь в некоторых случаях, в силу объективных обстоятельств, частично переживала временные трудности («трудности роста»), когда развитий социализм отличался от простого только тем, что это был социализм с постоянной нехваткой продуктов питания. Кстати, о лжи, она не только продукт периода застоя, просто в период застоя она сложилась как вероисповедание. «Не хватает книг? Подумавшие! Разве это беда? Это счастливый голод, товарищи, в самой читающей стране в мире». О мясе и талонной системе распределения продуктов такого не скажешь, но все равно — доза социального оптимизма необходима — назовем ее прогрессивной формой торговли.

— Как-то мне один крупный работник министерства сказал, что он целиком за перестройку, перестройка нужна везде и всюду, кроме того министерства, где он служит, там все в порядке. Главное, по его мнению, народ должен лучше работать, а мы должны лучше управлять. Ему и в голову не приходило, что сила общества — в саморегуляции, росте самоуправления, что надо менять управлять, больше доверять. Власть не творит законы жизни, власть либо подчинена им, либо им враждебна.

— Самостоятельность, предпринимчивость, творческая работа — все это отbrasывает лишнее, мешающее. Мало разбудить спящих, надо вернуть им рычаги социализма. Были у нас прекрасные достижения. Кто станет отрицать, что в космос первым вырвался советский человек, что идея мирного сосуществования — это наша прегротиния.

— Общие государственные достижения часто заслоняют нужды отдельного человека. Разрыв стал слишком очевиден, и мы заговорили о проблемах человеческого фактора.

— Да, прежняя наша система привычно призывала к жертвенности во имя будущего, державные достижения «опережали» простые жизненные интересы людей. И это было правомерно. В экстремальных условиях надо было выжить, выстоять и победить. Беда в другом, что мы отчетливо понимаем сейчас. Авторитарный режим, некомпетентность любые условия делают экстремальными. Пока идея демократии не проникнет во все области нашей жизни, у нас не будет гармонического развития. Общество должно обрести гарантии против восстановления бюрократической пирамиды. Нельзя принять закон, запрещающий холуистство, лесть, а жаль. Общество, утратившее навыки личностной независимости, благородства, непременно ищет доступные заменители этим качествам. У нас отождествились такие понятия, как уважительность и лесть. Это пагубно для общества. Давайте говорить прямо: лесть — тоже взятка, дуковая взятка, преступно быть снисходительным к любому холуистству на любом уровне.

— Перестройка разбудила все общественные слои. Разбудила и разные тенденции в литературной жизни, это отражается и в критических «боях»...

— Хорошо бы проснуться однажды и увидеть, что мы имеем совершенно объективную критику и т. д. Но давайте спросим себя: возможно ли такое? В литературе не может быть торжества полного объективизма. Ни среди писателей, ни среди критиков, ни среди читателей. Существование творческих пристрастий и «групповщины» — совершенно разные вещи. Нельзя, борясь с болезнью, убивать весь организм. История литературы изобилует примерами возникновения разных направлений, творческих поисков...

— Группировки, творческие «измы» преходящи, они — как первая ступень ракеты, которая, отслужив свою службу, отпадает. Так, Блок «больше» символизма, Маяковский «больше» футуризма, Есенин — имажинизма, но никак нельзя из этого делать вывод, что сами творческие группы предсудительны...

— Это естественно, что расходятся в своих творческих симпатиях писатели, но в одном они должны выступать вместе: в борьбе против бездарности, спекуляции, серости. Талант исчисляется единицами, а группы рекрутируют под свои знамена сотни, полагая, что можно задавить численностью. А бюрократизм в литературе, искусстве? В свое время Сталин, уделявший большое и своеобразное внимание литературе, стремился не без успеха направить ее в нужное ему русло. Здесь не место говорить о его политике «кнута и пряника», о его преступлениях в этой области, я хочу лишь подчеркнуть, что он

«простегну» литературную жизнь к административно-командной системе, навязав литературе такую же иерархическую модель. Сталин не мог допустить, чтобы творческая «ниша» оставалась свободной, самостоятельной. Он «делегировал» в искусство своим полпредам — наивно полагаят, что это сводилось к чиновникам от литературы, к их инфильтрации в творческие союзы. Нет, дело обстоит глубже. Бюрократизм в литературе выступал в форме социального заказа. Не того, который изнутри, который дело совести, писательского призыва, чести, а демагогического, — «пусть не Лев Толстой, зато наш». Дескать, настоящий идеальный борец в литературе не может быть бездарным! Всяческо поощрялся идеальный конформизм — таким путем внедрялся бюрократизм в литературную «нишу» и постепенно вытеснял из нее творческую свободу. То же происходило и в науке. Что такое несамостоятельная наука? Наука без дара предвидения? Она становится обслуживающей. «Идея» сначала появляется у политика, у высокопоставленного функционера, он вызывает ученого и говорит: ну-ка, обоснуйте. Или внушиает писателю: ну-ка, вспомните в образах... Как это так? Мы столько лет строим БАМ, а до сих пор нет «Войны и мира» о БАМе! Столько лет действуют «бригады коммунистического труда», а нет выдающихся произведений о них!.. Такой извращенный утилитарный подход к литературе привел к тому, что появились не только государственные, но и ведомственные премии — от милиции до Министерства земледелия. В чем выражается их компетенция в этой области? Что вышло бы, коли Союз писателей стал давать премии за открытия в области электронники?

— Вообще литературные премии не должны присуждаться от имени государства. Это ведь тоже «И власти плен...». Самому умному «оценщику» не приходит в голову, что такой-то роман может оказаться завтра нужней, чем сегодня. А через сто лет — еще нужней. «Бесы» Достоевского, например, сегодня читаются куда глубже и основательней, чем сто лет назад. Так когда ему давать премию?

— У бюрократизма очень своеобразное видение прогресса, он оценивает развитие общества с одной точки зрения — длительность своего пребывания у власти. Наше общество практически было лишено периода буржуазной демократии. Ленин это прекрасно понимал. Торжество административно-командного стиля руководства — это, помимо прочего, путь за отсутствие демократического опыта! В социализме странным образом повторился монархический бюрократизм. Но это к слову. В этом досточтимый драматизм ситуации.

Очищение литературной жизни от бюрократизма означает возможность для общества, для партии, для Центрального ее Комитета услышать незамутенную, незапограммированную информацию. Партия должна быть заинтересована в этом состоянии творческой свободы. Андрей Битов справедливо заметил, что, возможно, впервые после Ленина мы имеем такое политическое руководство, которое говорит на одном языке с творческими силами страны. Советская интеллигенция чувствует, что ее слышат.

— Тем более, что творческая интеллигенция готовила перестройку...

— Это хотя и приятно для всех нас, но все-таки излишнее обобщение. Творческая интеллигенция неоднородна. И если мы только что признали факт экспансии серости, лжелитературы, то недооценивать воздействие этой массы как тормозящего фактора нельзя. Лучшие представители творческой интеллигенции готовили перестройку. Это неоспоримый факт. Но это в такой же мере относится к части наших хозяйственников, практиков, ученых, медиков. Разве идея переброса северных и сибирских рек не было активной оппозиции в Академии наук СССР, среди партийных и советских работников во всех областях, на территории которых должен был осуществляться этот разорительный проект века? Все это было. Писатели явились хорошим дополнением к этим силам. Они сыграли роль вечевого колокола. И иначе и быть не могло, ибо наше дело — спасение.

Во всем мире — и не без чувства зависти — заговорили о действенном влиянии творческой интеллигенции на общественно-политическую обстановку в стране.

— Кстати, о борьбе. Более тридцати лет назад мы отказались от ошибочной формулы Сталина, что классовая борьба обостряется по мере продвижения к социализму. Но продолжали при этом настаивать, что постоянно обостряется идеологическая борьба. Так она «обострялась» десятилетиями. Идеологическая борьба была похожа на бокс по переписке. Противники никогда не сходились в непосредственном единоборстве. Мы давали отпор кому-то, призывали перейти к наступательной контрапропаганде. Создавалась и насаждалась образ врага. Это при отсутствии гласности-то... Идейная борьба неизбежна, но она должна быть действительной, а не воображаемой. Идейная борьба против, скажем, лидеров общества «Память» куда реальней, чем «борьба» с покойным Гербертом Маркузе, чьи книги у нас не издавались.

Новое мышление свидетельствует о том, что опять инициативы в области идеологии переходят к нам. Что судьбы социализма зависят в первую очередь от нас. Что наше стремление к миру обретает глобальное воздействие. Вам, Олег Максимович, пришлось участвовать в творческой встрече в Дании, которая раньше была немыслимой или мыслимой лишь как конфронтация...

— Никогда не следует увеличивать число своих врагов. Противники бывают очень и очень разные. И времена бывают разные. Нельзя в мирное время жить по законам войны, по законам экстремальной ситуации. Если новое мышление не обновляет мировоззрение, то зачем оно? Сейчас мы вернулись к прерванному процессу десталинизации, но давайте не забывать, что когда процесс был при Брежневе прерван, то это по-разному отразилось в обществе. Одни приспособились, другие разочаровались и замкнулись в себе, третьи были отторгнуты, противопоставили себя руководству, четвертые вообще перешли в стан наших противников... Одной из логик был образ врага. Наши действительные противники за рубежом отлично использовали

ошибки нашего «застойного» периода. Они старались обострить противоречия между творческой интеллигенцией и политическим аппаратом, всячески подталкивали обе стороны. В силу разных причин многие наши соотечественники оказались за рубежом, я прежде всего имею в виду литераторов.

Ну а встреча была. Есть такое местечко под Копенгагеном — Лузаня (то ли курорт, то ли полукурорт). Вот там мы и собрались. Мартовское непостоянство погоды. С утра морозит, к вечеру спреканий снег. Утром ветер и солнце. Собственно, красот океанических мы не видели. Четыре дня шла крайне насыщенная дискуссия.

Состав нашей делегации: Г. Бакланов (руководитель), Ф. Искандер, М. Шатров, И. Иванова, Г. Белая, В. Дудницев, Я. Засурский, С. Есин, Ю. Афанасьев, А. Герман и я.

Не стану перечислять датчин, их было слишком много. Сейчас, по прошествии времени, об этой встрече уже много сказано и написано. Все видится отчетливее. Думало, что в своем главном ощущении об этой встрече все мы, ее участники, едини — встреча была значима и полезна. Она была, и я хочу это подчеркнуть, датско-советской встречей, вошедшей в историю наших контактов как датская инициатива. На встречу, помимо нас, были приглашены наши соотечественники, эмиграция достаточно многочисленная, которые тоже, как и датчане, и мы, имели возможность высказаться по главной теме дискуссии «Перестройка в СССР и роль творческой интеллигенции». У всех был равный регламент выступлений, все участвовали в полемике. Кто же представлял эмиграцию? В. Аксенов, Е. Эткинд, К. Любэрский, А. Гладилин, В. Ваниль, А. Синявский, Л. Коневел, Р. Орлов, М. Розонова и еще ползала. Сейчас я бы не смог ответить, чего было больше в этой встрече: проблем литературы, искусства или проблем политики.

Лично для себя я видел эту дискуссию как дискуссию политическую, общественную. Вряд ли воззрения на литературный процесс, скажем, Галины Белой могли изменить взгляд Ефима Эткнда либо Василия Аксенова. Ее доклад мог повлиять на воззрение датской, скандинавской аудитории, как, скажем, и выступление каждого из нас. Эта смешанность аудитории делала встречу достаточно сложной. Взяв в руки микрофон, ты должен думать, кому именно ты адресуешь свои слова, ибо одни, скажем, эмигранты, были уверены, что все знают о Советском Союзе, хотя это и было заблуждением, другие (датчане) ждали максимальной информации, разумеется, искренней и насыщенной.

Кронид Любэрский, один из лидеров правозащитного движения в эмиграции, в наших беседах, а их было у меня с ним достаточно, все время повторял: «Только не думайте, что мы чего-то не знаем».

Это было свидетельством боязни эмиграции, что она может потерять авторитет объективного первоисточника, как, естественно, она себя преподносит на Западе. Дискуссия показала, что мы сразу заявили такой объем искренности, открытости, критического анализа, что это неминуемо поставило эмиграцию перед вопросом: «О чём в таком случае говорить им?»

Наши датские коллеги сделали несколько очень интересных докладов, среди них я выделил бы доклад Клауса Ридберга, крупнейшего датского писателя, по стилистике, эпичности, красоте языка он напоминал скандинавскую сагу, дающую прекрасное понимание о традиции культуры, о единстве культуры и природы, о глубоком чувстве предназначенностя малого народа, создавшего прекрасную культуру.

Конечно, участие в дискуссии эмиграции делало встречу другой, и надо отдать должное нашим датским коллегам, которые старательно оберегали атмосферу диалога на протяжении всей встречи.

Эмиграция неоднородна, она расслоена, заражена групповыми противоборствами. Наши бывшие сограждане удивительно сохранили себя в своих групповых пристрастиях, даже покинув Отечество. Есть правые, есть левые, есть центристы. Бессспорно, эмиграция внимательно следит за процессами, происходящими в Советском Союзе, тотчас расслабляясь в своем отношении к этим событиям. Скажем, В. Максимов, окружение журнала «Континент», и тот же Андрей Синявский, Мария Розонова, Лев Коневел — это две разные эмиграции, с разным восприятием своего Отечества. Не случайно последних среди эмигрантов называют «красными».

Кстати, выступление на встрече Марии Розоновой было примечательным, она призывала к объединению всех сил, которые поддерживают возрождение советского общества в борьбе против тех, кто хочет затормозить процесс как в СССР, так и среди эмиграции. Слушая Розонову, я думал, что эти люди, бесспорно талантливые, выросшие в недрах нашей духовности, иного отечества не обрели. Им невозможно признаться себе, что они более не значимы там, на своей Родине, ибо тогда зачем жить.

В этом же духе было выдержано выступление Льва Коневела. Видимо, мы правильно выбрали тот своих докладов: доброжелательный, откровенный, не ставящий своей задачей разделить, а скорее, наоборот, показать, сколь труден путь обновления в нашем обществе, переосмысление прошлого и настоящего. С этой точки зрения доклад Юрия Афанасьева был принципиально значим, ибо он контурно очертил круг возможного сотрудничества в будущем.

Верно выбранный тон разговора предопределил многое, всякая агрессивность сразу выпадала из общего фона и вызывала даже не наш отпор, а прежде всего реакцию зала, реакцию неприятия идей конфронтации. Это заставляло наших оппонентов перестраиваться.

Конечно, встреча не была благостной, прогулочной, она имела свою острую драматурию. Скажем, после доклада Галины Белой (она выступала первой), точного, многогранного, дающего объективный срез нашей литературы 60—80-х годов, доказательно раскрывшего суть тезиса: «Литература застойного периода не есть застойная литература», доклад Ефима Эткнда, профессора Сорбонны, выглядел более запрограммированным, нацеленным на вызов. Той самой

доброжелательности, без которой не может быть диалога, докладу Эткнида не хватало.

Делегация тотчас прореагировала на это смещение акцентов. И Григорий Бакланов в полемике с Эткнидом напомнил, что злоба не врачает душу, а разрушает ее. Не хочется верить, что в таком духе вы рассказываете своим студентам о культуре вашего отечества...

Фактически эти первые доклады были демонстрацией двух подходов к полемике, двух стилей. Эткнид поспешил сделать разъяснение, что его не так поняли. И в дальнейшем тон полемики стал более корректным. Я не согласен с той точкой зрения, что были моменты, когда диалог оказывался на грани срыва, и якобы миротворческая миссия Юрия Афанасьева спасла «Рим». Этого мне не показалось. Очень умно, остро и чувственно говорил Афанасьев о нашей ответственности за прошлое, о нашей неотделимости от него. В этом тоже была мудрость. Когда встречаются соотечественники, чувства играют не последнюю роль.

Аксенов сейчас преподает в Вашингтоне, и его доклад о полифоническом романе был похож на лекцию в студенческой аудитории, видимо, он как бы не успел переодеться в другой костюм. В. Аксенов был верен себе, и в эмиграции он желает сохранить за собой право мастера, теоретика полифонического романа. В своем докладе он анализировал творчество молодых, а никак не своих сверстников, которые, судя по всему, не очень признают его лидерство. Как только Аксенов сообщил, что в своем докладе он не будет касаться работ таких писателей, как А. Гладилин, В. Войнович, Гладилин (мы сидели рядом) насунулся и с этой минуты был настроен критически к докладу Аксенова.

Один тезис в докладе Аксенова был попросту абсурдным. Он буквально сказал: «И что естественно, проза деревенщиков органически вписалась в структуру застоя».

В частности, я отвечал Аксенову. Вся проза деревенщиков была бунтующей прозой, созданной «вопреки». В словах же Аксенова была маленькая месть деревенщикам, которые в середине 60-х годов лишили Аксенова триумфа, узвели читателей за собой, противопоставив холодной аксекновской иронии чувство сострадания и сочувствия боли народной. Читатель услышал эту боль и пошел за деревенщиками: В. Астафьевым, В. Беловым, Б. Можаевым, В. Распутним, Г. Абрамовым, оставил Аксенову узкую полосу читательского берега. Во время доклада В. Аксенова Л. Копелев бросил недовольную реплику: «Полифонический роман всем хорошо, кроме одного — его невозможно читать». Конечно, обстоятельства встречи диктовали тактику. Многие из нас буквально на ходу вынуждены были менять темы своих выступлений. Например, Наталья Иванова сделала отличную импровизацию на тему: «Литература и история». В аналогичном положении оказались Алексей Герман, Фазиль Искандер. Я тоже попал под колесо и буквально накануне стал обдумывать иной поворот разговора, а именно, как в СССР создается общественное мнение. До этого предполагалось, что я буду говорить лишь о проблемах молодежи. Конечно, эти изменения были не только приобретением, но и несли какие-то потери.

Жаль, что мы не затронули проблемы вхождения в нашу литературу нового поколения. Кстати, эмиграция за этим процессом следит.

В частности, доклад Андрея Синявского «Новое пространство прозы» был практически посвящен именно этой следующей волне нашей литературы. Он говорил о прозе В. Макарина, В. Пещуха, М. Кураева. Т. Толстой, оценив их работы, опубликованные в журнале «Новый мир», достаточно высоко.

И тем не менее перестройка колонны на марше была оправданной. Мы осознанно шли на вскрытие наиболее острых проблем. В дискуссии такого рода крайне важно лишить оппонента шанса на атаку.

— Значит, атака все-таки была?

— Дискуссия шла четыре дня, и ни на минуту ее накаленность, напряженность не ослабевали. Фактически в зале присутствовало три поколения эмиграции. Согласитесь, достаточный диапазон для различности взглядов на наше Отечество, да и скандинавская аудитория не однозначна. В этой связи вспоминаю одну пресс-конференцию в Швеции. Когда, выслушав наши ответы, шведский корреспондент, представляющий провинциальную газету, сделал неизбежное признание. «Дело в том, — сказал он, — что вся информация о вашей стране мы, как правило, черпаем из американских газет».

Все было: и желание поучать нас, и желание обличить нас, и даже желание усомниться в правдивости наших выступлений, как, впрочем, и в значимости социализма.

Это не было для нас неожиданным. Мы старались отвечать спокойно. Все наше прошлое: яркое, выстраданное, трагическое, оно наше, другого у нас нет. Мы положили свыше 20 миллионов в великую Отечественную. Мы понесли немерные жертвы от репрессий и тридцатые, в затем послевоенные годы. Память о тех и других для нас светла. Они умирали со словами веры в социализм, не устанем же помнить об этом. Мы будем совершенствовать, обновлять, очищать наше социалистическое общество. Мы будем нарабатывать веру в его идеалы, а не освобождаться от них. На том стоям.

В итоговой дискуссии Григорий Яковлевич Бакланов произнес точные слова, отражающие практически всю суть полемики и настроения наших бывших соотечественников: «Странное дело, у победы, как правило, множество родителей, а поражение всегда спрота».

Это была серьезная работа, которую мы постарались выполнить честно и ответственно.

Союз писателей СССР и его руководство были последовательны в поддержке самой идеи именно такой датско-советской встречи. Это было непросто. Стереотипы восприятия живучи. Но встреча и дискуссия на нее состоялись, и теперь мы все понимаем, что новое мышление сделало еще один шаг вперед.

Эмиграция складывалась по-разному, и отношение к ней не должно быть однозначным. Проникновение нашей культуры за рубеж 5. «Юность» № 8.

посредством переводческих институтов сопряжено с неминуемым участием в этом процессе наших бывших соотечественников. Это необходимо учитывать и здраво оценивать. Издательства консультируются с ними, советуются.

Упускать любую возможность позитивного влияния на эмиграцию не следует. Как не следует препятствовать их желанию посетить Родину. И если кто-то в эмиграции приветствует идеи перестройки, обновления, если кто-то среди них призывает к единению сил эмиграции, поддерживающих идеи перемена в нашем обществе, давайте заметим это и прятнем им руку. Они часть нашей культуры.

Каждый властелин своей судьбы. Кстати, в одной из дискуссий, словно бы подводя черту, Анатолий Гладилин сказал: «О чём мы спорим? Мы здесь писатели без читателей». Я лично не завидую такому признанию.

Р. С. — Олег Максимович, пока этот номер журнала набирался, прошла XIX Всесоюзная партконференция. Вы были на ней?

— Да, я был среди приглашенных.

— Ваше непосредственное впечатление?

— Впечатления? Я бы разделил их на три составляющие. Зал. Трибуна. Реакция на выступления за пределами зала. На мой взгляд, правомерен вопрос: насколько настроение зала соответствовало настроению партии вообще, насколько общественной страсти в нашем Отечестве? Зал, думаю, вырабатывал свое отношение ко многим революционным предложениям, звучавшим с трибуны, в ходе самих заседаний. Зал понимал, что это будет другая конференция, но чтобы в такой степени другая — он вряд ли ожидал. Отсюда и консерватизм восприятия. Его присутствие в зале было немалочисленным. Не могли не сказать и сбоя в процессе выборов делегатов (наша извечная страсть к благополучной статистике: «были просчеты, но в целом...», хотя и успокаивает, но не убеждает). На составе и настроении зала эти так называемые просчеты оказались бесспорно. В зале, конечно же, в подавляющем большинстве были сторонники перемен как таковых, люди, отчтливо сознавающие, что прежний путь завел общество в тупик. И тем не менее зал строго поделил свои симпатии и антипатии. Как понимают перемены — вот в чем вопрос. И это при том, что тезисы и сам доклад исключали половинчатое понимание процессов обновления. Но жизнь есть жизнь. Зал, конечно же, влиял на выступающих. И были, бесспорно, такие, кто подстраивался под настроение присутствующего большинства.

В этой ситуации умение оставаться самим собой на трибуне, сохранить право на независимость суждений требовало достаточного мужества. Не побояться не поиравиться залу и при всем том выступить прекрасно — с максимальной полнотой откровения, точностью жизненных наблюдений, осознавая, что за пределами зала движется, живет, страдает другой зал, имя которому — народ. Эти выступления учили конференцию, делали ее в полном смысле революционной. И таких выступлений было много.

Секретари обкомов, ЦК, крайкомов, поднявшиеся на трибуну конференции, критиковали прессу. Впрочем, не только они. Об этом стоит задуматься. Егор Кузьмич Лигачев сказал, что ЦК и редакционные коллегии газет, журналов сделают надлежащие выводы из присибиральных выступлений делегатов на этот счет.

С таким замечанием трудно не согласиться. И тем не менее я бы обратил внимание на одну деталь. Ни один из выступавших политических руководителей не критиковал свою республиканскую, областную, краевую прессу. Критиковали прессу центральную. Может быть, здесь причина в том, что в местах, а они количественно исчисляются даже не сотнями: «У нас в районе, области никаких перемен не происходит». Может быть, руководителей областей, краев пугает этот контраст между полной подчиненностью прессы, подавлением им, и прессой центральной, которая себе позволяет развивать гласность и отставывать в меру сил своих, невизирия на лица, первые шаги демократии в нашем обществе (сожалению, не минуя ошибок на этом пути). Вот где, на мой взгляд, коренятся проблемы.

Давайте раскроем газеты, журналы начала восьмидесятых годов, где прославлялись наши достижения, перевыполнения, когда лукавая статистика любой перекос или провал подавала как очевидный сдвиг. Почему не появлялись опровержения, под которыми бы стояли подписи членов бюро обкомов, крайкомов партии, которые бы опровергали эти публикации и сообщали, что Молдавия, скажем, получила знамя незаслуженно, что в это самое время там шел активный процесс разложения партийных и хозяйственных кадров. Что в ряде республик Средней Азии, Закавказья правила была коррупция, в которой были замешаны и руководители высших эшелонов власти. Почему огонь критики не адресован такого рода прессе? Меня, как коммуниста и как писателя, беспокоит эта проблема. В нашем обществе странным образом трансформировалась идея партийного влияния на средства массовой информации. Не влияние через представителей партии, работающих в прессе, а безропотная и бесповоротная подчиненность партийной прессы не партии, не партийной организации, а областному партийному начальству в персональном исчислении. Другой модели, по существу, не было, она нарабатывается сейчас. Я полагаю, что мои коллеги-журналисты могли бы сказать об этом на конференции. Не скажали. Жаль.

И еще одно наблюдение. У каждого есть свои симпатии и антипатии. Могут они быть и у политических лидеров. Однако замечу, что привязанности и пристрастия власти всегда опасны. Ибо людей, опекаемых ею, возможно, того не подозревая, она, власть, делает своей частью. И они, окрыленные этой попросту человеческой симпатией, ведут себя как сама власть и ее производство, и в культуре, и в литературе. И тут уже не до плорализма мнений.

А вообще, говоря словами Цезаря, «жребий брошен». Рубикон перейден. Назад пути нет. Надо работать во имя и во благо перемен.

Беседу вел Кирилл Ковальджи

Серебряный призер
«Юности» журнала
«Джойнт»
Иосиф Бродский.

Стокгольм. Декабрь. 1987

В начале декабря 1987 года, накануне вручения Иосифу Бродскому Нобелевской премии, мы встретились в Стокгольме в номере «Грандотеля», где я передал ему подарки: фотографии, относящиеся к ленинградскому периоду его жизни, еще «теплый» номер «Нового мира» с первой публикацией его стихов у нас, книгу Фазиля Искандера с памятной надписью и галстук Бориса Пастернака. К галстуку прилагалось письмо с изложением версии о том, что в этом галстуке Борис Леонидович получил в шведском посольстве в Москве диплом Нобелевского лауреата. Не знаю, поверил ли Иосиф этому преданию, но обрадовался он искренне. Бродский пригласил меня в Шведскую академию, где он произносил речь. Я воспользовался случаем и попросил его дать разрешение на съемку. Я понимал: то, что происходит в эти дни в Стокгольме, принадлежит нашей литературе и истории. Если я, режиссер, не сниму это на пленку, то никогда этого себе не прощу. С помощью одного из моих шведских друзей, Кристера Хольмгрена, я начал снимать Иосифа в дни его триумфа. Сейчас этот уникальный материал, из которого можно сделать картину о Бродском, находится в Москве, но лежит без движения. Киноначальники пока думают, нужен ли народу фильм о русском поэте, лауреате Нобелевской премии. И все-таки я рад, что материал существует. Верю, что когда-нибудь он пригодится.

Хочу познакомить читателей «Юности» с фрагментом интервью, которое я взял у Бродского после его выступления в «Культурцентре» Стокгольма.

Чтобы купить билеты на эту встречу, люди провели ночь на улице возле касс в спальных мешках. Свои стихи, так же, как и Нобелевскую речь, Иосиф читал по-русски. После выступления я привел его в небольшую гримерную за сценой, где уже была подготовлена камера.

А. С.: Изменился ли поэт Бродский со временем от первых стихов 60-х годов, от ленинградского цикла до сегодняшнего дня?

И. Б.: Думаю, что изменился. Должен был измениться. Время не проходит бесследно.

А. С.: Хотели бы вы приехать в Советский Союз? В нашей стране помнят вас и любят ваши стихи. Я надеюсь, что мы вас скоро увидим в России.

И. Б.: Честно признаться, я этого немного боюсь. А что касается надежды, то замечательный английский мыслитель Фрэнсис Бэкон сказал: «Надежда — это хороший завтрак, но плохой ужин».

А. С.: А на каком языке вы пишете стихи сейчас?



И. Б.: В основном я пишу стихи на русском, иногда — на английском. Но амбиций стать англоязычным поэтом у меня нет. Я по соображениям терапевтическим пишу стихи на английском. Дело в том, что когда живешь в определенной языковой среде, то испытываешь давление со стороны этого языка и соблазн написать на этом языке. Сильное сопротивление среде может кончаться для меня неврозом, и поэтому время от времени я этому соблазну поддаюсь.

А. С.: Вы жили в Ленинграде, совсем недалеко от того дома, в котором жил когда-то Альфред Нобель...

И. Б. (смеется): Действительно.

А. С.: А вот видите, как получилось...

И. Б.: Вероятно, это просто совпадение.

А. С.: Какую линию вы продолжаете в русской поэзии, кто ваши учителя?

И. Б.: Этот список довольно большой. Начиная с Кантемира, Державин, Баратынский, Александр Сергеевич, конечно, Вяземский. В двадцатом веке наиболее существенными для меня были Цветаева, Мандельштам, Ахматова, Пастернак, Заболоцкий, Клюев. Из послевоенного поколения — Слуцкий. А учителем моим всегда был Рейн.

А. С.: Евгений Рейн, один из самых преданных ваших друзей. Он очень много делает сейчас для того, чтобы в свое имя чаще появлялось на журнальных страницах в нашей стране.

И. Б.: Спасибо ему, но Рейн сам замечательный поэт, и пусть его энергия уходит на творчество.

А. С.: А как вы относитесь к вашим первым публикациям в Советском Союзе?

И. Б.: Сдержанно. На сегодняшний день это не совсем то, что я хотел бы видеть напечатанным. Это, как правило, стихи ранние. То есть это не самые главные стихи, которые я уже написал. Есть стихотворения более серьезные, я думаю, что с них и следовало бы начинать знакомить читателя.

А. С.: Я знаю, что готовится публикация в «Юности», возможно, она будет составлена по другому принципу.

И. Б.: Я рад слышать об этом.

А. С.: Что вы хотите сказать молодым поэтам, которые начинают свой путь в русской литературе?

И. Б.: Что говорить... Надеюсь, они понимают, какую дорогу они себе выбрали.

Александр СТЕФАНОВИЧ

Стокгольм — Москва

Иосиф БРОДСКИЙ

Я обнял эти плечи...

Я обнял эти плечи и взглянул на то, что оказалось за спиной, и увидел, что выдвинутый стул сливался с освещенною стеной. Был в лампочке повышенный накал, невыгодный для мебели истертой, и потому диван в углу сверкал коричневою кожей, словно желтой. Стул пустовал, поблескивал паркет, темнела печка, в раме запыленной застыл пейзаж, и лишь один буфет казался мне тогда одушевленным. Но мотылек по комнате кружил, и он мой взгляд с недвижимости сдвинул, и если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом, покинул.

1962

В деревне Бог...

В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освящает кровлю и посуду и честно двери делит пополам. В деревне он в избытке. В чугуне он варит по субботам чечевичу, приплюсывает сонно на отне, подмигивает мне, как очевидцу. Он изгороди ставит, выдает девицу за лесничего и, в шутку, устраивает вечный недолет

объездчику, стреляющему в утку. Возможность же все это наблюдать, к осеннему прислушиваться свисту, единственная, в общем, благодать, доступная в деревне атеисту.

1964

Рождественский роман

Евгению Рейну

Плынет в тоске необъяснимой Среди кирпичного надсада Ночной кораблик негасимый Из Александровского сада, Ночной фонарник нелюдимый, На розу желтую похожий, Над головой своих любимых, У ног прохожих. Плынет в тоске необъяснимой Пчелиный хор сомнамбул, пьяниц, В ночной столице фотоснимок Печально сделал иностранец, И выезжает на Ордынику Такси с больными седоками, И мертвыецы стоят в обнимку С особняками. Плынет в тоске необъяснимой Певец печальный по столице, Стоят у лавки керосинной Печальный дворник круглоголовый, Спешит по улице невзрачной Любовник старый и красивый, Полночинный поезд новобрачный Плынет в тоске необъяснимой. Плынет во мгле замоскворецкой, Плынет в несчастие случайный, Блуждает выговор еврейский На желтой лестнице печальной, И от любви до новоселья Под Новый год, под воскресенье, Плынет красотка записная, Своей тоски не объясняя. Плынет в глазах холодный вечер, Дрожат снежинки на вагоне,

Морозный ветер, бледный ветер
Обтянет красные ладони,
И льется мед огней вечерних,
И пахнет сладкою халвою,
Ночной пирог несет сочельник
Над головою.

Твой Новый год по темно-синей
Волне средь моря городского
Плывет в тоске необъяснимой,
Как будто жизнь начнется снова.
Как будто будет свет и слава,
Удачный день и вдоволь хлеба,
Как будто жизнь качнется вправо,
Качнувшись влево.

☆☆☆

Замерзший кисельный берег. Прячущий в молоке отражения город. Позвякивают куранты. Комната с абажуром. Ангелы вдалеке галдят, точно высывавшие из кухни офицанты. Я пишу тебе это с другой стороны земли в день рождения Христа. Снежное толковище за окном разражается искренним «ай-лили»: белизна размножается. Скоро Ему две тысячи лет. Осталось четырнадцать. Нынче уже среда, завтра — четверг. Данную годовщину нам, боюсь, отмечать, не добавляя льда, избавляя следующую морщину от сонной щеки; в просторечии вместе с Ним. Вот тогда мы и свидимся. Как звезда селянина, через стенку пройдя, слух бередит одним пальцем разбуженное пианино. Будто кто-то там учится азбуке по складам. Или нет — астрономии, глядываясь в начертанья личных имен там, где нас нету: там, где сумма зависит от вычитания.

1985

24 декабря 1971 года

В Рождество все немного волхвы.

В продовольственных солянках и давка.

Из-за банки кофейной халвы

производят осаду прилавка

трудой свертков навьюченный люд:

каждый сам себе царь и верблуд.

Сетки, сумки, авоськи, кульки,

шапки, галстуки, сбитые набок.

Запах водки, хвои и трески,

мандаринов, корицы и яблок.

Хаос лиц, и не видно тропы

в Вифлеем из-за снежной крупы.

И разносищи скромных даров

в транспорт прыгают, ломятся в двери,

исчезают в провалах дворов,

даже зная, что пусто в пещере:

ни животных, ни яслей, ни Той,

над Которою — nimб золотой.

Пустота. Но при мысли о ней

видишь вдруг как бы свет ионтукуда.

Знал бы Ирод, что, чем он сильней,

тем верней, неизбежнее чудо.

Постоянство такого родства —

основной механизм Рождества.

То и празднуют нынче везде,

что Его приближение, сдвигая

все столы. Не потребность в звезде

пусть еще, но уж воля благая

в человеках видна издали,

и костры пастухи разожгли.

Валит снег; не дымят, но трубят

трубы кровель. Все лица, как пятна.

Ирод пьет. Бабы прячут ребят.

Кто грядет — никому не понятно:

мы не знаем примет, и сердца

могут вдруг не признать пришлеца.

Но, когда на дверном сквозняке

из тумана ночных густого

возникает фигура в платке,

и Младенца, и Духа Святого

ощущаешь в себе без стыда;

смотришь в небо и видишь — звезда.

В озерном краю

В те времена в стране зубных врачей,
чи дочери выписывают веши
из Лондона, чи сокнутые клещи
вздымают вверх на знамени ничей
Зуб Мудрости, я, прячущий во рту,
развалины почице Парфенона,
шпион, лазутчик, пятая колонна
гнилой цивилизации — в быту
профессор красноречия — я жил
в колледже возле Главного из Пресных
озер, куда из недорослей местных
был призван для вытряхивания жил.
Все то, что я писал в те времена,
сводилось неизбежно к многоточию.
Я падал, не расстегиваясь, на
постель свою. И ежели я ночью
отыскивал звезду на потолке,
она, согласно правилам сгоранья,
бегала на подушку по щеке
быстрей, чем я загадывал желанье.

1972. *Одному тирану*

Он здесь бывал: еще не в галифе —
в пальто из драпа; сдержанний, сутулый.
Арестом завсегдатаев кафе
покончив позже с мировой культурой,
он этим как бы отомстил (не им,
но Времени) за бедность, униженья,
за скверный кофе, скуку и сраженья
в двадцать одно, проигравшие им.
И Время проглотило эту месть.
Теперь здесь людно, многие смеются,
тремят пластинки. Но пред тем, как сесть
за столик, как-то тянет оглянуться.
Везде пластмасса, никель — все не то;
в пирожных привкус бромистого натра.
Порой, перед закрытьем, из театра
он здесь бывает, но никогнито.
Когда он входит, все они встают.
Одни — по службе, прочие — от счастья.
Движением ладони от запястья
он возвращает вечеру уют.
Он пьет свой кофе — лучший, чем тогда,
и ест рогалик, примостившись в кресле,
столк вкусный, что и мертвые: «О, да!»
воскликнули бы, если бы воскресли.

1972

К Евгению

Я был в Мексике, взбирался на пирамиды.
Безупречные геометрические громады
рассыпаны там и сям на Тезонепекском перешейке.
Хочется верить, что их воздвигли
космические пришельцы,
ибо обычно такие вещи делаются рабами.
И перешеек усеян каменными гробами.
Глиняные божки, поддающиеся подделке,
с необычайной легкостью вызывающие кривотолки.
Барельефы с разными сценами, снабженные перевитым
туловищем змеи, неразгаданным алфавитом
языка, не знавшего слова «или».
Что бы они рассказали, если бы заговорили?
Ничего. В лучшем случае о победах
над соседним племенем, о разбитых
головах. О том, что слитая в миску
Богу Солнца людская кровь
укрепляет в последнем мышцу;
что вечерняя жертва восемь молодых и сильных
обеспечивает восход надежнее, чем будильник.
Все-таки лучше сифилис, лучше жерла
единорогов Кортеса, чем эта жертва.
Ежели вам глаза скормить сужено воронам,
лучше, если убийца — убийца, а не астроном.
Вообще без испанцев вряд ли бы им случилось
толком узнать, что вообще случилось.
Скучно жить, мой Евгений. Куда ни странствуй,
всюду жестокость и тупость воскликнут: «Здравствуй,
вот и мы!». Лень загонять в стихи их.
Как сказано у поэта: «На всех стихиях...»
Далеко же видел, сидя в родных болотах!
От себя добавлю: на всех широтах.

☆☆☆

В этих узких улицах, где громоздка
даже мысль о себе, в этом клубке извилин
прекратившего думать о мире мозга,
где, то взвинчен, то обессилен,
переставляешь на площадях ботинки —
от фонтана к фонтану, от церкви к церкви —
так иголка шаркает по пластинке,
забывая остановиться в центре,—
можно смириться с невзрачной дробью
остающейся жизни, с влечением в прошлой
жизни законченности, к подобью
целого. Звук, из земли подошвой
извлекаемый, — ария их союза,
серенада, которую время дно
напевает грядущему. Это и есть Карузо
для собаки, сбежавшей от граммофона.

Зимним вечером в Ялте

Сухое левантинское лицо,
упрятанное осинками в бачки,
когда он ищет сигарету в пачке,
на безымянном тусклом кольце
внезапно предломляет двести ватт,
и мой хрусталик блеска не выносит;
я жмуруюсь — и тогда он произносит,
глотая дым при этом, «виноват».
Январь в Крыму. На черноморский берег
зима приходит как бы для забавы:
не в состояньи удержаться снег
на лезвиях и остриях агавы.
Пустуют ресторации. Дымят
ихтиозавры грязные на рейде,
и прелых лавров слышен аромат.
«Налить вам этой мерзости?» — «Налейте».
Итак — улыбка, сумерки, графин.
Вдали буфетчик, стискивая руки,
дает круги, как молодой дельфин
вокруг хамской заполненной фелюки.
Квадрат окна. В горшках — желтофиоль.
Снежинки, проносящиеся мимо.
Остановись, мгновенье! Ты не столь
прекрасно, сколько ты неповторимо.

☆☆☆

Осеннний вечер в скромном городке,
гордящемся присутствием на карте
(топограф был, наверное, в азарте
иль с дочкино суды накоротке).
Уставшее от собственных причуд,
пространство как бы скидывает бремя
величия, ограничиваясь тут
чертами главной Улицы; а Время
изирает с неким холодом в кости
на циферблат колониальной лавки,
в чьих недрах все, что смог произвести
наш мир: от телескопа до булавки.
Здесь есть кино, салуны, за углом
одно кафе с опущеною шторой,
кирпичный банк с распластанным орлом
и церковь, о наличии которой
и ею расставляемых сетей,
когда б не рядом с почтой, позабыли.
И если б здесь не делали детей,
то пастор бы крестил автомобили.
Здесь буйствуют кузничники в тиши.
В шесть вечера, как вследствие атомной
войны, уже не встретишь ни души.
Луна вспыхивает, вписываясь в темный
квадрат окна, что твой Экклезиаст.
Лиши изредка несущийся кудато
шикарный бьюнк фарами обдаст
фигуру Неизвестного Солдата.
Здесь снится вам не женщина в трико,
а собственный ваш адрес на конверте.
Здесь утром, видя скисшим молоко,
молочники узнает о вашей смерти.
Здесь можно жить, забыв про календарь,
глотать свой бром, не выходить наружу
и в зеркало глядеться, как фонарь
глядится в высыхающую лужу.

1972

Бенедикт САРНОВ,
Елена ЧУКОВСКАЯ

СЛУЧАЙ ЗОЩЕНКО

(Повесть в письмах
и документах с прологом
и эпилогом, 1946—1958)¹.



М. М. Зощенко. 1928 г. Фотография В. В. Преснякова.

Пролог

Я переменил десять или двенадцать профессий, прежде чем добрался до своей теперешней профессии...

Скоро 15 лет, как я занимаюсь литературой... Моя работа мало уважалась в течение многих лет... Но я никогда не имел от этого огорчений и никогда не работал для удовлетворения своей гордости и тщеславия.

Профессия моя оказалась все же чрезвычайно трудна. Она оказалась наиболее тяжелой из всех профессий, которые я имел.

М. Зощенко. Возвращенная молодость.

У одного летчика-испытателя как-то спросили:

— А бывают у вас какие-нибудь профессиональные болезни?

Подумав, он ответил:

— Как будто, кроме смерти, никаких.

Эта невеселая острота невольно вспоминается, когда думаешь о судьбах наших писателей — тех, чьи имена составляют ныне славу и гордость нашей литературы. Путь одних закончился трагически. Другие, пережив гонения и преследования, благополучно умерли в своей постели. Третьи никаким гонениям не подвергались, но тем не менее погибли как художники. То есть они продолжали писать и даже печататься, но это были уже как бы и не они, а кто-то другой...

Каждый случай неповторимо индивидуален. Но в основе каждого — своя драма.

Иными словами, каждая из этих судеб представляет собою свой вариант, свой случай преждевременной и противостоящей гибели художника.

Вот почему эту драматическую историю в письмах и документах мы решили назвать «Случай Зощенко».

1. Как это началось

Не обществу перестранваться по Зощенко, а ему надо перестроиться. А не перестроится, пусть убирается к чертям.

И. Сталин.

10 августа 1946 года в газете «Культура и жизнь» под рубрикой «Письма в редакцию» была опубликована небольшая статейка драматурга Всеволода Вишневского «Вредный рассказ Мих. Зощенко».

Вот несколько выдернутых из этой статьи:

«Ленинградский литературный журнал «Звезда» в № 5—6 за этот год опубликовал в разделе «Новинки детской литературы» рассказ Мих. Зощенко «Приключения обезьяны».

...Общая концепция рассказа сводится к тому, что обезьяне в обществе людей плохо и скучно. В одном из «рассуждений» обезьяны, то есть рассуждений, сделанных Зощенко за обезьяну, прямо говорится, что жить в клетке, то есть подальше от людей, лучше, чем в среде людей...

Спрашивается, до каких пор редакция журнала «Звезда» будет предоставлять свои страницы для произведений, являющихся клеветой на жизнь советского народа?»

¹ Публикуемые документы находятся в государственных и частных архивах. Письма М. М. Зощенко К. А. Федину любезно предоставила нам Н. К. Федина, а письма Л. Пантелеева — Л. К. Чуковская, письмо В. А. Лифишицу — И. М. Кичанова-Лифшиц, а фотографии — З. Б. Томашевская. Приносим им свою благодарность.

20 августа в газете «Ленинградская правда» было опубликовано: «О журналах «Звезда» и «Ленинград» (Из постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г.)».

21 августа то же самое напечатано в «Правде».

22 августа — в трех газетах: «Правде», «Ленинградской правде» и в «Вечернем Ленинграде» напечатано дословно одно и то же:

«На днях в Ленинграде состоялось собрание актива Ленинградской партийной организации, на котором секретарь ЦК ВКП(б) тов. Жданов сделал доклад о постановлении Центрального Комитета ВКП(б) от 14 августа сего года о журналах «Звезда» и «Ленинград»...

Итак, постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», с которого началась кампания проработочных сбраний и статей, клеймящих Зощенко и Ахматову, было принято **14 августа 1946 года**. Первое сообщение о нем в печати появилось **20 августа**. А статья Всеволода Вишневского «Вредный рассказ Мих. Зощенко», с которой мы начали свою документальную повесть, как уже было сказано, появилась в газете «Культура и жизнь» 10 августа, то есть за десять дней до первого сообщения об этом постановлении и за четыре дня до того, как это постановление было принято.

Что же это значит?

Может быть, Всеволод Вишневский обладал каким-то особенно тонким политическим чутьем, позволившим ему предвидеть, что на днях такое постановление появится? Или, может быть, это как раз он, Всеволод Вишневский, сигнализировал в ЦК ВКП(б) о том, что в делах литературных не все обстоит благополучно? И ответом на этот его сигнал и явилось знаменитое постановление?

Нет, загадка эта объясняется гораздо проще.

Есть у Михаила Зощенко небольшой юмористический рассказ о том, как один ялтинский житель, некто Снопков, проспал знаменитое Крымское землетрясение. Подробно рассказывая обо всем, что предшествовало этому удивительному факту, автор (вернее, рассказчик) перебивает свой рассказ такой фразой: «Тем более, он еще не знал, что будет землетрясение».

Так вот, в отличие от ялтинского жителя Снопкова, писатель Всеволод Вишневский о готовящемся «землетрясении» знал заранее.

Как свидетельствует приведенный ниже документ, он знал об этом уже 9-го августа, то есть за день до того, как в газете «Культура и жизнь» появилась его статья.

СТЕНОГРАММА

заседания Президиума Союза советских писателей совместно с членами Правления, находящимися в Москве, по вопросу постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. о журналах «Звезда» и «Ленинград» от 4/IX 1946

В. В. ВИШНЕВСКИЙ

Мне хотелось бы сказать несколько слов относительно последних событий в литературе. Мне хотелось бы поделиться с вами тем, что мы слышали 9 августа на Оргбюро, потому что слова, которые обратил товарищ Сталин к нам, писателям, — он говорил две речи, — речь к литераторам и речь к кинематографистам, — они должны быть у нас в сердце. <...>

Мы не знали, что мы встретимся с товарищем Сталиным. Нас предупредили, что будет Оргбюро, вопрос о ленинградских журналах, вопросы театральные, вопросы репертуара, еще 2—3 вопроса и т. д. Ровно в 8 заседание началось на пятом этаже в Мраморном зале, в том историческом зале, где товарищ Сталин встречался не раз с литераторами. Ровно в 8 пришел товарищ Сталин. Он был не в военной форме. Он, по-моему, подчеркнул этим традицию, что он разговаривает с интеллигенцией, с представителями искусства. Затем 4 часа подряд большая духовная инициатива разговора была в его руках. Он не выключался из беседы, как выключалась иногда, а в течение четырех часов он был в курсе разговора. Он бросал много реплик. Я по своей привычке записывал, и я хочу поделиться с вами рядом записей, так как я считаю, что каждое слово, которое сказал товарищ Сталин, для нас важно и ценно.

Сначала несколько его реплик — о зощенковском рассказе «Приключения обезьяны».

«Рассказ ничего ни уму, ни сердцу не дает. Был хороший журнал «Звезда». Зачем теперь дает место балагану?» <...>

Дальше товарищ Сталин говорил, что многие из вас изъко-

поклоняются перед Западом, перед иностранцами. Мне больно об этом говорить, но я знаю людей и я об этом говорю. Я знаю, что люди терялись, советские люди, люди, побывавшие на войне, люди, идущие в авангарде, люди, которые за 30 лет никогда ничего не боялись и ничего не боятся. Но когда эти люди начинают теряться, теряют свое достоинство, становится больно. Я помню, как один из нас стал терять свое достоинство. Сталин сказал — говорите смелее. Я думало, что это надо обратить в каждому члену нашего Союза, каждому члену нашей культуры — действуйте смелее. Вы должны быть смелыми, вы советские граждане. Это природа наших людей. И товарищ Сталин неоднократно это говорил. Это надо понять, как основное начало. <...>

Дальше применительно к «Ленинграду»: «Появлялись у вас в «Ленинграде» замечательные вещи, бриллианты, но почему теперь нет? Что, материала мало?» <...>

Затем относительно Зощенко. Несколько раз он говорил: «Человек войны не заметил. Накала войны не заметил. Он ни одного слова не сказал на эту тему. Рассказы Зощенко о городе Борисове, приключения обезьяны поднимают авторитет журналов? Нет.

А Анна Ахматовой? Что у Анны Ахматовой можно найти? Одно, два, три стихотворения».

Была сделана ссылка на «Знамя». Профсоюзный сказал, что есть недостатки и в других журналах, что надо заниматься. Товарищ Сталин сказал — знаю. <...>

Когда цикл этих разговоров прошел, товарищ Сталин сказал: «Журналы не могут быть аполитичными. Некоторые думают, что политика — дело правительства, а нам — литераторам надо только писать хорошо. А есть такие, которые отправляют молодежь. В этом у нас получается расхождение с литераторами. Почему я недолюбливаю Зощенко? Зощенко — проповедник безыдейности, терпеть его на руководящих постах нельзя. И советский народ не потерпит, чтобы они отправляли сознание молодежи. <...>

Нужны авторитетные люди, которые будут давать замечания, советы и помочь молодым писателям, а если мы не будем никого обижать, Ахматову, например, не будет журнала.

У нас журналы не частные предприятия. В других странах — это частные предприятия отдельных лиц и отдельных групп. Наш журнал — журнал народа. Он не должен приспособливаться к Ахматовой. Нам надо воспитывать новое, бодрое поколение, способное к преодолению любых трудностей, и если бы мы не воспитали молодежь, мы бы не сумели разбить немцев».

Вот одна из ключевых фраз: «Разве Ахматова справится с воспитанием молодого поколения? Нет. Нам нужны редакторы, которые не боятся сказать правду в лицо. Воспитание молодежи в ленинском духе — это самое главное».

Здесь он переходит к теме о Зощенко. Он касался этой темы в ряде мест.

«— Не обществу перестраиваться по Зощенко, а ему надо перестраиваться, а не перестроится, пускай убирается к чертям».

О журнале «Ленинград» давал свою характеристику. Отвечал мне. Я очень просил сохранить журнал, потому что мы его родили в блокаду. Он продолжал нашу раннюю традицию Ленинграда. Я просил товарища Сталина применить испытанное средство, бросить туда силы, подкрепить журнал. Товарищ Сталин ответил: «Товарищ Вишневский в трагическом свете изображает положение с журналом. То, что мы делаем, называется рационализацией. Потом появится пять журналов, а сейчас лучше иметь один журнал, да хороший, чем два таких».

Эта фраза сразу была понята.

Второе выступление товарища Сталина относительно кинодраматургов и режиссеров, но и оно имеет прямое отношение к нам.

«Мало работают над темой, за которую берутся. Безответственность наблюдалась. Возьмите некоторых постановщиков, возьмем Чарли Чаплина. Два-три года человек молчит, готовится, изучает детали, по два-три года работают настоящие постановщики».

Он привел в пример Гете, который работал 30 лет над «Фаустом», как пример глубокой, вдумчивой работы писателя.

«Легкость вредна в работе. Пудовкин — хороший постановщик, но не потрудился изучить свою тему. Черное море, говорит он, — живописное, я — Пудовкин, сойдет.

А мы отличаем плохое от хорошего, мы, большевики,

делаем все для того, чтобы вкусы росли, и если люди не поймут этих требований, то кое-кому придется уйти в тираж.

Нет подхода к изучению материала. Пудовкин не знает, что русские преследовали противника и только потом, по приказу, отошли.

Что получается?

Недобросовестное отношение к делу на глазах у всего народа. Вот история с фильмом «Нахимов».

Товарищ Сталин говорил о добросовестном изучении материала. «Знать тему, за которую берешься. Должно быть такое ощущение: я знаю эту тему и поэтому я выступаю с ней перед народом. Ведь это не шутка выступать перед 200 миллионами. Поэтому как же мы должны ценить это внимание 200 миллионов».

И далее продолжает:

«Возьмем Эйзенштейна. Отвлекся от истории, вложил что-то свое, изобразил каких-то дегенератов-опричников, не понял, что опричники были прогрессивными элементами, не понял значения репрессий. Россия была раздробленной, хотела объединиться, создавалось централизованное государство. Иначе Россия попала бы под новое иго. Россия вправе была карать врагов внутри и внешне. Возьмем Ивана Грозного. Мы знаем, что это был человек с волей и характером. А нам дан не то Гамлет, не то какой-то убийца. Изучайте факты, а изучение требует терпения. А терпения не хватает. Надо научить людей добросовестному отношению к своим обязанностям и пониманию интересов государства.

Возьмем фильм «Большая жизнь». Это — небольшая жизнь. Больно смотреть на изображение наших людей. Удивительно, когда дело касается советских людей, умудряются испачкать каждый раз. Обидно. Искажены отношения. В фильме показан не Донбасс культурный, механизированный, в фильме показывает самые грубые процессы физического труда».

Затем было вот что: просили товарища Сталина, несмотря на большую серьезную критику, дать всем продолжать работу.

Товарищ Сталин задумался. Он посмотрел на зал, на людей, которые там сидели, на стол Президиума и стал по-хозяйски перебирать. Он спросил Калатозова, сколько израсходовано по фильму. Товарищ Калатозов ответил, что 4600 т[ысяч] рублей]. Товарищ Сталин, как действительный хозяин, сказал: «Пропали денежки».

Товарищ Сталин перебрал все моменты, сказал, что, может быть, можно, если исправить фильмы, вставить, вводить новую группу персонажей. Он рассуждал как профессионал. Он подготовился к беседе с нами, и это было видно, так как на столе лежали журналы. Он подтянул журнал и говорит: «Смотрите, как издается. Нет обозначения месяца, нет номера». Он входил даже в детали типографского свойства.<...>

Хочу сказать несколько слов относительно собственной практики в журнале «Знамя». Я помню, когда в 1934 г. Сурков выступал на съезде писателей, и он не был ни слепым, ни глухим. Правильная была речь в 1934 году, он говорил о Зощенко и делал предупреждение о болотном начале.<...>

Я сторонник определенной эстетской линии.

Ряд вещей применительно к Ахматовой — не понимал. Сейчас, после решения ЦК ВКП(б), я сижу и читаю. Я перебираю «Золотое руно», изучаю все, и это мне поможет. Это предостережет от дальнейших ошибок. Люди все смертны, грешат и делают другие ошибки. Фальшиво каяться не могу, что я слепой и глухой. Я уважаю свой труд, уважаю свой путь, я не глухой и не слепой, я работал и буду работать.

Меня очень тронуло то, что говорил Жданов. Беседа была короткая, но она вошла в сердце. Я никогда не видел его в таком накале. При осаде Ленинграда я его таким не видел (курсив наш).— Б. С. и Е. Ч.). Он подошел ко мне и Тихонову и говорит: «Помните выступление на Первом съезде писателей? Не буду переоценивать своего доклада, я дал от имени партии зачатки теории. Надо было перехватить это. Почитайте стенограмму 1-го съезда».

Он подошел и говорит: «Вспомните всю демократическую сущность традиции Белинского, Добролюбова. Мы три революции пережили, ряд войн, в Ленинграде вместе выстрадали. Какие отщепенцы смеют ревизовать практику теории в искусстве и литературе».

С какой силой Андрей Александрович обращался к нам:

«Мы пережили три революции. Мы добились такой победы, которой мир не видел! Так неужели мы допустим, чтобы кто-то вытаскивал на свет все эти «ИЗМЫ» и «декадентщину»?! Мы этого не допустим, этого не может быть! И поэтому принятые решительные меры по отношению к тем, кто хочет испортить, извратить все то драгоценное и святое, что мы сделали за 30 лет.

Главное для нас в Союзе и в целом — создать теорию советской литературы, исходя из всех корней революции и демократизма».

То, что говорил Жданов, было очень сильно. Я записывал каждое его слово.

«Вы юнцами должны помнить 1908—1909 годы. Вспомините арцыбашевщину. Что теперь после таких побед, после того, что совершил народ, как можно теперь тратить основной капитал и как можно позволить прикоснуться к этому капиталу кому-то? Надо переходить в наступление».

Это он говорил ленинградцам.

«Вы чувствуете боль Центрального Комитета за то, что произошло в литературе в Ленинграде».

— Да, я ряд вещей прозевал в силу какой-то беспечности, в силу того, что не потрудился, чтобы все вместе соединились и занялись этим материалом. Это было бы полезно.

Несколько слов об Ахматовой, которая начинала в 1909 году. Меня как редактора и как работника Союза советских писателей удивляет и поражает, почему она сейчас молчит. Почему на мнение народа, мнение партии и на все то, что сказано в наших стенах, она не отвечает. Если она так пренебрежительно ведет себя, наверное, полагаю, надо ставить вопрос о дальнейшем ее пребывании в Союзе, так же как и Зощенко.

При дальнейшем изучении материала, которое необходимо нам, критики должны нам помочь. Надо пересматривать корни символизма. У Зощенко линия, идущая от Гофмана, линия двойного существования, линия шифровок и искажения, и эти корни надо искать глубоко, идущие от немецкого романика Гофмана.

ИЗ БЕСЕДЫ С АМЕРИКАНСКИМИ ЖУРНАЛИСТАМИ, август 1946 г.

Толкуют о Зощенко... — Кто он такой... Офицер царской армии, человек, который перепробовал ряд профессий, без удач и толка и начавший в 1922 году писать сатирические рассказы... Они в ту пору были мещан, обывателей... Но потом в стране произошли грандиозные изменения. Страна в 9 раз удвоила (так! — Б. С. и Е. Ч.) свой индустриальный потенциал.<...> А Зощенко, замкнутый, угрюмый, стареющий, все продолжал писать свои сатиры, год за годом повторяя приемы 1922 года. Это надоело. Он продолжал. Это раздражало, критики указывали на его сумбур, путаницу, на незнание им реальной жизни... Зощенко продолжал свое... Когда началась война, он бросил Ленинград, уехал за пять тысяч километров и стал писать свою «исповедь»... Это одна из самых мрачных и грязных книг, которые я когда-либо читал. Это будничное и циничное самораздевание, раздевание своих близких... Не буду продолжать... — Осажденный Ленинград, прочтя первую часть этой «исповеди», — возмутился. Дело было в 1943 году — Ленинград выступил с протестом против клеветника, пасквилянта... Рабочие радиозавода, работавшие 730 суток под огнем немцев, написали решительное письмо-протест... — Я сам всю войну был в осажденном Ленинграде и это дело знаю хорошо. С некоторыми рабочими с радиозавода я знаком, они приходили ко мне... — Казалось бы, протест боевых, настоящих людей должен был повлиять на Зощенко... Но он опять угрюмо, индивидуалистически отвернулся. Он не понял или не захотел понять возмущенных читателей. Он клеветал в своей повести на Ленинград, — и Ленинград сам ему ответил... Зощенко продолжал свои писания... Он дождал в своем падении до того, что не дал ни одной строчки о великой войне! Он игнорировал величайшие муки и жертвы своего народа... — И мне вспомнились некоторые детали его биографии. В 1922 году он и его друзья сами называли себя «авантюристами». Они говорили о бесцельности жизни, о безразличии к политической борьбе и о том, что литература ценима ими лишь как игра... Но играть, клевеща на Россию, на свой родной Ленинград, непоколебимо стоявший с сентября 1941 года по январь 1944 года в немецком окружении, — это свыше всяких мер и сил... — И с этим старым клеветником, несоветским человеком мы расстались. Устав Союза советских писателей, который мы разрабатывали с Горьким в 1934 году, говорит,



М. Зощенко с родителями и сестрами Еленой и Валентиной.
Фотография М. Стукачкина.



Осень 1917 г. Петроград.



Прапорщик М. М. Зощенко. Август 1915 г. Петербург.



Шарж Б. Малаховского. 1930 г.



3 мая 1931 г. В ленинградском Мариинском театре
после спектакля «Болт» (балет, музыка Д. Д. Шостаковича).

3-й слева — М. М. Зощенко.

В центре — Д. Д. Шостакович и балерина Т. М. Вечеслова.

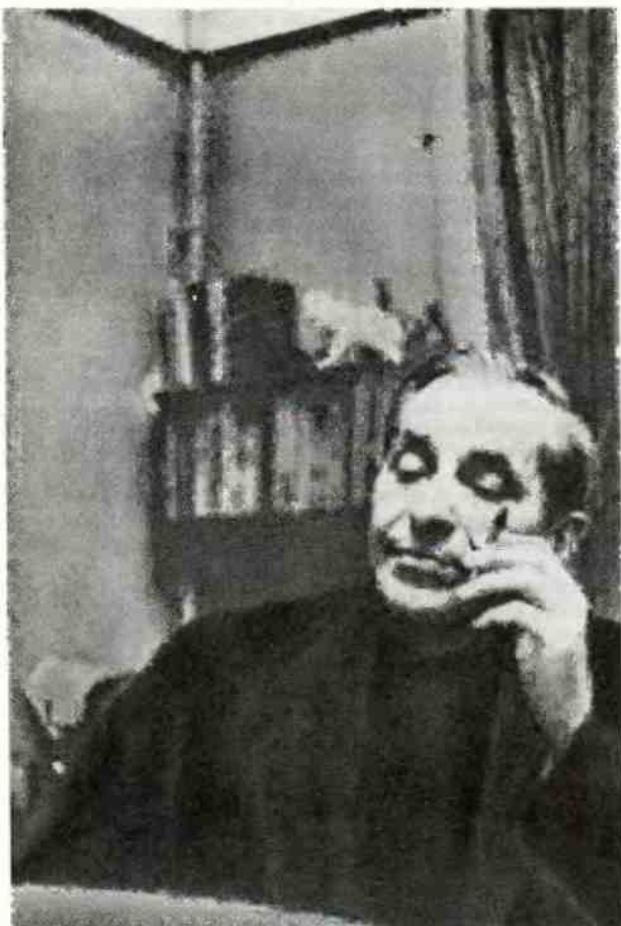
Рядом с ними на первом плане архитектор
В. А. Герасимов и его жена, балерина М. Долинская.

С краю, справа — И. И. Соллертинский, за его спиной —
Г. С. Уланова. (Фотография публикуется впервые.)

1958 г. Одни из последних снимков М. М. Зощенко.

Фотография Ю. М. Блеймана (публикуется впервые).

Могила М. М. Зощенко в Сестрорецке. Фотография О. Кокини.



что членами Союза Советских писателей являются писатели, стоящие на советской платформе и участвующие в социалистическом строительстве... — Зощенко больше чем нарушил устав, принятый единогласно. Думаю, что мне нечего добавить к сказанному. Избавление литературы от регрессивных элементов — глубокий анализ вековых революционно-демократических традиций литературы России, изучение реакционных корней декадентов, символистов, разъяснение молодому поколению вреда, который приносит Зощенко, Ахматовы и прочие, — вот те ценные приобретения, которые мы делаем сейчас.<...>

Мы не хотим, чтобы рядом с испытанным революционным направлением в литературе, рядом с направлением, за которое отдал жизнь великий Горький, рядом с направлением, украшенным именем Маяковского, рядом с направлением боевым, народным, существовали какие бы то ни было «направления» пасквилянтов, клеветников на Революцию и народ, или «направления» старых 60-летних поэтесс, обращающих свои взоры в царским паркам, лебедям и разной архаической чепухе и мистике. Мы не хотим, чтобы подобные направления возникали за нашей спиной, чтобы их создавали люди, трусливо сбежавшие из смельх городов, которые не моргнув глазом приняли чудовищные удары Германии и не только приняли, но и отбили... Помните, что ленинградцы шли в первых рядах штурмующих Берлин войск. Эта честь выпала и мне...

Я заканчиваю. Благодарю вас за внимание, с которым вы прочли мое сообщение. Жму крепко руки американских читателей.

Всеволод Вишневский.

Так что же все-таки произошло? Почему рассказ Зощенко, написанный для детей и впервые опубликованный, кстати говоря, в 1945 году в «Мурзилке», журнале для школьников младших классов, почему этот крохотный рассказ вызвал такой гнев «отца народов»? Ну написал писатель слабый, неудачный рассказ. Ну, допустим даже, редактор совершил ошибку, напечатав (вернее, перепечатав) этот рассказ из «Мурзилки». Неужели это достаточное основание для того, чтобы пустить в ход всю пропагандистскую машину и объявить это микроскопическое событие литературной жизни грандиозной идеологической диверсией?

В ту пору по этому поводу носилось множество самых фантастических слухов и предположений. Вот одно из них:

...С точки зрения властей предержащих, Зощенко вел себя во время войны не лучшим образом. Выпущенная им в 44-м году книга «Перед восходом солнца» — чисто фрейдистский труд. Автор наивно утверждает в предисловии, что это не так. Но самая мысль исследование собственные впечатления младенчества, сохранившиеся в памяти с целью выводить отсюда черты характера, присущие взрослому человеку, полностью вытекает из трудов венского психоаналитика. Разумеется, книга вызвала резко отрицательные отзывы советской прессы...

На этом фоне творчество Зощенко стало особенно бесплатным. К тому же снова появились на Западе книги нашего сатирика, изданные на сей раз в Англии — в качестве арсенала «холодной войны». А тут произошел инцидент, усугубивший «вину» сатирика...

Народ, озлобленный крутыми мерами Сталина с конца 20-х годов, мстил ему тем, что часто называл великого вождя и учителя именем чистильщиком сапог. Установилась мера наказания за такое преступление: уличенный в том, что употребил кличу по отношению к Сталину, получал от пяти до десяти лет лагерей.

Но в рассказе Зощенко «Обезьяна», попавшем в текст одного из постановлений 46-го года, просто написано про самую обезьяну: «Вот она сидит, маленькая, коричневая, похожая на чистильщика сапог».* Трудно сказать: сделал ли автор сознательно этот выпад, или случайно совпали строки рассказа с «общепринятым» оскорблением товарища Сталина.

Зощенко был принужден к молчанию. Но в следующем, 47-м году** он приехал из Ленинграда в Москву и обратился к Генеральному секретарю Правления Союза писателей

* В рассказе Зощенко такой фразы нет, видимо, В. Ардов пересказывает ходившие тогда слухи.

** Ошибка памяти мемуариста. На самом деле письмо Зощенко И. В. Сталину датировано 26 августа 1946 г.

СССР — А. А. Фадееву за советом: как ему надлежит поступить? По словам Зощенко (это Михаил Михайлович мне рассказывал), Фадеев ответил так: «На тебя обиделся сам хозяин: писать надо непосредственно ему». И тогда, говорил Зощенко, я написал Сталину, что я не понимаю, за что меня осудили и что от меня хотят.

В. Ардов. Из неопубликованных воспоминаний
«А Зощенко был таким...»

М. М. Зощенко — И. В. Сталину*

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Я никогда не был антисоветским человеком. В 1918 году я добровольцем пошел в Красную Армию и полгода пробыл на фронте, сражаясь против белогвардейских войск.

Я происходил из дворянской семьи, но никогда у меня не было двух мнений — с кем мне идти — с народом или с помещиками. Я всегда шел с народом. И этого от меня никто не отнимет...

Однако меня самого никогда не удовлетворяла моя сатирическая позиция в литературе. И я всегда стремился к изображению положительных сторон жизни. Но это было нелегко сделать — так же трудно, как комическому актеру играть героические образы. Можно вспомнить Гоголя, который не смог перейти на положительные образы...

Прошу мне поверить — я ничего не ищу и не прошу никаких улучшений в моей судьбе. А если и пишу Вам, то с единственной целью несколько облегчить свою боль. Я никогда не был литературным пройдохой или низким человеком, или человеком, который отдавал свой труд на благо помещиков и банкиров. Это ошибка. Уверяю Вас.

Мих. Зощенко

2. Вне советской литературы

...Исключить Зощенко М. М. и Ахматову А. А. из Союза Советских писателей как несоответствующих в своем творчестве требованиям...

Из «Резолюции Президиума Правления ССП СССР», 4 сентября 1946 года.

М. М. Зощенко — Н. П. Акимову**

Дорогой Николай Павлович!

Шварц сообщил мне (с Ваших слов), что Пименов*** не получил мою комедию, посланную ему почтой.

Комедию я послал 7 мая, и передо мной расписка. Не получить комедию Комитет не мог.

Одно из двух — либо секретарь не передал Пименову, либо Владимир Федорович отказался от моей пьесы столь вежливым способом.

И то, и другое досадно в высшей степени. Тем более досадно, что пьеса на этот раз политически правильная — я давал ее на экспертизу специалистам по вопросам, затронутым в пьесе.

Препятствия и преграды оказались столь велики, что они сломили мой дух и я не считаю более приличным просить и клянчить.

Еще осталась слабая надежда на Симонова, которому я недели две назад послал экземпляр комедии****, но я полагаю, что и тут результатов не будет, ибо дело не в литературе, а в ситуации.

Извините, что я столь часто беспокоил Вас этой своей работой. Навязчивость не покидала меня за эти два года. Благодарю Вас за Вашу помощь и сочувствие.

Ваш Мих. Зощенко

12 июня 1949 г.

* Полностью текст письма опубликовал Ю. В. Томашевский (см.: «Дружба народов», 1988, № 3, с. 173).

** Н. П. Акимов (1901—1968), главный режиссер Ленинградского театра Комедии, художник.

*** В. Ф. Пименов, в то время начальник Главного управления театрами Всесоюзного комитета по делам искусств и заместитель председателя Комиссии по драматургии СП СССР.

**** Вероятно, речь идет о комедии «Здесь вам будет весело...». Комедия не была поставлена и до сих пор не опубликована.

23 июня 1950

Дорогой Костинька!*

Пришлось-таки обратиться к тебе с нижайшей просьбой: одолжи мне рублей 400—500**, если тебя это не затруднит. Никак не обернуться до получки.

Дела мои сейчас весьма выправляются. В конце мая меня вызвали в Смольный для разговора по телефону с ЦК. Говорил со мной тов. Иванов из отдела агитации и пропаганды ЦК. Он спросил меня, над чем я сейчас работаю, и сказал, что никаких препятствий для печатания моих работ не имеется. И чтоб я работал на равных основаниях со всеми.

Я тотчас послал несколько рассказов в «Крокодил» и в «Огонек» и, к моему глубокому удивлению, получил ответ, что один рассказ пойдет в «Огоньке», а другой в скромном времени будет напечатан в «Крокодиле».

Кроме того, непринятая музыкальная комедия прочитана Городским Комитетом и полностью одобрена. Видимо, комедия эта пойдет осенью.

Как видишь — судьба моя переменилась, и хотя блеска в дальнейшем, вероятно, не произойдет (постарел), но кое-какие работы будут сносны и печальное мое имя, быть может, несколько очистится от скандальности.

Без этой реальной перемены я бы и не стал просить тебя об одолжении. Но предстоящие блага дают мне надежду, что в скромном времени я уже смогу рассчитываться со своими долгами. Тебе я должен 1500 рублей, каковые деньги непременно верну в течение этого года.

Выхожу из четырехлетней беды с немальным уроном — «имение разорено и мужики разбежались». Так что приходится начинать ссызнова. А за эти годы чертовски постарел и характер мой изменился к худшему — как видишь — стал даже просить денег, чего ранее не бывало.

Не сердись, мой дорогой, за эту перемену и за мою жалкую просьбу. Крепко обнимаю тебя.

Твой Мих. Зощенко.

2 июля 1950

Дорогой Костинька!

Сердечно благодарю тебя за присланные 500 рублей. Деньги эти весьма выручили меня — иначе пришлось бы идти под суд за то, что не платил за квартиру 3 месяца.

Позавчера получил новый номер журнала «Крокодил» с моим первым рассказом (№ 17).

Если редактор чего-либо не испугается и будет и впредь печатать меня, то я, пожалуй, выйду из «штоторов».

Почти четыре года болтает меня в воздухе, и приходится удивляться, как до сих пор остался жив да еще чего-то пишу одеревенелой рукой.

Отнесись спокойно к моим первым литературным шагам.

Однако (взирая на вашего директора «Советского писателя» Корнева) у меня нет полной уверенности в благополучном исходе моего дела. Директор этот весьма недвусмысленно сказал нашему секретарю ССП Дементьеву: «Не дам Зощенко новой работы по переводу до тех пор, пока у меня не будет письменного распоряжения об этом секретариата ССП».

Слова директора повергли меня в уныние, ибо все распоряжения обо мне отдавались по телефону. И новый письменный этап, несомненно, до крайности усложнит мои дела. Хорошо, если другие директора не дойдут до тех же понятий.

А кстати скажу, издательство «Советский писатель» как раз имело письменное распоряжение от Фадеева и от секретариата ССП (от сентября 49 г.), в котором говорилось, чтоб мне и М. Козакову*** предоставили бы систематическую работу. Правда, тогда Корнева не было, но постановление это имеется в издательстве.

* Ответ К. А. Федина на это и последующие письма М. М. Зощенко см.: К. А. Федин. Собр. соч. в 12 томах, М. «Худ. литература», т. 11, 1986.

** Эта сумма, как и все последующие, относится к периоду до денежной реформы 1961 г., когда денежные знаки были обменены на новые выпущенные из расчета 10:1.

*** Козаков Михаил Эммануилович (1897—1954), писатель, друг М. М. Зощенко.

Если случайно увидишь Чагина*, скажи ему об этом обстоятельстве. Но вообще, конечно, противно просить о работе у такого директора. Как-нибудь обойдусь без него!

Итак, сердечно благодарю тебя, Костя.

Будь здоров. Обнимаю тебя.

Мих. Зощенко.

* * *

Зощенко очень щедрый человек, из тех благотворителей, которые помогают именно тайно — как называл это Лев Толстой, делают добро без адреса. Без адреса в том смысле, что не оставляют как раз своего адреса. Правда, катастрофа, происшедшая с Зощенко, вряд ли позволила ему оставаться таким же благотворителем. Это чаще всего грустный человек, часто повторяющий фразу Ницше о «жалкой жизни, жалких удовольствиях»... Вместе с тем он ценит ритуал, аккуратен, видит и любит маленькие предметы. Работоспособен. Он, когда мы встречались в Ленинграде, проявлял ко мне любовь, интерес. Ему со мной, как и мне с ним, было хорошо. Между прочим он умеет тачать сапоги и шить. У меня порвались штаны, и он великолепно исправил повреждение. По этому поводу, помню, я сказал приехавшему тогда в Ленинград и высокомерно появившемуся в моем и Зощенко обществе Фадееву:

— Ты думаешь, что важное событие в текущем моменте нашей литературы — это то, что ты приехал в Ленинград? Ошибаешься, важное это то, что писатель Зощенко починил штаны писателю Олеше.

(1949—1950)

Ю. Олеша. Неопубликованные заметки.

М. М. Зощенко — Ю. Н. Либединскому**

Дорогой Юрий Николаевич!

Летом прошлого года издательство крайне торопило меня с переводом повести Цагар[а]ева («Повесть о колхозном плотнике Саго»). Я сдал свою работу в сентябре 51 года. Я никак не могу выяснить, что с книгой и когда она намечена к выпуску. Сейчас я нездоров, не могу работать, нужны деньги — а это связано с выходом книги. Прошу у Вас ответа, а не у издательства, которое если и отвечает авторам, то лишь в самых крайних случаях.

Сердечно приветствую Вас.
М. Зощенко.

8/X 52 г.

М. М. Зощенко — К. А. Федину

4 февраля 1953

Дорогой Костя!

Сердечно благодарю тебя за письмо и за твои хлопоты. Однако Вере Владимировне я сильно побранил за то, что она потревожила тебя. Я знал (от Ивановых), что ты нездоров, и Дора больна, и что ты загружен предельно***. Так что у меня не хватило бы смелости тревожить тебя моими дрянными делами.

Но уж если ты сделал то, что В[ера] В[ладимировна] просила, то я, конечно, очень благодарен тебе.

В этом году мне сильно не повезло. Стал писать книгу по материалу, который долго и кропотливо собирали. Книга — на положительную тему и с положительными персонажами. (Год назад — иначе было нельзя.) Проработал месяцев 8, и этим летом пришлось бросить работу. Изменилась литературная обстановка, да и работа не удовлетворяла меня, шла со скрипом.

* Чагин Петр Иванович (1898—1967), издательский деятель, в то время главный редактор «Советского писателя». К. А. Федин выполнил просьбу Зощенко (подробнее об этом см. письмо К. А. Федина к М. Э. Козакову от 27.9.50 в Собр. соч. К. А. Федина, т. 11, с. 302).

** Либединский Юрий Николаевич (1898—1959), писатель. В то время Либединский переводил и издавал произведения осетинских авторов и, желая помочь М. М. Зощенко, привлек его к этой работе.

*** Вера Владимировна Зощенко (1898—1981) жена М. М. Зощенко; Ивановы — Всеволод Вячеславович (1895—1963), писатель, его жена, Тамара Владимировна; Дора Сергеевна Федина (1895—1953), жена К. А. Федина.

Впрочем, первые 4 листа показал Твардовскому. Он отобрал для «Нового мира» всего лишь два рассказа (это был цикл рассказов), а остальные похорил. И в общем правильно сделал, так как положительные герои мне не слишком-то удаются.

Для меня это была большая катастрофа — потерял много времени и остался без заработка. Для «Нового мира» надо было дослать еще (как он сказал) два-три рассказа. А уже здоровья не хватило.

Стал болеть и даже несколько захандрил. Сейчас немного лучше, но еще не совсем. Впрочем, работаю. Сейчас как раз поворот в литературе, весьма подходящий для моего умения. И если хватит сил, то, вероятно, кое-что сделаю.

Основная сложность, что живу не в Москве. Здесь, в Ленинграде, (для меня) нет работы, а переписываться с московскими редакциями крайне затруднительно. Любой фельетон или рассказ на долгие месяцы откладывается, либо вовсе отбрасывается, если требуются поправки. На месте все это решается легче и проще.

А ездить в Москву не так-то просто. Приходится признаться, что старость уже за плечами.

Ты извини, Костинька, — это все не пытье, а просто я тебе, так сказать, докладываю, как моему (все же) начальнику и другу о том, что у меня происходит. Хотелось бы, чтобы ты понял о причинах моей слабой активности в литературе.

Ведь, чтобы написать хотя бы небольшую книгу, нужен заработка, который у меня всегда был — эстрада, выступления, переиздания. Сейчас всего этого нет. И все эти годы мне пришлось заниматься поденной работой — переводами, правкой.

Написал было две комедии, но не приняли.

Сейчас я принял за рассказы. И по твоему совету пошли Суркову. А если хватит здоровья, то дошло и Твардовскому.

В общем работаю и рук не опустил. Уверен, что если не сейчас, то в скором времени сделаю что-нибудь порядочное.

Так что ты еще не мани на меня рукой. Однако учти, что любой человек, даже с большой силой, чем я, вряд ли бы поднялся на ноги в той обстановке, которая возникла вокруг меня. Редакции не слишком-то жаждут моего сотрудничества, зарплаты отсутствуют, здоровье посредственное, старость близка, новый литературный материал требует новых форм и сильного мастерства — вот все это в общей сумме и не позволяет мне дать то, что я, пожалуй, смог бы.

Но, повторяю, надежды и уверенности не потерял.

Еще раз благодаря тебе сердечно за твое внимание. Крепко тебя целую и от души желаю тебе благополучия. Как грустно, что Дора больна. Да и ты, говорят, очень похудел и даже куришь. Вот это ты напрасно делаешь — нельзя менять режим для легких.

Будь здоров, мой дорогой. Не сердись, что я тебе настроил такое длинное письмо и что тебе пришлось похлопотать за меня. Вот уже сколько лет ты занят делами других людей. А это, увы, противопоказано литературе!

Твой Мих. Зощенко.

Кстати скажу — Литфонд напрасно так энергично требует с меня деньги. Эти 14 тысяч составлены из тех сумм, которые выдавали мне Секретариат ССП и Фадеев для того, чтобы я смог работать. Но только сейчас (для меня) возникла возможность работать. И надо бы годик или два обождать. Старость медлительна!

Мих. Зощенко.

27 февраля 1953

Дорогой Костя!

Сердечно благодарю за тысячу рублей. Не ответил тебе тотчас — был нездоров.

Сегодня послал Суркову рассказ (хороший, читал его писателям, с большим успехом).

Кажется, мне удалось нащупать некоторые новые соединения в прозе. В данном случае в сюжет органически вошла наука. Это удавалось в больших вещах — но в малых — нет.

Несколько рассказов, что я набросал, — оправдали мои надежды. Привычный буржуазный сюжет (деньги, любовь) уже будет для меня не обязательен.

Целую тебя, мой дорогой. И еще раз благодарю.

Мих. Зощенко.

М. М. Зощенко — В. А. Лифшиц

27/III-53

Дорогой Володя!

Получил Ваше письмо. Спасибо.<...>

Книгу (большую) я пока отложил. Начал ее не так, как надо бы. Начал с публистики, а следовало бы с сатиры. Ну тут всего не угадать было. Да и здоровье не позволяло быть на высоте.

Как-то Алехина спросили — почему он проиграл матч, а он ответил газетчикам: «Этот месяц у меня был неправильный режим питания». Так вот эти годы у меня был неправильный режим питания и вообще не совсем-то правильный режим. По этой причине не рассчитываю сейчас на крупные лит. удачи. Кое-какие рассказы, впрочем, делаю, но без большой уверенности. Рассчитываю летом передохнуть и тогда возьмусь за книгу...

Мих. Зощенко

3. Возвращение

...То и дело правили какие-то кровавые царьки, какие-то в высшей степени, пес их знает, свирепые тираны... И все они, конечно, делали со своей публикой, чего хотели. Отрезали языки у тех, которые болтали не то, чего надо. Сжигали на кострах... Кидали для потехи диким зверям и крокодилам. И вообще без зазрения совести поступали как хотели.

И от всех этих дел публика, наверно, нравственно ослабла... У них, может, озлобился ум. И они стали ко всему приправливаться, и с течением веков через это, может быть, произошли коварство, вранье, подхалимство, приспособленчество и так далее, и тому подобное, и прочее.

М. Зощенко. Голубая книга.

Оказавшись вне Союза писателей, Зощенко, как видно из его писем, вынужден был заниматься главным образом переводческой работой. В его переводе вышли книги Антти Тимонена «От Карелии до Карпат», М. Цагараева «Повесть о колхозном плотнике Саго» и две виртуозно переведенные повести финского писателя Майо Лассила — «За спичками» и «Воскресший из мертвых».

М. М. Зощенко — М. Э. Козакову

Большая часть тиража выпущена без фамилии переводчика и даже без указания, что это перевод с финского.

На малой части тиража указано: «Перевод с финского в литературной обработке М. М. Зощенко».

При переиздании допустимо поставить: «Перевод с финского М. Зощенко».

Это — записка от руки, приложенная к письму Зощенко к М. Э. Козакову от 21 июня 1953 года. В письме есть фраза: «Дела мои многое лучше. И есть превеликие надежды на дальнейшее». Затем Зощенко спрашивает, как обстоят дела с переизданием «За спичками». Подписано письмо так: Мих. Зощенко (член ССП).

В автобиографии, написанной 5 июля 1953 года, Зощенко скромно сообщает:

«В июне 1953 года я вновь принят в ССП».

5 марта 1953 года умер Сталин.

Начинался новый период истории нашего общества, получивший впоследствии название — оттепель.

Казалось бы, в этих новых обстоятельствах процесс возрождения Зощенко в Союз писателей должен был протекать гладко и безболезненно. Но...

Выписка из стенограммы заседания Президиума ССП от 23/VI 1953 г. о приеме в Союз

т. СОФРОНОВ.

Прежде чем перейти к персональным делам, у нас имеется поступившее в Президиум и Секретариат ССП заявление М. М. Зощенко следующего содержания (зачитывается заявление) — о восстановлении его в Союзе писателей. Это заявление было получено Секретариатом, Секретариат слу-

шал его и поручил товарищам Симонову, Грибачеву и Соболеву ознакомиться с новыми произведениями Зощенко и свои предложения представить Президиуму.

К этому прибавить можно немного. Можно только подтвердить, что за это время Зощенко сделал многое. Здесь есть более подробный перечень его произведений. Можно назвать и «крокодильские» его фельетоны, и рассказы, печа-тавшиеся за эти годы в различных изданиях.

Многие ленинградские писатели через Правление Ленинградского ССП всячески поддерживают заявление Зощенко. Я разговаривал по этому поводу с товарищем Чивилихиным — заместителем председателя Правления Ленинградского отделения, и он тоже высказался положительно.

т. ШАГИНИЯН.

Я видела Зощенко каждый год после постановления ЦК, и я должна сказать, что это по-настоящему человек. Он хорошо реагировал на постановление, понял свои ошибки. Он работящий и по-настоящему талантливый советский писатель. И нам стыдно, если мы сейчас не простили ему руку помощи. Он находится в очень тяжелом моральном и материальном положении. Вопрос о восстановлении Зощенко может быть решен нами единогласно.

т. СИМОНОВ.

Я был бы против того, чтобы восстанавливать Зощенко. Мы в свое время исключили его из Союза правильно, исключили за серьезные ошибки.

Я согласен с Мариеттой Сергеевной, что он правильно отнесся к критике, что он много и честно работал, что он создал после этого ряд вещей, которые позволяют его принять в Союз — не восстановить, а принять в Союз.

Я бы Зощенко принял в Союз на основании произведений, написанных им за эти годы, с 1946 по 1953, среди них и партизанские рассказы (это первое, что он опубликовал). Это не очень сильно художественно, но это очень честная попытка стать на правильные позиции. Там есть и хорошие вещи — в этих рассказах. Его переводческая деятельность во многом просто блестяща. Это тот случай, когда я принял бы в члены Союза как переводчика за один перевод. Это блестящее художественное произведение.

Я предложил бы принять Зощенко в члены Союза как прозаика и переводчика.

Какие еще есть предложения?

т. ТВАРДОВСКИЙ.

Если употребить выражение «восстановить», это значит отменить решение об исключении из Союза. Восстанавливают тогда, когда признают неправильным исключение, тогда восстанавливают.

Возьмем даже более серьезное дело: исключение из партии. Восстанавливают только в случае признания высшим органом неправильности исключения.

т. ШАГИНИЯН.

Это, мне кажется, неверно.

т. СИМОНОВ.

Или когда человек был исключен на срок.

т. ШАГИНИЯН.

ЦК не вычеркивал всего литературного пути Зощенко, он дал постановление об определенных его вещах, он не опорочил все то, что Зощенко сделал до этих вещей. Дело идет не о простой формальности. Восстановить — это значит принять его стаж, это значит дать ему право на пенсию. Человек находится в страшно тяжелом психическом состоянии. Принять его в Союз как новичка — это значит делать его начинающим писателем. Кажется, это простая форма, а в ней есть глубокий смысл.

Давайте обратимся с нашим решением в ЦК, может быть, он санкционирует наше решение. Но ставить вопрос, что будто бы восстановление отменяет исключение, это неверно.

Был прецедент: Ахматову мы восстановили. Слабый, чуждый нам поэт.

т. СИМОНОВ.

Мы ее приняли или восстановили?

т. ШАГИНИЯН.

А Зощенко, который сформировался при Советской власти, который ближе нам по существу, по внутренней позиции, которую он не менял все время, — его мы будем принимать, а не восстанавливать. Почему вы так отнеслись к Ахматовой?

т. СИМОНОВ.

Для объяснения своих позиций я хочу сказать, что я не присутствовал при восстановлении Ахматовой, а если бы присутствовал, несомненно, голосовал бы не за восстановле-

ние, а за прием. Считаю, что и Ахматову надо было бы принимать в Союз заново, а не восстанавливать. А если есть формулировка о восстановлении, то это — неверная формулировка.

т. ТВАРДОВСКИЙ.

Я не понимаю, почему так хлопочет Мариетта Сергеевна Шагинян, — на пенсию писателя это не влияет.

т. ГРИБАЧЕВ.

Пенсия — вещь персональная, адается отнюдь не за выслугу лет.

т. ШАГИНИЯН.

Все же партия не вычеркивает всей прежней его работы.

т. СОБОЛЕВ.

Мы его исключили из Союза. Прошел какой-то срок, он поработал, показал себя как человек не бесполезный, и мы считаем возможным, чтобы он был в нашей организации, не восстанавливая его, а вновь принимая на общих основаниях, как старого литератора.

т. СИМОНОВ.

Есть два предложения: предложение Мариетты Сергеевны Шагинян восстановить Зощенко в ССП, и мое предложение — принять его в члены ССП. Я хотел бы, чтобы члены комиссии, назначеннной Секретариатом, высказались по этому вопросу.

т. ГРИБАЧЕВ.

Была приведена серьезная мотивировка. Ведь если мы восстановим его, мы делаем вид, что Зощенко ничего не совершил, что все было ошибкой и Зощенко возвращается в Союз. Этого, по-моему, делать нельзя. А на пенсию это не влияет — это уже совсем другой вопрос.

т. СОБОЛЕВ.

Я также не понимаю, почему вы упираетесь в эту формулировку? Вы говорите, что для него это тяжело. Но если после известного случая и постановления ЦК мы приняли решение о том, чтобы расстаться с писателем, исключить его из наших рядов, то если мы сейчас будем говорить о восстановлении, то по логике русского языка это означает, что мы признаем свою ошибку по поводу исключения из Союза Зощенко и считаем это исключение ошибочным.

т. ШАГИНИЯН.

А как же было с Ахматовой?

т. СОБОЛЕВ.

Была допущена ошибка, если она была «восстановлена», а не «принята». Если бы я присутствовал на этом заседании, я сказал бы так же.

Если вы говорите, что на него это подействует, — то тогда он просто не понял, что тогда произошло.

т. СИМОНОВ.

Для него было бы гораздо тяжелее, если бы мы не приняли его в Союз. Я прошу голосовать. Первое предложение Мариетты Сергеевны Шагинян о том, чтобы восстановить Зощенко в ССП. Кто за это предложение? (Один.) Кто за мое предложение — принять в члены Союза? (Единогласно.)

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять М. М. Зощенко в члены ССП.

Нина Павловна Гордон на протяжении 35 лет (1944—1979) была литературным секретарем К. М. Симонова. Она вела дневник, в котором отмечала все, что представлялось ей сколько-нибудь существенным в многообразной повседневной деятельности ее шефа. Фрагменты дневника Н. Гордон из которых взята приводимая здесь запись, были опубликованы в журнале «Литературное обозрение» (Н. Гордон. «Разные дни Константина Симонова. Из дневниковых записей».— «Литературное обозрение», № 1, 1982, с. 102—112).

13 ноября 1976 г. Только что мне позвонил Виталий Яковлевич Виленкин, совершенно потрясенный письмом моего шефа к нему. Потрясен и самим фактом его написания, и прямотой и честностью написанного, и самой темой. <...> Виленкин попросил К. М. прочитать его рукопись об Анне Ахматовой...*

К. М. написал ему 13 страниц через один интервал. Очень интересно и об Ахматовой, и о Зощенко, и о стихах Ахматовой, и о ней самой. Это одно из тех редких человеческих

* Виленкин Виталий Яковлевич (р. 1911), театролог. «Рукопись об Анне Ахматовой» теперь опубликована. См.: В. Я. Виленкин. Вспоминания с комментариями. М., 1982, а также «В сто первом зеркале». М., 1987.

писем, писем — документов эпохи, написанных сильно, а главное, правдиво и честно.

Это из тех случаев, когда я бываю особенно горда за своего шефа.

К. М. Симонов — В. Я. Виленкин*

(13.XI.76)

...Моя разница в отношении к Зощенко и к Ахматовой объяснялась в то время различием моего восприятия их человеческого и писательского поведения в годы войны. Зощенко был для меня мужчиной, в прошлом боевым офицером, уехавшим на всю войну в эвакуацию и написавшим там напечатанную в «Октябре» повесть, которая, по моим тогдашним чувствам и настроениям, была мне поперек души. Вообще надо сказать, что мои тогдашние притяжения или отталкивания были связаны в литературе, и не только в литературе, с моими представлениями о том, как люди вели себя во время войны, остались ли они на всю блокаду в Ленинграде, как Тихонов, или уехали в Ташкент, как Зощенко.

Короче говоря, в тот момент, о котором я говорю, я был взволнован случившимся с Ахматовой и был довольно равнодушен к происшедшему с Зощенко. Правда, потом, через какое-то время, я сообразил задним числом, что одно дело я — человек молодой и здоровый, а другое дело — человек совсем другого возраста, под пятьдесят лет и, как я узнал о нем, далеко не здоровый. Пончувствовав всю тяжесть положения, в которое попал Зощенко, я, стал редактором «Нового мира», при первой представившейся мне возможности постарался помочь ему. Узнал, что у него есть партизанские рассказы, которые, по словам моих ленинградских друзей, можно было бы, наверное, судя по их содержанию, напечатать, я пригласил его приехать в Москву, отобрал большую часть этих рассказов и предложил опубликовать их в журнале. Это было в начале лета сорок седьмого года, и так вышло, что на вопросы, что из себя представляют эти рассказы и почему я предлагаю их напечатать, мне пришлось отвечать непосредственно Сталину. Он принял мой объяснения, и тем же летом рассказы эти были напечатаны в «Новом мире». Эта история немного уводит нас в сторону, но мне показалось необходимым написать Вам о ней, потому что одно без другого, наверное, было бы не до конца понятным.

Тема письма К. М. Симонова В. Я. Виленкину (отзыв на рукопись о творчестве Ахматовой) не требовала обращения к Зощенко. Но у Симонова, видимо, была потребность объясняться.

К этому объяснению можно относиться по-разному, но есть в нем одна небольшая, но существенная несообразность.

В предисловии к книге, которая в 1943 году пришла к Симонову «поперек души» (речь идет о повести «Перед восходом солнца»), сказано:

«Немецкие бомбы дважды падали вблизи моих матери-алов. Известкой и кирпичом был засыпан портфель, в котором находились мои рукописи. Уже пламя огня лизало их. И я поражалось, как случилось, что они сохранились.

Собранный материал летел со мной на самолете через немецкий фронт из окружного Ленинграда».

Таким образом, К. М. Симонов не мог не знать, что Зощенко не просто «ушел на всю войну в эвакуацию», что его вывезли из осажденного Ленинграда, когда кольцо блокады уже замкнулось.

«Насчет упреков в отъезде из Ленинграда,— пишет по этому поводу Д. Гринин,— много позже, в конце семидесятых годов, когда мы с Адамовичем работали над «Блокадной книгой», нам с документами и цифрами доказали, как важно было вовремя, еще до сентября месяца 1941 года провести массовую эвакуацию ленинградцев. Не сделали этого. Поэтому так много горожан осталось в блокаде в Ленинграде, поэтому так много погибло... Между тем создали обстановку, при которой уезжать из города считалось позорным... Вот и для обвинения Зощенко Жданов использовал тот же прием — бежал из Ленинграда! Использовал, пытаясь таким косвенным путем снова как бы оправдать очевидную уже собственную вину в том, что эвакуацию стали по-настояще-

* Константин Симонов. Сегодня и давно. М., «Советский писатель», 1978, с. 337.

му организовывать лишь по настоянию ГКО, когда кольцо блокады замкнулось, лишь в январе 1942 года, когда голодная смерть косила вовсю».

К. М. Симонов, таким образом, просто принял на веру версию Жданова и присоединился к ней.

4. «Второй тур»

Автор «Робинзона Крузо» за сатирическую статью был (1703 год) приговорен к тюремному заключению. Сутки он провел привязанный к позорному столбу на площади. Проходящие обязаны были в него плевать...

Воображаем его бешенство, когда в него плевали. Ой, я бы не знаю, что сделал!

М. Зощенко. Голубая книга.

27 июля 1953. Был у меня Каверин. Он сообщил, что Зощенко принят в Союз писателей, что у него был редактор «Крокодила», просил у него рассказов и заявил, что покупает на корню всю продукцию. Какое счастье, что Зощенко остался жить, а ведь мог свободно умереть от удара — и даже от голода, т. к. было время, когда ему, честнейшему и талантливейшему из современных писателей, приходилось жить на 200 р. в месяц! Теперь уж этого больше не будет!

К. Чуковский. Дневник.

К сожалению, оптимистический прогноз К. И. Чуковского не оправдался.

В мае 1954 года Ленинград посетила английская студенческая делегация. Студенты выразили желание, чтобы в программу их знакомства с достопримечательностями города была включена встреча с Зощенко и Ахматовой. И вот двух немолодых писателей (Ахматовой тогда было 66, а Зощенко 59 лет) сажают в машину и спешно везут на встречу с юными иностранцами, перед которыми они должны засвидетельствовать свою лояльность. (Когда А. А. Ахматова попыталаась уклониться от этой чести, чиновная дама, говорившая с нею от имени Правления Ленинградской писательской организации, возразила: «Вы должны быть непременно, а то они скажут, что вас удавили!». Можно не сомневаться, что необходимость присутствия М. М. Зощенко была оговорена с такой же категоричностью.)

О происшедшем во время этой встречи инциденте известно из разных источников. В частности, из рассказа Ахматовой, записанного Л. К. Чуковской:

«За мной прислали машину, я поехала. Красный зал, знакомый вам. Англичан целая туча, русских совсем мало. Так сидят Саянов, так Зощенко, так Дымшиц, а так я. Еще переводчица, девка из ВОКСа — да, да, все честь-честь... Я сижу, гляжу на них, вглядываюсь в лица: кто? который? Знаю, что будет со мной катастрофа, но угадать не могу: который спросит? Сначала они спрашивали об издании книг: какая инстанция пропускает? Долго ли это тянется? Чего требует цензура? Можете ли вы сами издать свою книгу, если издательство не желает? Отвечал Саянов. Потом они спросили: изменилась ли теперь литературная политика по сравнению с 46 годом? Отошли ли от речи, от постановления? Отвечал Дымшиц. Мне было интересно услышать, что нет, ни в чем не отошли. Тогда отважные мореплаватели бросились в наступление и попросили т-р Зощенко сказать им, как он относится к постановлению 46 года? Михаил Михайлович ответил, что сначала постановление поразило его своей несправедливостью и он написал в этом смысле письмо Иосифу Виссарионовичу, а потом он понял, что многое в этом документе справедливо... Слегка похопали. Я ждала. Спросил кто-то в черных очках. Может быть, он и не был в очках, но мне так казалось. Он спросил, как относится к постановлению т-ре Ахматова? Мне предложили ответить. Я встала и произнесла: «Оба документа — и речь т. Жданова, и постановление Центрального Комитета партии — я считаю совершенно правильными».

Молчание. По рядам прошел глухой гул — знаете, точно озеро ропщет. Точно я их погладила против шерсти. Долгое молчание... Потом кто-то из русских сказал переводчице: «Спросите их, почему они хлопали Зощенко и не хлопали т-ре Ахматовой?» «Ее ответ нам не понравился — или как-

то иначе: нам неприятен». (Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Т. II, 1980, Париж, YMCA — Press, с. 48).

Запись в дневнике Чуковской датирована 8 мая 1954 года. Встреча с английскими студентами происходила 5 мая, то есть тремя днями раньше. Таким образом, приведенная запись была сделана Чуковской по горячим следам событий, еще до того, как оно успело обрасти легендой. Согласно легенде, Зощенко высказался о постановлении ЦК и речи Жданова гораздо резче. Одна из легендарных версий утверждала, будто в ответ на вопрос англичанина он раздраженно сказал: «Я русский дворянин и офицер. Как я могу согласиться с тем, что я подонок?» Как бы то ни было, этот инцидент имел для Зощенко трагические последствия. За них последовал «второй тур», вторая мощная волна травли.

В июне состоялось общее собрание писателей Ленинграда. «Доклад и прения и все прочее было увертюрой к тому, что предстояло, а предстояла проработка Зощенко за его заявление на встрече с английскими студентами. Все понимали, что именно из-за этого на собрание приехали из Москвы К. Симонов и А. Первенцев. До этого в газетах заклеймили поведение Зощенко перед иностранцами, разумеется, буржуазными сынками, бранили, не стесняясь в выражениях. Отлучали, угрожали, старались превзойти определения, которые употребляли о нем Жданов в своем докладе...

Суть, как я понял из доклада Друзина, сводилась к тому, что месяц назад, в мае на встрече с английскими студентами, они спросили Ахматову и Зощенко про их отношение к критике в докладе Жданова. На это Зощенко ответил, что с критикой в докладе он не согласен... Ответ его прозвучал во всей западной печати, что было, конечно, «на руку классовому врагу». Как сказал Друзин, поведение Зощенко вообще стало «классовой борьбой в открытой форме».

Правда, его больше классовой борьбы уязвило, что иностранные студенты сфотографировали Зощенко, тогда как никого из других участников встречи не фотографировали.

— И никому другому не аплодировали! — уличающие прозвучали он.

Даниил Гранин. Мимолетное явление.
«Огонек» № 6, 1988 г.

На собрании Зощенко повторил то, что он говорил на встрече с английскими студентами. Сказал, что во многом ошибался, но с критикой всех своих работ, критикой, перечеркивающей всю его жизнь, не может согласиться.

«Зачем подчеркивать несогласие? — прошелестал кто-то рядом. Не стоит», — свидетельствует Д. Гранин. Прошелестал явно кто-то из сочувствующих Зощенко, «болеющих» за него.

Даже Ахматова считала, что на встрече с англичанами Зощенко поступил опрометчиво.

— Михаил Михайлович — человек гораздо более наивный, чем я думала. Он вообразил, будто в этой ситуации можно что-то им объяснить: «Сначала я не понял постановления, потом кое с чем согласился...» Кое с чем? Отвечать в этих случаях можно только так, как ответила я. Можно и должно. Только так.

Не повезло нам: если бы я отвечала первой, а он вторым, — он по моему ответу догадался бы, что и ему следовало ответить так же. Никаких нюансов психологий. И тогда гибель миновала бы его. Но его спросили первым...» (Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Т. II, с. 105—106).

Дело, однако, было совсем не в том, что Зощенко «не догадался» ответить, «как следовало». Вероятнее всего, если бы он отвечал вторым, ответ его был бы точно таким же.

У Ахматовой в то время был в лагере заложник-сын (Л. Н. Гумилев). Отвечая, она не могла не думать и о нем, о его судьбе, на которой ответ мог отразиться. Она ответила на вопрос англичан «формально» (что, собственно, и требовалось) еще и потому, что относилась к происходящему как к балагану, а отчасти как к провокации. Помогло ей и раздраженно-неприязненное отношение к английским студентам, не понимающим да и не способным понять, в каком капкане она и Зощенко оказались. Но было тут и другое.

В «Капитанской дочки», когда Пугачев «милует» Гриневу, которого только что чуть не вздернули на виселицу, его подтаскивают к самозванцу, ставят перед ним на колени

и шепчут: «Целуй руку, целуй руку!» Верный Савельич, стоя у него за спиной, толкал его и шептал: «Батюшка Петр Андреевич! Не упрямься! что тебе стоит? плюнь да поцелуй у злод... (тыфу!) поцелуй у него ручку!». Но хотя «чувствования» героя повести, как он говорит, были в ту минуту «слишком смутны», он признается, что «предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению».

Ахматова поступила так, как советовал Гриневу Савельич. Зощенко так поступить не смог.

Выступая на собрании, которое так подробно описал Д. Гранин, Зощенко говорил:

— На любой вопрос я готовился ответить шуткой. Но в докладе, где было сказано, что я подонок, хулиган, где было сказано, что я не советский писатель, что с дваждытым годом я глумился над советскими людьми — я не мог ответить шуткой на этот вопрос. Я ответил серьезно, так, как думаю... Я дважды воевал на фронте, я имел пять боевых орденов в войне с немцами и был добровольцем в Красной Армии. Как я мог признаться в том, что я трус?

Об этом выступлении Зощенко ходило много легенд. Но теперь, благодаря Ю. В. Томашевскому, который разыскал стенограмму этой его речи и опубликовал ее в журнале «Дружба народов» (1988, № 3) мы совершенно точно знаем, что и как он тогда говорил.

Последние слова, которые он произнес, были такие:

— Я могу сказать — моя литературная жизнь и судьба при такой ситуации закончены. У меня нет выхода. Сатирик должен быть морально чистым человеком, а я унижен, как последний сукин сын... У меня нет ничего в дальнейшем. Ничего. Я не собираюсь ничего просить. Не надо мне вашего снисхождения — ни вашего Друзина, ни вашей браны и криков. Я больше чем устал. Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею».

Произнеся эти слова, он сошел с трибуны и медленно спустился в зал.

Раздались аплодисменты.

Д. Гранин пишет в своих записках, что аплодировали два человека: одного из них он узнал, это был писатель Меттер.

Другие очевидцы свидетельствуют, что аплодирующих было по крайней мере четверо: И. Меттер, Е. Шварц, В. Глинка и И. Кичанова-Лифшиц (жена художника В. В. Лебедева, впоследствии — жена поэта Вл. Лифшица). Говорят, что Шварц даже аплодировал стоя*.

Речь Зощенко произвела на всех такое сильное впечатление, что его надо было как-то сбить. Надо было немедленно исправлять положение.

В президиуме забеспокоились, зашептались.

И тут, по свидетельству другого очевидца, встал К. М. Симонов. Грассируя, он сказал:

— Това' иц Зощенко бьет на жа' ость...

И только после этого слово взял В. Кочетов и произнес все те казенные, желобетонные слова, которые приводит в своем очерке Д. Гранин.

* Времена переменились, и вдруг оказалось, что в этом зале (как и в том, где происходил «первый тур») было гораздо больше людей, и сочувствовавших Зощенко. Даже из числа сидевших в президиумах.

Когда верстался этот номер, вышли в свет воспоминания П. Капицы («Нева», № 5). Будучи в 1946-м году ответственным редактором «Звезды», он присутствовал на том совещании у Сталина, о котором рассказывает Вс. Вишневский, а также сидел в президиуме того собрания, на котором выступил со своим докладом Жданов. Уважительно называя Жданова Андреем Александровичем и выражая полное свое согласие с общим смыслом Постановления ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», автор этих воспоминаний сообщает, что «резкость формулировок и несправедливость по отношению к Зощенко, Ахматовой и другим писателям» уже тогда его ошеломила.

В воспоминаниях П. Капицы много недостоверного и даже прямо неверного. Так, например, в 1954-м году Зощенко уже никто не исключал из Союза писателей, поэтому трогательная история о том, как лучшие друзья Михаила Михайловича — М. Козаков, А. Марингоф и Е. Шварц, проголосовав за его исключение, приходили потом перед ним каяться, совершенно невероятно. Тем более, что М. Э. Козаков за два года до этого переехал в Москву, где тяжело болел, а по версии П. Капицы вся сцена этого «показания» происходила в ленинградской квартире М. Козакова. Во многом не соответствует действительности и рассказ П. Капицы о похоронах Зощенко (см. письмо Л. Пантелеева, стр. 185).

Тем не менее свидетельство автора этих воспоминаний, как и другие свидетельства подобного рода, скажем, запись Д. А. Левоневского, опубликованная в «Известиях» 20 мая 1988 г., представляют несомненный интерес. Как любил говорить Ю. Н. Тынянов, для историка не существует фальшивых документов.

...по-моему, все сейчас настолько скверно, как никогда еще не было...

«Октябрь» вернул М. М. рукопись с крайне вежливой телеграммой, извещающей, что, «к большому сожалению, рассказы для журнала не подошли...»

Это было для него таким страшным ударом, что я боясь, ему от него не оправиться...

В последний свой приезд в Сестрорецк он прямо говорил, что, кажется, его наконец уморят, что он не рассчитывает пережить этот год...

Особенно потрясло М. М. сообщение ленинградского «издательства», что будто бы его вообще запретили печатать независимо от качества работы... По правде сказать, я отказываюсь в это поверить, но М. М. утверждает, что именно так ему было сказано в [Ленинград] ском Союзе. Он считает, что его лишают профессии, лишают возможности работать, а этого ему не пережить...

Выглядит он просто страшно, худой, изможденный, сердце сдается до того, что по утрам страшно опухают ноги, ходит еле-еле, медленно, с трудом...

Из Москвы передали через Прокофьева, что там ждут от М. М. какого-то письма в Союз с копией в ЦК...

О том, что написать нужно, М. М. и сам давно думал и не написал до сих пор, во-первых, потому, что вначале мешало ужасное физическое и моральное состояние, в котором он находился до поездки в Сочинский санаторий. Во-вторых, после поездки, когда здоровье немножко подправилось, он решил, что должен ответить своей работой, и все силы, все нервы, весь мозг вложил в свою книгу, которую писал для «Октября»...

И вдруг — такой ужасный, неожиданный удар!..

А книга задумана очень сильная, нужная, полезная, и те рассказы, которые он написал, получили высокое одобрение у ряда понимающих людей из среды писателей, московских и ленинградских, кому он их читал.

Вообще все было бы совершенной катастрофой, если бы не одно обстоятельство, за что должно принести глубокую благодарность дорогому [Беньямину] А[лександровичу] — Благодаря его хлопотам, М. М. получил наконец предложение от автора (забыл фамилию) на большой осетинский перевод.

К сожалению, дело затянулось с оформлением договора, т. к. директор издательства ушел в отпуск и, очевидно, раньше 20 июля нельзя ожидать денег...

Бедный М. М. напрягает все силы, делает героические усилия, чтобы вернуться в ряды писателей, как полно-правный член, но все напрасно, все ненужно, все терпит крах...

Это ужасно. И ужаснее всего вся дикая несправедливость, велепоступь выдвинутых против него обвинений и невозможность реабилитировать себя!

Так, видно, и придется погибнуть с клеймом «воинствующего проповедника безыдейности»!

Какая возмутительная нелепость!.. Остальные дела тоже не веселят, но все меркнет перед страхом за жизнь М. М. и перед огромной жалостью к нему, так жестоко и несправедливо обиженному. Загублена человеческая жизнь, загублен большой, своеобразный, редкий талант, и это просто трагично!..

17 июля 1955. Был у Каверина. Лидия Николаевна показала мне письмо от жены Зощенко. Письмо страшное. <...> Прочтя это письмо, я бросился в Союз к Поликарпову **. П[оликарпов] ушел в отпуск. Я к Василию Александровичу Смирнову, его заместителю. Он выразил большое сочувствие, обещал поговорить с Сурковым. Через два дня я позвонил ему: он говорил с Сурковым и сказал мне совсем неофициальным голосом: «Сурков часто обещает и не делает, я прослежу, чтобы он исполнил свое обещание». Вот мероприятие Союза, связанные с Зощенковским делом: позвонили Храпченко*** и спросили его, почему он возвратил из редакции «Октябрь» десять рассказов Зощенки, написали М[ихаилу] М[ихайловичу] письмо с просьбой прислать рас-

казы, забракованные Храпченкой, написали вообще ободриительное письмо Зощенко и т. д.

Я поговорил с Лидиным, членом Литфонда. Лидин попытается послать М. М-чу 5000 рублей. Я с своей стороны послал ему приглашение приехать в Переделкино погостить у меня и 500 рублей. Как он откликнется, не знаю* <...>

Нет, Зощенко не приедет. Я получил от него письмо — гордое и трагическое: у него нет ни душевных, ни физических сил.

К Чуковский. Дневник.

Л. К. Чуковская — К. И. Чуковскому **

Июль 1955

Дорогой дед, третьего дня вечером я была у М. М. Зощенко. Разыскать его мне было трудно, так как он по большей части в Сестрорецке.

Наконец мы встретились.

Кажется, он похож на Гоголя перед смертью. А при этом умен, тонок, великолепен.

Получил телеграмму от Каверина (с сообщением, что его «загрузят работой») и через два дня ждет [Бениамина] А[лександровича] к себе.

Говорит, что приедет — если приедет — осенью. А не теперь. Болен: целый месяц ничего не ел, не мог есть. Теперь учится есть. Тебя очень, очень благодарит. Обещает прислать новое издание книги «За спичками».

Худ страшно, вроде Жени. «Мне на все уже наплевать, но я должен сам зарабатывать деньги, не могу привыкнуть к этому унижению».

М. М. Зощенко — К. И. Чуковскому

Дорогой Корней Иванович!

Я получил Ваше письмо и деньги. Очень смущен этим и благодарю Вас.

Дела мои в самом деле сейчас нехороши.

Вот уже год, как журналы не печатают меня. Издательства отказывают даже в самой малой работе (переводы, правка рукописей — что я всегда выполнял в хорошем качестве).

Если добавить, что такому же азиатскому наказанию я подвергался в течение 5 лет (с 46 г. по 50), то картина получается неприглядная.

Главное, у меня преступлений-то нет, а есть (по-моему) естественное поведение человека, который возражает, когда его бранят. Но возможно, что я устарел и потерял способность ориентироваться на сложных путях нашей жизни. Выходит, что нехорошо долго жить! В молодые годы у меня не было таких происшествий.

Зимой я полагал, что у меня, как и у всех порядочных людей, будет инфаркт, но, увы, этого не случилось. Однако здоровье мое все же весьма плохое. Меланхолия (как в молодости) нет, но по утрам встаю не без труда и с неохотой.

Из дома выхожу редко. По-стариковски сижу на бульваре. И нигде почти не бываю. Так что путешествие в Москву для меня сейчас задача невыполнимая. Очень, очень благодарен Вам за приглашение в Переделкино, но пока этого, даже и мысленно не могу себе представить. Видимо, я одинич, и в людях быть мне сейчас трудно.

Конечно, такое неподвижное состояние, надо полагать, у меня временное, но оно уже длится полгода. И мне иной раз даже из комнаты не легкоть выйти.

Но все это нездоровье не от душевной слабости, а от некоторой безнадежности выйти из того глупого положения, в котором я пребываю уже 9 лет.

С литературой я бы охотно порвал и ушел бы куда-нибудь в рыболовецкий колхоз, но постарел для таких перемен. Буду рассчитывать на то, что любовь моя к литературе восторжествует и я снова буду писать — хотя бы для себя.

Извините, дорогой Корней Иванович, что я засыплю Вам (до неприличия) грустное письмо. Не хотелось вовсе писать, но Ваше добре отношение ко мне заставило меня подойти к столу.

Еще раз благодарю Вас.

M. Зощенко

14/VII 55.

* Лидия Николаевна Тынянова (1902—1984), писательница, жена В. А. Каверина, сестра Ю. Н. Тынянова.

** Поликарпов Дмитрий Алексеевич (1905—1965) — в те годы секретарь СП СССР.

*** Храпченко Михаил Борисович (1904—1986) — литературовед.

* Дружеские отношения К. И. Чуковского и М. М. Зощенко сложились в 20-е годы. Подробнее об этом см.: «Зощенко в дневниках Чуковского» («Знамя», 1987, № 6).

** Письмо вклеено в дневник Чуковского 1 августа 1955 года.

(По штампу 19.7.55)

Дорогой Михаил Михайлович.

Я был в Союзе. Видел Василия Александровича Смирнова, который замещает уехавшего в отпуск Поликарпова. Вас. Алекс. искренне возмущен теми тяжелыми условиями, в которых протекает теперь Ваша работа. Он обещал принять все меры, чтобы облегчить эти условия. Очевидно, на днях Вы получите из Москвы (из Союза) соответствующие письма, запросы и т. д. Кроме того, Лидин, один из руководящих работников Литфонда, обещал мне послать Вам из Литфонда 5000 рублей.

Дача у меня уединенная. При желании Вы могли бы по неделям не встречаться ни с одним человеком (в том числе и со мной). Но если Вам не хочется двигаться с места, ничего не поделаешь. Но вот чего мне страстно хочется,— чтобы Вы не писали никаких писем в Союз Писателей — и выше — не показав их предварительно московским товарищам. Поэтому я хочу предварительно просить Вас: буде Вам захочется сочинить подобную бумагу, пришлите ее предварительно мне, дабы я мог показать ее Тихонову Н. С., Федину К. А. и другим Вашим друзьям, понимающим дело. Из разговора с руководителями литературы я вывел заключение, что в Москве отношение к Вам в настоящее время иное, чем в Питере.

Весь Ваш К. Чуковский.

5. Последние годы

Эта книга, для ее достоверности и для поднятия авторитета автора, все же обязывает меня жить по крайней мере 70 лет. Я боюсь, что этого не случится. У меня порок сердца, плохие нервы и несколько неправильная работа психики. В течение многих лет в меня стреляли из ружей, пулеметов и пушек. Меня травили газами. Кормили овсом. И я позабыл то время, когда я лежал на траве, беспечно наблюдала за полетом птиц.

М. Зощенко. Возвращенная молодость.

Его издавна увлекали теории, предлагавшие различные способы обретения душевного здоровья. Он смолоду мечтал о долголетии.

В августе 1933 года он закончил книгу «Возвращенная молодость». В ней эта проблема рассматривалась средствами не только художественными, но и, так сказать, научными. К повести был приложен особый раздел, озаглавленный «Комментарии и статьи к повести «Возвращенная молодость». В этих «комментариях и статьях» Зощенко обращался к биографиям знаменитых людей, жизни которых оборвалась слишком рано (таких, увы, оказалось большинство), а также к тем, кому удалось прожить долго, дожив до глубокой старости (таких, как выяснилось, тоже немало). Но из этих последних Зощенко обратил свой взгляд главным образом на тех, здоровые и долголетия жизни которых, по его мнению, были «организованы собственными руками».

С этой точки зрения его особенно интересовал Гете:

«Гете прожил до глубокой старости и до глубокой старости не потерял творческих способностей.

Этот великий человек был одним из очень немногих, который, прожив 82 года, не имел даже дряхлости.

«И когда он умер,— сообщает Эккерман,— и с него сняли платье, чтоб пересесть, оказалось, что его 82-летнее тело было юношески молодым, свежим и даже прекрасным».

Да, правда, по нашему мнению, Гете пошел на некоторый компромисс. Он... сделался блестящим придворным министром, выкинув всю двойственность, которая, несомненно, расшатывала его здоровье и его личность в молодые годы. Он сделался консерватором и «своим человеком» при герцогском дворе, чего, например, не мог сделать Пушкин...

Порядок и точность во всем были главные правила поведения Гете.

«Вести беспорядочную жизнь доступно каждому»,— писал Гете.

И, будучи министром, говорил:

«Лучше несправедливость, чем беспорядок».

М. Зощенко. Комментарии и статьи к повести «Возвращенная молодость».

«Лучше несправедливость, чем беспорядок» — это, пожалуй, даже отвратительнее, чем знаменитое молчалинское: «умеренность и аккуратность».

Но в тоне Зощенко нету и тени негодования, возмущения. Тон повествования самый объективный, даже сочувственный. И оговорка насчет того, что Гете «по нашему мнению пошел на некоторый компромисс», носит чисто формальный характер. Никакого сожаления по поводу того, что он пошел на этот компромисс, тут нет и в помине. Напротив: сожаление Зощенко высказывает по поводу того, что к такому компромиссу, увы, оказался неспособен Пушкин. Сумей он тоже «выкинуть всю двойственность, которая расшатывала его здоровье», так тоже небось прожил бы до 82-х лет, сохранив свое тело юношески молодым, свежим и даже прекрасным.

Но легко сказать — «выкинуть всю двойственность». А как это сделать?

Гете поступал, например, таким образом:

«Признаю, что хотя бы отвращение к шуму есть не только физическое, но и психическое состояние, он стал преодолевать это отвращение несколько, казалось бы, странным, но несомненно верным путем. Он приходил в казармы, где бьют на барабан, и подолгу заставлял себя слушать этот шум. Иной раз он, будучи штатским человеком, шагал вместе с воинскими частями, заставляя себя маршировать под барабанный бой» (там же).

Предположим, что Пушкин мог бы добиться таких же блестящих результатов. Тем более, что он, кажется, как раз не питал особого отвращения к военной музыке и барабанному бою. Скорее напротив:

Люблю, военная столица,
Твоек твердыни дым и гром...

и т. д.

Пушкина весь этот шум и гром не раздражал. Скорее он ему даже нравился. Так что отвращение к барабанному бою, даже если бы такое и было ему свойственно, он преодолел бы сравнительно легко. Но мог ли он преодолеть свое отвращение к кургузому камер-юнкерскому мундиру, этому символу несвободы, символу его зависимого, полуракайского состояния? Мог ли он победить свою ненависть к рабству? Задушить в себе живое, непобедимое стремление к покоя и воле?

Зощенко полагал, что мог:

«Есть такая замечательная фраза, сказанная Марком Аврелием: «Измени свое мнение о тех вещах, которые тебя огорчают, и ты будешь в полной безопасности от них».

Что это значит? Это значит, что любую вещь, любое обстоятельство мы можем оценить по своему усмотрению и что нет какой-то абсолютной цены для каждой вещи» (там же).

Измени свое мнение о вещах, которые тебя огорчают!..

Верил ли сам Зощенко в выполнимость этого совета? Трудно сказать... Одно несомненно: совет этот он адресовал не столько Пушкину, сколько самому себе. И столь же несомненно, что сам он воспользоваться этим мудрым советом не смог.

М. М. Зощенко — К. А. Федину

31 мая 1956.

Костинька, у меня к тебе небольшое литературное дело, которое, надеюсь, тебя не затруднит.

Еще 2 года назад Ленинградский секретариат ССП рекомендовал издательству «Советский писатель» (Ленинградский отделение) издать мой однотомник (или проще сказать — сборник моих старых и новых рассказов).

Издательство охотно согласилось на это. Однако без договора у меня не было возможности заняться этой книгой. И только теперь (зимой 1956 г.) я сделал такой сборник и сдал его издательству.

Редакция вполне одобрила книгу. И вот на днях директор и главный редактор издательства (Наумов) — выехал в Москву для утверждения редплана. Но перед этим мне издательство посоветовало написать кому-нибудь из руководителей Союза об этом деле — для того, чтобы директор издательства (в Москве) не выкинул бы из плана мою книгу, которая для него явится, быть может, неожиданной и страшноватой.

Вот по этой причине, Костинька, я и решил потревожить тебя. Ежели ты (и Секретариат) не против (в принципе) издать такой сборник, то очень желательно, чтобы кто-

нибудь позвонил бы директору и сказал бы ему о законности этого дела.

Тем более, что книга моя собрана с помощью издательства и она несомненно сможет пройти самую строгую цензуру.

Появление такой книги было бы для меня весьма желательно — это прекратило бы всякие пересуды вокруг меня и, так сказать, ввело бы меня снова в лоно советской литературы. А то я который уж год хожу в каких-то преступниках и не предвижу, как выйти из такого положения, какое мне навязано не по заслугам.

Хорошая и правильная книга из старых и новых рассказов начисто разрешит этот вопрос и прекратит мое «уголовное» дело, в котором уже и позабыты мои сочинения.

Так вот, если ты, Костинька, согласен с моими соображениями, то я буду просить тебя позвонить директору издательства, чтобы он не пугался моей фамилии. Конечно, это в том случае, если руководство Союза разделяет мнение Ленинградского секретариата о желательности выпустить мою книгу.

Мне же лично кажется, что только таким литературным [де]маршем можно убрать тот скандал, в котором я и сейчас еще ввязну.

А хотелось бы малый остаток жизни спокойно поработать.

Извини, мой дорогой Костинька, что я этим делом беспокою тебя. Я написал несколько слов В. Каверину, но он не в Секретариате. И я не уверен, что с ним посчитаются.

Да я и не стал бы поднимать все это дело, но мне почему-то думается, что такой выход необходим во всех отношениях.

Итак, прошу тебя позвонить директору издательства, согласовавшись с Секретариатом.

Твой (уже старый)

Мих. Зощенко.

Извини еще раз, что беспокою тебя своими делами.

P. S. Теперь у меня другая (маленькая) квартира (в том же доме). Ежели когда-нибудь напишешь: Ленинград, канал Грибоедова, 9, кв. 119.

Целую тебя

Мих.

12 июля 1956 г.

Костинька, сердечно благодарю тебя за твоё доброе письмо и за твоё «поручение», которое выполнил Ал. А. Сурков.

Госиздат и в самом деле подписал со мной договор на однотомник. Причем книгу выпускают еще в этом году (в декабре). Это, конечно, порадовало меня.

Без такой книги мне не хотелось возвращаться в литературу и поэтому я перебивался переводами. Но теперь дело меняется. И ежели господь-бог даст мне здоровья, то я еще может, снова «изумлю мир» какими-нибудь сочинениями.

Однотомник мой я складывал не без грусти. Я думал, что в юности я и в самом деле надебоширил. Ничего подобного! Добротельные рассказы! И даже с педагогическим уклоном.

На днях сдаю книгу издательству. В общем, событие это большое в моей тусклой жизни. И я снова чувствую себя литератором — то, чего не было у меня 10 лет.

Еще раз благодарю тебя и обнимаю.

Твой М. Зощенко.

М. М. Зощенко — В. Е. Ардову *

...дела мои, Витенька, пошли в гору. Госиздат печатает мой однотомник — рассказы 20-х и 30-х годов (25 листов). Книга выйдет в этом году, до декабря — как обещает издательство. Так что я несколько разбогател — чего не было со мной лет пятнадцать.

Все остальные мои (литературные) дела тоже сейчас в порядке и суют золотые горы.

17/VII/56.

К. И. Чуковский — М. М. Зощенко

28.12.56.

Знаю, дорогой Михаил Михайлович, что Вы не любите никаких поздравлений, тостов, комплиментов и т. д. Я тоже их терпеть не могу. Но сейчас я прочитал Вашу книгу, и мне захотелось от всей моей старицкой души пожелать Вам счастливого, труженического гордого Нового Года. Крепко жму Вашу руку.

Ваш К. Чуковский.

М. М. Зощенко — К. И. Чуковскому.

Благодарю Вас, дорогой Корней Иванович, за Вашу милую открытку.

Как жаль, что Вы не написали мне — что хорошо и что плохо в моей книге!

Сейчас передо мной верстка моего однотомника (для массового тиража госиздата) и я в затруднении — надо вычеркнуть 10—12 рассказов, так как в сборнике на несколько листов больше, чем следует. И я не знаю, что убрать, чтобы не попортить сборника.

Ах, если бы у Вас нашлось минут десять для этого дела! Вы бы написали мне, что в моей книжке Вам было огорчительно или же неприятно видеть.

Как это помогло бы мне.

Ведь можно написать в 2-х словах — перечислить несколько названий, ежели книга у Вас под рукой.

Я на всякий случай задержу верстку на неделю.

Но, конечно, пусть это Вас ни к чему не обязывает, дорогой Корней Иванович. Я и без этого (как и всегда) буду Вас сердечно любить и почитывать Ваш светлый разум.

Да и тени не будет неудовольствия. Но просто я подумал, что мне и в самом деле очень бы сейчас помогли Ваши самые краткие замечания.

Кстати скажу, что и в первый и в массовый сборник (они по содержанию почти одинаковы, но во 2-ом сборнике на 8 листов больше) я не включал «дискуссионных произведений».

Хотелось сделать простенькую книжку.

Что, мне кажется, удалось?

Но не буду задавать вопросов. Сейчас речь только идет о том, что надлежит вычеркнуть из сборника.

Очень порадуюсь, если получу вторую Вашу открытку.

Ваш Мих. Зощенко.

4 янв. 57 г.

К. И. Чуковский — М. М. Зощенко

Дорогой Михаил Михайлович!

О первом отделе и говорить нечего. Перечитывая «Няню», «Аристократку», «Нервных людей» и т. д., я хотела до икоты. Главная их прелест в том, что каждая новая фраза рождает новую волну смеха, даже независимо от развития сюжета. Все это вещи долговечные, сработанные раз и навсегда. «Рассказы для детей» — из того же гранита. «Рассказы о Ленине» тоже. Если где есть кое-какие возможности разгрузить книгу, они являются только в отделе «Повестей». И хотя «Черный принц» и «Шевченко» написаны с великим мастерством, очень прозрачно, классически четко, я могу представить себе другого большого писателя, который написал бы то же самое. В них гораздо меньше зощенковского, чем в других вещах этого сборника. Поэтому с ними легче расстаться, чем с какими-нибудь другими вещами.

И еще: все мы знаем, что Вы — патриот и подлинно советский писатель. Это не требует никаких доказательств. А составитель книги, стараясь во что бы то ни стало доказать свою аксиому, печатает и «Возмездие» и «Солдатские рассказы». Не слишком ли это густо? Вы не нуждаетесь в свидетельствах о благонадежности.

Из двух «Баня» не оставить ли одну, первую?

А в общем — сборник отличный. Врачаясь среди молодежи (внуки и товарищи внуков), я вижу, каким он пользуется огромным успехом.

Крепко жму Вашу руку

Ваш К. Чуковский.

7 января 57 г.

Переделкино.

* Ардов Виктор Ефимович (1900—1976) — писатель.

...Вторая книга моя (избранные рассказы) выходит-таки в Госиздате, но выходит (онять) в малом тираже. Хотели печатать 150 тысяч, а дошли до 80. Стало быть, книги опять не появятся на прилавке.

Вообще-то мне наплевать, но денежно — огорчительно. Все еще не могу разбогатеть, чтобы заняться литературой, как прежде.

Книга выходит в конце апреля либо в начале мая. Верстка уже подписана. Но книга — тощая. Из 37 листов оставили 27. И тут — убыток.

Под конец жизни стал скуч. И кроме гонорара ничем не интересуюсь.
30/III 57.

3 декабря 1957.

Дорогой Костињка, спасибо за книгу. Читаю ее с великим интересом и с наслаждением. И вовсе не потому, что там имеются страницы обо мне.

Обо мне — иная речь. Читая твою статью, я не раз от изумления подскакивал на стуле — до того тонко и умно ты проанализировал многие мои «ситуации»*.

Вот — почти прожил я свою жизнь, а не знал, что ничего не укрылось от твоих глаз. В другой раз (ежели вторично буду жить) поведу себя в юности более осмотрительно.

Но вот что смущает меня в твоей удивительной статье. В молодые годы мои, когда в душе было много гордыни, я и в самом деле обижался и «на Горбунова» и даже, пожалуй, «на Лескова». А теперь строго смотрю на литературу. Увидел в моих сочинениях множество самого непростильного сору. И отчасти по этой причине стало мне как-то неловко и совестно от твоей высокой похвалы. Поверь: говорю об этом не от ханжества, а по чистой справедливости.

И второе дело: беспокоюсь — не выпустили бы на тебя какого-нибудь доктора филологических наук, типа Ермилова, который совершенно уверен, что я-то и есть мещанин, а что он (со своей неумытой харей) уже прописнулся в первые ряды коммунистического общества.

Было бы огорчительно, если бы кто-нибудь из таких задел бы тебя. Ну да бог милостив!

А в общем, благодаря тебе, мой старый друг, что ты захотел вырвать из пленя мой почти погасший дух. В молодые годы, прочитав столь высокую похвалу, я бы тебе сказал: «Уж и не знаю, дружище, сумею ли я оправдать твои надежды!»

А нынче подвертываются на мой язык какие-то совсем иные слова. Что-то, понимаешь, вроде: «И новая печаль мне скажала грудь, мне стало жаль моих покинутых цепей...»

Да, за 15 лет я привык к моим веригам. Привык к мысли, что обойдусь без литературы. Ложась спать, я уже перестал думать о ней, как думал прежде — всякий вечер. Да и сейчас я не мыслю себя в этом прежнем качестве.

И вот теперь твоя статья ужасно, ужасно встревожила меня. Как? Неужели надо будет опять вздуть на свои плечи тот груз, от которого я чуть не сдох? А ради чего? И сам не знаю. Мне-то какое собачье дело до того — какое будет вперед человечество.

Много было во мне дурости. За что и наказан.

Что же теперь? Нет, я, конечно, понимаю, что формально почти ничего не изменится в моей жизни. Но в душе, вероятно, произойдут перемены. И вот я не знаю — хватит ли у меня сил отказаться от того, что так привлекало меня в юности и что теперь опять, быть может, станет возможностью.

А надо, чтобы хватило сил отказаться. Иначе не умру так спокойно, как я рассчитывал до этого чрезвычайного происшествия, какое ты вдруг учил в моей жизни своей статьей обо мне.

Целую тебя, мой старый друг. И еще раз благодарю тебя за твое доброе сердце и за твой светлый разум.

Твой Мих. Зощенко.

Дорогой Михаил Михайлович, я вчера был в Союзе и говорил с В. А. Смирновым по поводу Вашей персональной пенсии. Смирнов при мне связался по телефону с ЦК, прося ускорить это дело. Из его слов я понял, что и он, и тов. Поликарпов очень энергично настаивают на том, чтобы Вам была выдана не какая-нибудь, а именно Всесоюзная пенсия. Вообще говорили о Вас уважительно.

Статья Федина (в его последней книге) имеет большой резонанс. Книга разошлась здесь в один день.

Любящий Вас

К. Чуковский.

29 янв. 1958.

Дорогой Корней Иванович!

Сердечно благодарю за Ваше милое письмо. И за то, что Вы побывали в Союзе, — узнали о моей пенсии.

С грустью подумал, что какая, в сущности, у меня была дрянная жизнь, ежели даже предстоящая малая пенсия кажется мне радостным событием. Эта пенсия (думается мне) предохранит меня от многих огорчений и даст, быть может, профессиональную уверенность.

Мне и самому не нравятся эти мысли. Ведь не так же плохо у меня было прежде. Вот в 56 году издан был мой однотомник и я получил за него почти 70 тысяч. Да и до войны все время были деньги.

Это, вероятно, за последние 15 лет меня так застрашали.

А писатель с перепуганной душой — это уже потеря квалификации. Снова возьмусь за литературу, когда у меня будет на книжке не менее 100 тысяч.

Впрочем, прежнего рвения к литературе уже не чувствую. Старость! Позавидовал Вашей молодости и энергии.

Рецептура, впрочем, и у меня есть. Надо игнорировать старость. И тогда тело будет послушно выполнять предначертанное. Пожалуй, не только старость, но и смерть зависят от собственного мужества.

Быть может (ради спортивного интереса) испробую эту рецептуру.

Сердечно приветствую Вас и еще раз благодарю

Мих. Зощенко.

11 февраля 58 г.

Дорогой Корней Иванович,

я слегка заболел, простудился. Боюсь выходить на улицу. Посылаю поэтому почтой эти мои 4 книжки.

Я начал было в них вычеркивать, то, что мне не нравится. После бросил. Очень много не нравится.

Посылаю так как есть. Пущай переводчик сам разбирается. Только я думаю, что «просвещенная нация» вряд ли одобрит мою литературу. Очень уж это не в ихнем плане.

Всего хорошего, Корней Иванович

Ваш Зощенко.

[Б/д]

21 марта 1958. <...> Так как сейчас 90 лет со дня рождения Горького, в Литературном музее — вечер, устраиваемый Надеждой Алексеевной Пешковой*. Она пригласила меня выступить с воспоминаниями. По этому случаю я взял Тату** на Никитскую — к Пешковым. <...> Самое интересное, что услышал я там, было приглашение на горьковский вечер — Зощенко. Самый помпезный вечер состоится в зале Чайковского — 3 апреля. Вот на этот-то вечер и решено пригласить М. М. Чуть только Надежда Алексеевна узнала об этом, она позвонила ему и попросила его приехать раньше и остановиться у них на Никитской. Это могло бы быть для М. М. новым стимулом к жизни. Сейчас он очень подавлен из-за того, что ему не выдают всесоюзной пенсии.

30-е марта. Вчера вечером в доме, где жил Горький на Никитской собралась вся знать. Были Кукрыники, летчик Чухновский, летчик Громов, Юрий Шапорин, Козловский, проф. Сперанский, Мих. Слонимский, министр культуры Михайлов, Никола Бажан, Людмила Толстая, горьковед

* Речь идет о статье «Михаил Зощенко», которую Федин написал в 1943 году, а опубликовал впервые в книге «Писатель, искусство, время», М. 1957, с. 171—181.

** Надежда Алексеевна Пешкова (1901—1970) — невестка М. Горького.

*** Наталья Николаевна Костюкова (р. 1925) — внучка К. И. Чуковского.

Б. Бялик, дочь Шаляпина, Капицы (академик с супругой), Аносимов — и Зощенко, ради которого я и приехал.

В столовой накрыты три длинных стола и (поперек) два коротких, и за ними в хороших одеждах, сътые, веселые лауреаты, с женами, с дочерьми, сливки московской знати, и среди них — он — с потухшими глазами, со страдальческим выражением лица, отрезанный от всего мира, растоптаный.

Ни одной прежней черты. Прежде он был красивый меланхолик, избалованный славой и женщинами, щедро наделенный лирическим украинским юмором, человеком большой судьбы. Помню его вместе с двумя другими юмористами: Женей Шварцем и Юрием Тыняновым в Доме искусств, среди молодежи, когда стены дрожали от хохота, когда Зощенко был недосягаемым мастером сатиры и юмора, — и все глаза зажигались улыбками всюду, где он появлялся.

Теперь это труп, заключенный в гроб. Даже странно, что он говорит. Говорит он нудно, тягуче, длиннейшими предложениями, словно в труп вставили говорильную машину — через минуту такого разговора вам становится жутко, хочется бежать, заткнув уши. Он записал мне в «Чукоккалу» печальные строки:

И гений мой поблек, как лист осенний,
В фантазии уж прежних крыльев нет.

Слово «прежних» он написал через Е. Я сказал ему:

— Как я помни ваши Е.

— Да, было время: шутил и выделявал штучки. Но, Корней Иванович, теперь я пишу еще злее, чем прежде. О, как я пишу теперь!

И я по его глазам увидел, что он ничего не пишет и не может написать. Екатерина Павловна* посадила меня рядом с собою — почетное место; я выхлопотал, чтобы по другую сторону сел Зощенко. Он стал долго объяснять Екатерине Павловне значение Горького, цитируя письмо Чехова — «а ведь Чехов был честнейший человек» — и два раза привел одну и ту же цитату — и мешал Екатерине Павловне есть, повторяя свои трибуналы. Я указал ему издали Ирину Шаляпину. Он через несколько минут обратился к жене Капицы, вообразив, что это и есть Ирина Шаляпина. Я указал ему его ошибку. Он сейчас же стал объяснять жене Капицы, что она не Ирина Шаляпина. Между тем предположено 3-го марта (апреля. Б. С. и Е. Ч.) его выступление на вечере Горького. С чем же он выступит там? Ведь если он начнет канительить такие банальности, он только пуще повредит себе — и это ускорит его гибель. Я спросил его, что он будет читать. Он сказал: «Ох, не знаю». Потом через несколько минут: «Лучше мне ничего не читать: ведь я заклеймленный, отверженный».

Мне кажется, что лучше всего было бы, если бы он прочитал письма Горького и описал бы наружность Горького, его повадки — то есть действовал бы как мемуарист, а не как оценщик.

Все это я сказал ему — и выразил готовность помочь ему. Он записал мой телефон. <...>

Зощенко седенький, с жидкими волосами, виски вдавлены внутрь и этот потухший взгляд!

Очень знакомая российская картина: задушевный, убитый талант. Полежаев, Николай Полевой, Рылеев, Мих. Михайлов, Есенин, Мандельштам, Стенич, Бабель, Мирский, Цветаева, Митя Бронштейн, Квитко, Бруно Ясенский, Ник. Бестужев — все раздавлены одним и тем же сапогом.

1 апреля. Мне 76 лет...** Снился мне Зощенко. Я привлекла его к себе, пошли за ним машину. Он остановился у Вл[адимира] Александровича Лифшица, милого поэта. Я не знаю нового адреса Вл. Ал. — мне хочется, что Зощенко был у меня возможно раньше, чтобы выяснить, можно ли ему выступать 3-го на Горьковском вечере или его выступление причинит ему много бед. Я условился с В. А. Кавериным, что он (Каверин) придет ко мне, и мы, так сказать, проэкзаменуем Зощенку — и решим, что ему делать.<...>

Гости: Каверины, Фрида, Тесс, Наташа Тренева, Лиза, Люша, Ника, Сергей Николаевич (шофер), Людмила Толстая, Надежда Пешкова, Левин, Гидаш, Зощенко, Маргарита Алигер. Я был не в ударе, такое тяжелое впечатление произвело на меня Зощенко. Конечно, ему не следует высту-

* Екатерина Павловна Пешкова (1876—1965) — первая жена М. Горького.

** 1 апреля — день рождения К. И. Чуковского.

пать на горьковском вечере: он может испортить весь короткий остаток своей жизни. Когда нечего было делать, я предложил, чтобы каждый рассказал что-нибудь из своей биографии. Зощенко сказал:

Из моего повествования вы увидите, что мой мнимый разлад с государством и обществом начался раньше, чем вы думали — и что обвинявшие меня в этом были так же далеки от истины, как и теперь. Это было в 1935 году. Был у меня роман с одной женщиной — и нужно было вести дело осторожно, т. к. у нее были и муж и любовник. Условились мы с нею так: она будет Одессе, я в Сухуми. О том, где мы встретимся, было условлено так: я зайду в Ялту и там на почте будет меня ждать письмо до юбилея с указанием места свидания. Чтобы проверить почтовых работников Ялты, я послал в Ялту «до юбилея» письмо себе самому: вложил в конверт клочок газеты и надписал на конверте: М. М. Зощенко. Приезжал в Ялту: письма от нее нет, а мое мне выдали с какой-то заминкой. Прошло 11 лет. Ухаживаю я за другой ладой. Мы сидим с ней на диване — позвонил телефон. Директор Зеленого театра приглашает — нет, даже умоляет меня выступить — собралось больше 20 000 зрителей. Я отказываюсь — не хочу расставаться с ладой.

Она говорит:

— Почему ты отказываешься от славы? Ведь слава тебе милее всего.

— Откуда ты знаешь?

— Как же. Ведь ты сам себе пишешь письма. Однажды написал в Ялту, чтобы вся Ялта узнала, что знаменитый Зощенко удостоил ее посещением.

Я был изумлен. Она продолжала:

— Сунул в конверт газетный клочок, но на конверте вывел крупными буквами свое имя.

— Откуда ты знаешь?

— А мой муж был работником ГПУ, и это твое письмо наделало ему много хлопот. Письмо это было перлюстрировано, с него сняли фотографию, долго изучали текст газеты... и т. д.

Таким образом, вы видите, господа, что власть стала преследовать меня еще раньше, чем это было объявлено официально, — закончил Зощенко свою новеллу...

К. Чуковский. *Дневник*.

Существует несколько других версий этого устного рассказа Зощенко. Приводим вариант концовки рассказа, записанный писателем Кириллом Косцинским:

И вот в руки НКВД попало мое письмо, то самое, которое я отправил самому себе. Его вскрыли, извлекли обрывок газеты и принялись его изучать. Они пытались обнаружить симпатические чернила, они рассматривали этот обрывок в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах, они разглядывали его с помощью лупы в надежде найти какие-то надколотые буквы, с помощью которых кто-то пытался передать мне какое-то сообщение. Конечно, они ничего не нашли и терялись в невероятных догадках.

И тут муж моей дамы еще раз взглянул на конверт, узнал, наконец, мой почерк и сразу понял, в чем дело: Зощенко приехал в Ялту и обнаружив, что местные газеты ни словом не обмолвились об этом событии, решил написать письмо самому себе с тем, чтобы почтовая барышня, прочитав имя адресата, оповестила бы о его приезде всех его ялтинских поклонниц и поклонников.

Трудно было придумать что-либо глупее!

И вот в то время, когда имя Жданова вряд ли было кому-либо известно, за много-много лет до всех тех несчастий, которые произошли со мною и лишили меня возможности работать в литературе, это фантастическое, непостижимое внимание ко мне со стороны НКВД вдруг открыло мне глаза: я понял, что нахожусь в неразрешимом конфликте с обществом, в котором живу.

Эпилог

Я попробовал заговорить с ним о его сочинениях... Он только рукою махнул.

— Моя сочинения? — сказал он медлительным и ровным своим голосом. — Какие мои сочинения? Их уже не знает никто. Я уже сам забываю свои сочинения...

К. И. Чуковский. *«Зощенко»*.

Сегодня книги Зощенко выходят огромными тиражами. Вышло даже трехтомное собрание сочинений (правда, не вобравшее и половины им написанного).

Но вот уже сейчас, в наши дни, один критик предложил одному уважаемому толстому журналу написать статью о Зощенко, приурочив ее публикацию как раз к выходу этого самого трехтомного собрания сочинений.

Когда сотрудница журнала поделилась этой идеей с главным редактором, тот задумчиво сказал:

— Что ж, пусть напишет... Хотя, между нами говоря, этот ваш Зощенко писатель-то сла-абенский...

Л. Пантелеев — Л. К. Чуковской

Разлив
6.VIII—58.

...Вы просите меня написать о последних днях Михаила Михайловича. Ничего не знаю, давно не видел его, перед отъездом на дачу собирался заехать, навестить — и не собрался.

О его смерти я узнал из коротенького объявления в «Ленинградской Правде». Я все еще болен был, лежал, но упросил Элико* взять меня на похороны. М[ежду] прочим, мы боялись, что его уже похоронили. Как и следовало ожидать, телефон С[оюза] П[исателей] не откликался. Элико позвонила Л. Н. Рахманова и выяснила, что панихида и вынос — в Союзе, в 12 ч. Чудом поимали на шоссе такси и вовремя прибыли на ул. Воинова.

Народу было много, но, конечно, гораздо меньше, чем ожидали некоторые. Власти прислали наряд милиционеров, однако у П. Капицы, ответственного за все это «мероприятие», хватило ума и такта удалить их.

Эксцессов не было. И читателей почти не было. На такие события отзыается обычно молодежь, а молодежь Зощенко не знала. Все-таки ведь 12 лет подряд школьникам на уроках литературы внушили, что Зощенко это — где-то рядом с Мережковским и Гиппиус. И в библиотеках его много лет не было.

И все-таки наше союзное начальство дрейфило.

Гражданскую панихиду провели на рыхлях.

Заикаясь и волниясь, с отвратительной оглядкой, боясь сказать лишнее или недостаточно сказать в осуждение покойного, выступил Прокофьев. О Зощенко он говорил так, как мог сказать о И. Заводчикове или М. Марченкове **.

Выступил Б. Лихарев. Позже жена его призналась Элико, что все утро он так волновался, что поминутно пил валерьянку и глотал какие-то таблетки.

Вытаращив оловянные глаза, пробубнил что-то бессвязное Саянов. Запомнилась мне только последняя его фраза. Сделав полуоборот в сторону гроба, щекнул толстой ногой и сухо, с достойным, вымеренным кивком, как начальник канцелярии, изрек:

— До свиданья, тов. Зощенко.

И вдруг —

— Слово предоставляется Леониду Ильичу Борисову.

Это малоприятный человек. Многие отзываются о нем дурно в высшей степени. Выступает он всегда с актерским наигрышем. И здесь, у гроба М. М. Зощенко, когда Борисов, получив слово, выдвинувшись из толпы, прикусил «до боли» губу, потом минуты две щелкал (буквально) зубами, как бы не в силах справиться с волнением, — мне вспомнилось, как смешно и похоже изображал Борисова Е. Л. Шварц. Точно так же, не в силах справиться с волнением, щелкал Борисов зубами, выступая на траурном митинге, посвященном Сталину. Тогда он, говорят, еще и воду пил.

Но на этот раз он сказал (из каких побуждений — не знаю) то, что кто-то должен был сказать.

Начал он свое слово так:

— У гроба не лгут. У всех народов, во всех странах и во все времена у верующих и у неверующих был и сохранился обычай — просить прощения у гроба почившего. Мы знаем, что М. М. Зощенко был человек великолепный. Поэтому, я думаю, он простит многим из нас наши прегрешения перед ним вольные и невольные, а их, этих прегрешений, скопилось немало.

Сказал он и о том месте, какое занимает Зощенко в нашей литературе, о патриотизме его, о больших заслугах его перед Родиной и народом.

Одно место в этой речи показалось (и не мне одному)

странным. Он сказал, что Зощенко был патриотом, другой на его месте изменил бы родине, а он — не изменил.

Сразу же после Борисова слово опять взял Прокофьев:

— Товарищи! У гроба не положено разводить, так сказать, дискуссии. Но я, так сказать, не могу, так сказать, не ответить Леониду Ильичу Борисову...

И не успел Прокофьев стушеваться — визгливый голос Борисова:

— Прошу слова для реплики.

Борисов оправдывается, растолковывает, что он хотел сказать.

Прокофьев подает реплику с места.

В толпе, окружившей гроб, женские голоса, возмущенные выкрики...

В тесном помещении писательского ресторана жарко, удушливо пахнет цветами, за дверью, на площадке лестницы четыре музыканта безмятежно играют шопеновский марш, а здесь, у праха последнего русского классика идет перепалка.

Вдова М. М., подняв над гробом голову, тоже встревает в эту, «так сказать», дискуссию:

— Разрешите и мне два слова.

И не дождавшись разрешения, выкрикивает эти два слова:

— Михаил Михайлович всегда говорил мне, что он пишет для народа.

Становится жутко. Еще кто-то что-то кричит. Суетятся, мечутся в толпе перепуганные устроители этого мероприятия.

А Зощенко спокойно лежит в цветах. Лицо его — при жизни темное, смуглее, как у факира, — сейчас побледнело, посерело, но на губах играет (не стынет, а играет!) неповторимая зощенковская улыбка-усмешка.

Панихиду срочно прекратили. Перекрывая другие голоса и требования вдовы «зачитать телеграммы», Капица предлагает родственникам проститься с покойным.

Я тоже встал в эту недлинную очередь, чтобы последний раз посмотреть в лицо М. М. и приложитьсь к его холодному лбу.

И тут, когда все вокруг уже двигалось и шумело, когда швейцары и гардеробщики начали выносить венки — над гробом выступил-таки читатель. Почти никто не слыхал его. Я стоял рядом и кое-что слышал.

Пожилой еврей. Вероятно, ваканце вечером и ночью готовил он свою речь, думая, что произнесет ее громогласно, перед лицом огромного скопища людей. А говорить ему пришлось — почти наедине с тем, к кому обращены были его слова!

— Дорогой М. М. С юных лет вы были моим любимым писателем. Вы не только смешили, вы учили нас жить... Примите же мой низкий поклон и самую горячую, сердечную благодарность. Думаю, что говорю это не только от себя, но и от лица миллиона ваших читателей.

Тут же, в этой шумной суете, подошел ко мне незнакомый, очень высокий человек и сказал:

— 50 лет я знал Мишу. Вместе в 8-й гимназии учились.

Хоронили Михаила Михайловича — в Сестрорецке. Хлопотали о Литераторских Мостках — не разрешили.

Ехали мы в автобусе потребальной конторы. Впереди меня сидел Леонид Раковский. Всю дорогу он шутил с какими-то дамочками, громко смеялся. Заметив, вероятно, мой брезгливый взгляд, он резко повернулся ко мне и сказал:

— Вы, по-видимому, осуждаете меня, А. И. Наприсно. Ей-Богу. М. М. был человек веселый, он очень любил женщин. И он бы меня не осудил.

И этой растленной личности поручили «открыть траурный митинг» — у могилы. Сказал он нечто в этом же духе — о том, какой веселый человек был Зощенко, как он любил женщин, цветы и т. д.

Следующим выступил с большой речью — Н. Ф. Григорьев. Он рассказал собравшимся о том, какой Зощенко был интересный, своеобразный писатель. Осмелев, Н. Ф. сообщил даже, что ему «посчастливилось работать с М. М.». Все решили, что Зощенко редактировал Григорьева. Оказывается, наоборот, — Григорьев, будучи редактором «Костра», редактировал рассказ Зощенки.

— Работать было легко и приятно. С молодыми иной раз бывает труднее работать.

Стиль был выдержан до конца.

По просьбе кого-то Григорьев соврал, сказав, что хоронят М. М. в Сестрорецке — по просьбе родственников.

На кладбище приехали много народа, пожалуй, больше,

* Элико Семеновна Пантелеева — жена Л. Пантелеева.

** Заурядные ленинградские писатели-лапповцы 20-х — 30-х годов.

чес на панихиду. Из москвичей я узнал Д. Д. Шостаковича, Ю. Нагибина.

Не раз в этот день вспоминали мы с друзьями Конюшенную церковь, вагон для устриц и пр.

Но на кладбище хорошо: дюны, сосны, просторное небо. День был необычный для нынешнего питерского лета — солнечный, жаркий, почти знойный.

Вы пишете: «Какая это потеря для нашей литературы!» Зощенко был потерян для нашей литературы 12 лет назад. Он сам это понимал. Еще тогда, в 48 году он сказал Жене Шварцу:

«Хорошо, что это случилось сейчас, когда мне уже исполнилось 50 лет, и я сделал почти все, что мог сделать».

И все-таки очень горько было — и читать эти холодные казенные слова в узенькой черной рамке, и стоять у свежего холмика на кладбище, и снова ехать в город, где уже нет и не будет Михаила Михайловича.

B. V. Зощенко — K. I. Чуковскому

Дорогой Корней Иванович! Позвольте горячо поблагодарить Вас за Ваши добрые слова о моем дорогом Михаиле Михайловиче, а также и за Ваши заботы о нем в эти трудные для него годы, о них он мне неоднократно рассказывал. Доброе отношение старых друзей было для него всегда большой поддержкой и утешением.

К несчастью, не удалось ему ни одного месяца после 46 года вздохнуть, пожить спокойно — последнюю зиму его страшно мучил вопрос с пенсий, который разрешился лишь в самом конце июня. И вот, едва оправившись от первой весенней болезни, он, несмотря на мои просьбы поручить это делу сыну, поехал в Ленинград за получением пенсионной книжки и пенсии, которую и получил первый и последний раз в жизни. Вернулся он в Сестрорецк смертельно больной... И сколько мыслей, сколько невоплощенных замыслов исчезло вместе с ним! <...> Союз обещал позаботиться о могиле — поставить ограду, памятник... не знаю, осуществится ли это на деле, если нет, надо будет при первой возможности сделать это за свой счет...

Но все это — неважно.

Важно и страшно лишь то, что его нет, что он никогда не вернется...

2.X.58.

B. E. Ардов — B. V. Зощенко

...Он был сатирик божьей милостью. Ненависть по отношению к злу сочеталась в нем с удивительной добротой, любовью к людям. А этого даже в лучшие годы его жизни никто не отмечал. Между тем без такой доброты всякая сатира мертва.

Да, у Михаила Михайловича живы и будут жить бесконечно его короткие новеллы, исполненные большой человеческой мудростью. И мудрость эту тоже проглядели наши критики. Откуда она взялась — мудрость? Вот от сочетания доброты, ума и таланта. Зощенко все знал о людях и о жизни. Его не сбивали с толку ни обыденные воззрения мелких людишек, ни проходящие «кампании» — шумные и кратковременные, словно мотыльки...

Интересно, что рассказы Зощенко обладают глубиной, точно соответствующей глубине данного читателя. Для глупого человека в них достаточно элементов прямого комизма — смешных действий и слов, положений и гипербол. Для человека потолковее в этих же рассказах сквозит удивительное знание быта и правов, лексикона и повадок современного мещанина. А тот, что способен посмотреть еще глубже, увидит грустную улыбку доброго философа. Сочетание таких различных свойств есть явление редчайшее в мировой литературе. <...>

Последний год жизни Михаила Михайловича был очень страшным. Я редко видел его, но было ясно, что он уходит от нас, уходит быстро и непоправимо. Система мелких уков и мелких подлостей <...> трамвировала его чуть не ежедневно. Ему не давали забыть, что с ним произошло. И даже у открытого гроба трусливый перестраховщик А. Прокофьев позволял себе какие-то рефлики, свидетельствующие о том, что он и мертвого Зощенко боится, как человека, из-за которого могут возникнуть царапины на его карьере литературного чиновника. Это срам!..

21.X.58.

оэ

...могила Зощенко. Пески, дюны. Двое — типа молодых рабочих или студентов так же как и мы искали могилу. Вспомнила Зощенко каким его знала, — красивым, немного жестокомужским. Палку с набалдашником, что мне не понравилось, воротник соболий, господинский. <...> Едем в Сестрорецк к Вере, жене Зощенко. Дача — требующая незамедлительного ремонта. Серая, цвета осиного гнезда. Но на запущенной клумбе бледно-розовые розы: «Как бы Миша удивился — «что это ты тут развел!»... Дача из клетушек. Обои, поблекшие, с веночками, железная кровать из мансарде, под тягучим одеялом, солдатского типа. «Он все в окно поглядывал. Последнее время отсюда не ходил». «Ел одно яйцо по утрам». «Умер, потому что не хотел жить».

Валерия Герасимова *. Дневник.

L. Пантелеев — L. K. Чуковской

Разлив, 7.VIII.59 г.

...22-го июля, в годовщину смерти М. М. Зощенко мы ездили на кладбище: Александра Ивановна, Элико, я, Маша ** и 7-летний мальчик, гостящий у Ал[ександры] Ивановны].

С горечью вспоминается мне эта прогулка.

Я почему-то считал, что на могиле в этот день будет много народа, и не знал, как поступить с ребятами, — не будут ли они шуметь, прилично ли это, не оставить ли их где-нибудь в отдалении. Напрасны были мои опасения.

Могилу мы отыскали с трудом. Впрочем, это никакая даже не могила. Как в прошлом году засыпали яму и свалили на нее цветы и венки, так все и лежит нетронутым в течение года. Не только памятника, надгробной плиты или простой дощечки с именем покойного нет — даже холмика могильного нет. Пройдет год, и не найти будет могилы, сгинут венки и ленты, смоют их дожди, заметет песок...

B. V. Зощенко — K. I. Чуковскому

Дорогой Корней Иванович... хочу попросить Вашего совета вот в каком деле: приближается (10/8-65) семидесятилетие Михаила Михайловича... Все последние годы жизни его особенно мучила одна мысль — он постоянно говорил — «Всех реабилитируют, меня одного не могут реабилитировать». И так он ждал, так хотел этой «реабилитации»! И не дождался!

И до сих пор ее нет!

До сих пор имя Зощенко остается в тени, замалчивается, и молодой читатель в массе не знаком с его литературой...

А для Михаила Михайловича «самое главное» в жизни была — его литература. Была всегда.

Помню конец 18 года... Михаил приехал с фронта гражданской войны... Пришел ко мне... Он очень любил меня тогда... Пришел первый раз в валенках, в коротенькой куртке, перешитой собственноручно из офицерской шинели...

Топилась печка, он стоял, прислонившись к ней, и я спросила:

— Что для Вас самое главное в жизни?

Я, конечно, рассчитывала, что он ответит: «Конечно, Вы!» Но он сказал: «Конечно, МОЯ ЛИТЕРАТУРА!»

Это было в декабре 1918 года.

И так было ВСЮ ЖИЗНЬ!

И вот теперь дело всей его жизни, его ЛИТЕРАТУРА понемногу забывается...

И я с болью за него отмечаю это...

Зимой я перечла сохранившиеся в архиве письма читателей... Письма колхозников, рабочих, детей, «рядовых читателей», «высокой интеллигенции», письма с фронта...

О чем они говорят?

Они говорят о том, за что любили и ценили Зощенко его читатели, за что были они ему благодарны...

Они говорят, что «искусство Зощенко было ПОНЯТО НАРОДУ И ЛЮБИМО ИМ».

И они говорят за то, что нужно ВЕРНУТЬ НАРОДУ ЗОЩЕНКО, вернуть его доброе, незапятнанное имя!..

27.3.65.

* Герасимова Валерия Анатольевна (1903—1970) — писательница.

** Александра Ивановна — сестра, Маша — дочь А. И. Пантелеева.

Вы придумали машину, на которой можно ездить бесшумно и бездымно. Сто километровый пробег обойдется в копейки. А проект ее пылится в архивах. Вы открыли механизмы продления молодости. Три капсулы вещества, препятствующего временным окислительным процессам в организме,— год жизни. А вам говорят: вы шарлатан... Возможны ли подобные метаморфозы? Или это просто плоды нашего воображения? Увы, оказывается, возможны. 7—9 лет требуется в среднем, чтобы техническое открытие или изобретение нашло применение на практике, в то время как каждый новый шаг в науке и технике призван облегчить, сделать богаче нашу жизнь. Даже если речь идет не о каком-то глобальном открытии, а, скажем, о повышении урожайности белых грибов в лесу возле села Михалкова. Эта затянувшаяся драма несбыившихся идей и вызвала к жизни новую рубрику «Юности»— ИНТЕЛЕКТ. От латинского — интеллектус — познание, понимание, расудок. В ней, помимо информирования читателей о новейших и наиболее значительных достижениях человеческого разума и таланта, мы намереваемся всемерно поддерживать необходимые, полезные народу и государству проекты, открытия и изобретения, чтобы с помощью общественности добиваться их воплощения.

Всеволод МАРЬЯН

ПОМОГИТЕ БЛАГУ СБЫТЬСЯ!

Репортаж об уникальном исследовании,
которое прервали зависть и клевета



«Советская стоматология отстала от уровня развитых капиталистических стран примерно на полвека. Ее опережает даже ряд слаборазвитых африканских государств. Хотя в СССР функционирует множество стоматологических институтов, есть даже «академик от стоматологии». Кстати, по оценке специалистов, его профессиональные возможности едва ли превышают уровень компетентности рядового зубного врача, скажем, в Париже или в Лондоне. И вот на фоне такого разительного отставания в провинции, вдали от крупных научных центров учений-подвижников, не имея, по существу, никаких условий для современного уровня исследований, берется за разрешение проблемы, вонзину граничащей с фантасмагорией...»

(Из письма автора этого материала
в Совет Министров СССР,
отправленного в 1982 году и оставшегося
без ответа.)

Разве не счастливчик хирург Драновский? В двадцать с небольшим — кандидат, в тридцать с хвостиком — доктор медицинских наук, а нынче уже профессор, один из двух-трех советских хирургов-стоматологов с мировым именем. Не правда ли, блестящая карьера? Но почему же тогда этот совсем еще молодой, крепкого корня человек утратил сон, покой, здоровье, наконец?..

Признаюсь, мой приезд отнюдь не обрадовал Геннадия Ефимовича. Более того, этот доброжелательный и чрезвычайно деликатный человек приложил немалые старания к тому, чтобы уговорить меня не приезжать в Махачкалу. Мотивы? У известного далеко за пределами Дагестана исследователя оказались серьезные основания избегать встреч с корреспондентами. Накануне на него буквально обрушился шквал писем. Причиной послужила короткая заметка, мелькнувшая в одном из московских изданий, о некоторых результатах его работы по аллотрансплантации — пересадке зубных зачатков. Тысячи людей немедля бросились подробнейшим образом описывать ему свои нескончаемые зубные страдания и молить о скорейшей, безоглагательной помощи. И обескураженный, ошеломленный исследователь, едва ли не проклиная плоды своих многолетних и многотрудных

изысканий, вынужден был прервать научный поиск и отвечать на письма читателей.

Однако не верилось все же, что причиной всему лишь эта исключительно-сенсационная заметка и поток писем-просьб.

Я вылетел в Махачкалу.

ОСТАНОВИЛИ НА... 10 ЛЕТ

Если смотреть на эту не по годам крупную и развитую семилетнюю девочку справа — она очень красива. Большие, ясные и глубокие карие глаза, нежный профиль. Но вот она поворачивается, и сердце сжимается от боли. Будто бы природа в последнее мгновение странным образом передумала сотворить из маленькой аварии — дочери чабана — будущую красавицу. И словно умышленно вплела ей за щеку подушечку, исказившую, как в кривом зеркале, облик девочки. Лимфангиома, врожденная опухоль, проросшая в здоровую ткань под кожей лица. Понятны горе и страдания родителей, из года в год с мучительной определенностью убеждающихся в том, что она не подает никаких признаков и не оставляет никаких надежд рассосаться и исчезнуть.

Убедившись в том, что операция всесторонне и тщательно подготовлена, Геннадий Ефимович начинает.

Я присутствую на операции, которую выполняет Драновский. На операции сложной необыкновенно и столь же ответственной. Геннадий Ефимович сделал для меня своего рода исключение, словно стараясь хоть как-то компенсировать мою неудачу и свою непреклонность. Ибо я присутствую... не на той операции. Вот вам и сенсация, возвестившая о полном благополучии и едва ли не окончательной победе научного поиска.

Девочка уже мирно спит на узком и высоком ложе. Эндотрахеальный наркоз и аппарат искусственного дыхания цепко оберегают ее сознание и самочувствие от малейшего ощущения того, что сейчас произойдет с ней здесь. Блеснул скальпель, и хирург Драновский в микроскопической точности делает небольшой разрез...

Семидесят три минуты хирург, обливаясь от напряжения потом, трудится над операционным столом, меняя уже третий десяток фиксаторов. Ассистент ежесекундно сушит тампонами операционную рану. Ведь ни в одной области человеческого организма нет такого обилия кровеносных сосудов, как в челюстно-лицевой. Именно эта особенность затрудняет операцию и делает ее изнурительной.

...А меня не оставляет мысль: я не на той операции. И теперь уже знаю — почему. И от этого вся ситуация кажется еще более нелепой. Нет, я ни в коей мере не хочу умалять значения того, чем сейчас занят хирург! Но как примириться с тем, что вот уже целых десять лет он мог бы совершать такое, что, кроме него, не в силах, не способен еще делать никто?!

Десять лет назад, достигнув значительных успехов по аллотрансплантации зубных зачатков в клинике, Драновский внезапно был вынужден остановиться. Вопреки тому, что ученик уже не только разработал свою — уникальную методику, но и накопил самый большой в мире опыт наблюдений. Им было произведено 17 пересадок зубных зачатков, из которых положительные результаты получены у 14 больных (в сравнении с тремя наблюдениями за рубежом). Нет, хирурга не испугали те невероятные научные, технические и даже психологические трудности, которые существовали и существуют, к сожалению, по сей день, тормозя эту благодороднейшую деятельность. Его остановила... подлость.

Анонимка. Все та же трусливая, но ядовитая анонимка. Автор, «пожелавший остаться неизвестным», обратился в высокую инстанцию, избрав в качестве объекта спекуляции самое святое — заботу государства о здоровье людей. Что водило его первом? Зависть посредственности к таланту? Корысть? Мысль о шантаже? Но «сигнал» прозвучал: Максудов и Драновский проводят опасные, запрещенные в СССР «эксперименты над человеком». Искусно имитированный паскет и пышное негодование лицемера обрушили на учених беду, измеряемую длинными годами остановки движения к людям замечательных плодов их подвигнического труда. Три года компетентные комиссии изучали вопрос и в результате дали объективную оценку научной работе исследователя Драновского. Государственный комитет по делам изобретений и открытий СССР подтвердил ее авторским свидетельством за № 639536. Выяснилось также, что, не имея практических условий для подобного уровня исследований, Драновский ценою колоссальных усилий и благодаря безграничному энтузиазму сумел провести огромную многоэтапную

«Пересаженные зубы, взятые у другого человека, в конце концов отторгаются организмом... будут держаться примерно четыре года».

(Из интервью директора Национального научно-исследовательского стоматологического института США.)

экспериментальную работу. Аллотрансплантация — пересадка зубных зачатков — была произведена им 331 взрослой собаке и щенкам различного возраста. Ученый скрупулезно прошел все необходимые стадии научного поиска, экспериментов, бесконечных повторений и уточнений, прежде чем, вооруженный опытом и неопровергимыми доказательствами своей правоты, решился наконец применить ее в клинике. Въедливая, изнуряющая доносность проверок всех существующих органов контроля — от центральных медицинских и до местных партийных — привела единственно к опровержению самой клеветы анонима. И все. Ни минздравы ССР и РСФСР, ни Академия медицинских наук ССР, ни даже Центральный научно-исследовательский институт стоматологии не повернулись лицом к уникальному исследованию и не протянули руку помощи его автору. Ограничились строжайшей проверкой и констатацией: неподсудно.

А дальше что?

Как видите, ровным счетом ничего. Если, конечно, не принимать в расчет энергичных усилий единственного в стране стоматолога — академика А. И. Рыбакова (возглавлявшего тогда ЦНИИС) — не дать взойти «чужой» идеи; ничем не обоснованного скептицизма стоматологических подразделений минздравов — союзного и республиканских; индифферентности отдела науки Дагестанского обкома партии; преубеждительных отзывов Академии медицинских наук, представляющих, по сути, мнение-отношение все того же единственного, уже упомянутого ее члена по стоматологии, не пререкаемого в те времена «авторитета» и «верховного судьи» для всех без исключения работающих в этой области здравоохранения. Плюс наблюдательская позиция бывших руководителей автономной республики, если и не злорадство, то уж полное равнодушие и пассивность коллег. И бурная, никем не пресекаемая «активность» анонимиста...

Издан ряд научных трудов, монографий, десятки статей в специальных журналах, подтверждающих оригинальность и верность методики Драновского по пересадке зубных зачатков. Еще в 1971 году академик А. А. Вишневский опубликовал статью, в которой выразил свое одобрение и поддержку идеям, выдвинутым в Дагестане. Они изучаются повсюду в нашей стране и во всем мире учеными и практическими врачами-стоматологами. Но до всего этого клеветнику не было дела...

Девочку бережно укладывают на каталку и со всеми предосторожностями везут в палату интенсивной терапии. Здесь за ней будет установлено круглосуточное наблюдение. Через 2—3 дня на лице девочки исчезнут следы хирургической травмы. На 5—7-е сутки снимут швы. И Аминат непременно будет такой красивой, какой ее задумала природа сначала и чью ошибку вовремя поправили искусные руки хирурга.

Вот так закончилась «не та» операция, которая сама по себе, конечно же, стоила того, чтобы о ней рассказать. Но которая, увы, не только не приблизила меня к цели командировки, а напротив, сделала ее еще более туманной и безысходной.

Хирурги оперировали девочку, а я то и дело возвращался мыслями к драматической судьбе изобретения № 639536. Ну, допустим, отыскался бесчестный человек, который бросил тень на благое дело. Ну, пришлось положить три года жизни на то, чтобы эта тень исчезла. Но Драновский не занимается аллотрансплантацией уже десять лет. Почему? Уходит от прямого ответа. Словом, командаировка не удалась...

Так, во всяком случае, думалось мне до последнего дня, когда уже с билетом в кармане я готовился в обратный путь. Но случилось непредсказуемое.

Следя давней привычке, я и на этот раз дал почитать свой репортаж (этот самый) герою, — чтобы, не дай бог, не вкрадась неточность. Сижу в гостинице, жду звонка. Наконец позвонили:

— Геннадий Ефимович все прочитал и просит вас задержаться. Нет, нет, в тексте все верно. Вы смогли бы приехать к нам в клинику завтра утром? — В голосе собеседника многозначительные нотки:

— Профессор Драновский просил передать вам: ему кажется, что «Юность» проявила серьезный интерес к нашим делам и проблемам, а не собирается оглушать читателей очередной сенсацией. Мы долго думали и решили возобновить свою работу по аллотрансплантации. Завтра проведем операцию по пересадке зубных зачатков. Геннадий Ефимович приглашает вас присутствовать.

И я остался.

Серое, туманное утро тянется с почерневшего Каспия. С запасом времени шагают вниз, сквозь весь высотный отель и далее по центральной улице, ведущей меня к непрятательной на вид центральной республиканской стоматологической поликлинике в Махачкале. Мысли обгоняют одна другую: все увидеть, все узнать, ничего не забыть!..

Чтобы не смущать девушку перед операцией, меня представляют ей доктором.

- Как тебя зовут?
- Файзат.
- А сколько тебе лет?
- Вчера исполнилось девятнадцать.
- Скажи, пожалуйста, что тебя беспокоит?
- У меня нет зубов.
- И никогда не было?
- Были. До шести лет.
- Что же с ними случилось?
- Они стали быстро портиться, сильно болеть, и я выдернула их пальцами.
- Чем же ты питаешься?
- Ем только все жидкое.
- А тебе хочется съесть персик?
- Да.
- Ты когда-нибудь его ела?
- Видела много, не ела с шести лет.

Родиться и жить в благодатном краю щедрых садов и уже в шестилетнем возрасте лишиться удовольствия впитаться зубами в упругую мякоть персика, яблока! Но есть здесь, как вы, наверное, догадываетесь, еще более тяжкое обстоятельство для девушки. Стойкая, статная, а красивые черты лица ее искажены с детства впалой старушечьей челюстью.

Тут я должен оговориться и сказать о том, что, когда писался этот репортаж, коллеги высказали мне два замечания: стоит ли описывать массовому читателю технологию операции? И достаточно ли убедительно, что ученый, прекративший свои исследования, вдруг решил возобновить их после многолетнего перерыва, поддавшись влиянию корреспондента?

Ответ на первый вопрос дали сами читатели. Многие из них, заинтересовавшись судьбой дагестанского изобретения, выразили сожаление по поводу того, что в той сенсационной заметке не нашлось места для доступного читателю-неспециалисту описания уникальных операций, «о которых говорят общие слова и так редко что-либо конкретное и вразумительное», пишет, в частности, С. А. Захарова из Ленинграда. Замечу, что с подобными упреками в редакции обращаются не только больные, но и совершенно здоровые люди.

Да. Наши читатели давно поднялись до такого уровня, когда им можно и нужно рассказывать о сложнейших процессах научно-технического прогресса.

Что касается второго замечания, лично мне представляется достаточным сам факт: было именно так, как было. Г. Е. Драновский после прочтения репортажа так и ответил на тот же вопрос:

- Ведь все было именно так, как здесь написано!
- Вошедший Геннадий Ефимович в последний раз перед операцией осматривает полость рта Файзат, и я убеждаюсь в полном отсутствии у девушки зубов на нижней челюсти.
- Больную уводят готовить к предстоящей операции. А я рассматриваю пробирку с бело-розовым содержимым, которую только что достали из... обычного домашнего холодильника «Ока». Неужели заключенные в нем малюсенькие студенистые шарики могут возвратить Файзат утраченные с детства земные и душевые радости? Все готово к операции. Обращаясь ко мне, Геннадий Ефимович говорит:

— Мы можем произвести пересадку зубных зачатков совершенно безболезненно и почти бескровно в течение двадцати минут. Для этого нужно сделать разрез с внешней стороны челюсти, под общим наркозом. Как видите, у данного способа имеются свои и очень ценные преимущества. Но есть и один крупный недостаток. В девичьем возрасте шрам от

операционной раны уже не может исчезнуть бесследно. И получится, что, исправляя один, правда, несравненно более значимый дефект лица, мы искусственно привнесем в него другой. Если же операцию производить со стороны полости рта, даже при наличии наилучших условий она займет вдвое больше времени, отнимет больше сил. И у нас и, естественно, у оперируемой. Не исключаются также некоторые неприятные ощущения для больной, поскольку при этом способе применяется местная анестезия. Так как же нам быть? Какому способу отдать предпочтение в данном случае?

Словно зная заранее, что корреспондент не возьмет на себя смелость отвечать на подобные вопросы, Геннадий Ефимович, делая широкий шаг с вытянутыми вперед стерильно чистыми руками, заключает:

— Во все времена красота для девушки, помимо ума и сердца, была ее главным сокровищем. Давайте же будем исходить из этого...

Хирург, ассистент, анестезиолог, операционная сестра и сестра-анестезиолог сдают сейчас ответственный экзамен. Экзамен самим себе. Тяжелое и, пожалуй, несправедливое испытание, которого могло не быть, если бы не столь долгая и вынужденная остановка.

Приходится признать, что анонимка настолько ошеломила ученого, что он совершенно прекратил клинические исследования и решил ограничиться изучением проблем консервации зубных зачатков, то есть сохранения их на возможно длительный срок. А позже вынужден был отказаться и от этого.

Кроме того, последовали лицемерные и фальшивые намеки на якобы аморальность выполняемых исследований.

Бояться «смутить» читателя тут нечего. Он давно и прекрасно понимает, что спасительные пересадки человеку любых органов вместо пораженных или вышедших из строя не происходят «по щучьему велению», что берутся они у людей в основном погибших...

Файзат, вся укрытая светлой тканью, пребывает уже в состоянии на грани сна и бодрствования — от так называемой инфильтрационной и проводниковой анестезии. Ей нужно сознавать себя ровно настолько, сколько это необходимо, чтобы оказать минимальное, но обязательное содействие хирургу:

— Открой рот...

Тонкой и плоской металлической скобой-фарабеф, осторожно и ловко заложенной за щеку девушки, Драновский раскрывает операционное поле. С филигранной точностью делает разрез слизистой оболочки десны нижней челюсти слева. Словно вырезывает на ней крохотную трапецию, которую затем медленно оттягивает. Образовавшийся полуопрозрачный розовый лоскуточек откладывается внутрь полости рта. Теперь к обнаженному в два пальца участку костной ткани нужно с точностью до миллиметра примерить трансплантант — фрагмент челюсти донора, содержащий три зубных зачатка.

И вот тут даже для меня становится очевидным, сколь далеко от совершенства оснащение, которым приходится пользоваться при такой уникальной операции. Она длится уже второй час, потому что трансплантант приходится обтасывать примитивнейшей пилкой, обрезать до нужных размеров обыкновенными ножницами, а ложе для его помещения в челюсть больной — выпиливать устаревшей бормашиной.

Представьте ювелира, которому дали для обработки бриллианта... зубило. Но тем не менее хирург успешно продвигается к цели. Сформировано и очищено ложе. Драновский с величайшей осторожностью помещает в него фрагмент с зубными зачатками. Нужно, чтобы он плотно прилегал к стенкам костного ложа. Тщательно прикрыв сверху коронковую часть пересаженных зачатков, он завершает операцию, подшивая лоскут к небному краю десны мелкими шелковыми швами... Уникальная операция закончена. Прошло 98 минут.

— При обычных для современной науки условиях, — мы говорим с Драновским уже в его кабинете, — такие операции можно будет делать за полчаса и в амбулаториях.

А я, зная уже о том, что вероятность успеха увиденной мною операции свыше 80 процентов (при таких-то несовершенствах ее оснащения), и о том, что при положительном результате девушке пересадят еще один фрагмент — справа, думаю: с полным на то основанием можно ожидать счастливого избавления Файзат от физического недостатка. (Вспомните оценку перспективы в четыре года главы американской стоматологии и сравните ее с результатами Драновского —

в десять лет.) Но кто скажет: сколько же еще потребуется времени, чтобы тысячи других людей смогли воспользоваться спасительным изобретением своих славных соотечественников?.. Ведь еще так нередко получается, что между достижениями нашей медицинской науки и повседневной практикой здравоохранения пролегают подчас многие десятилетия.

«При обычных условиях», — сказал мне учений. Что понимать под ними применительно к делу, к которому еще двести лет назад пытались подступиться английские исследователи, по сей день ведут исследования врачи многих стран и которое оказалось по плечу советскому хирургу Драновскому? Конечно же, поставить его так, чтобы оно заняло подобающее ему место среди наших лучших научных достижений.

А что мы имеем сегодня? С невероятными усилиями удалось достичь лишь рассмотрения научной работы Драновского ученым советом Минздрава СССР в 1984 году. После многих лет ее успехов, ее игнорирования и связанных с ней злоключений. Наконец она была признана заслуживающей одобрения и внимания. На этом все внимание высшей медицинской инстанции и кончилось.

Нужна, давно уже нужна клиника, специализированная и соответствующим образом оснащенная, а не случайно приспособленное помещение. Быть может, и не в Дагестане, а близко к нашим научным и практикующим центрам. К тому же в маленькой автономной республике даже при самом благожелательном отношении и поддержке вообще невозможно развернуть эту уникальную работу в необходимых широкой массе людях масштабах.

Нельзя не учитывать и того, что на Северном Кавказе, увы, не изжиты еще религиозные, мусульманские предрасудки, запрещающие малейшее прикосновение хирурга к телу усопшего.

И в таких условиях исследователю приходится добывать каждый зубной зачаток буквально с риском для жизни. Теперь представьте себе, что означает провести 17 пересадок зубных зачатков при таких обстоятельствах?! Число, кажущееся стоматологическому начальству в Минздраве СССР незначительным, чтобы убедиться в успешности научной работы и целесообразности ее продолжения. «Обычные условия» — это, наконец, единственная помощь и внимание министерств здравоохранения СССР и РСФСР, Академии медицинских наук, Центрального научно-исследовательского института стоматологии, других организаций и ведомств, ответственных за развитие советской науки и скорейшего внедрения ее достижений в практику.

Что же до «необычных условий» — наветов, анонимок, непродуманных сенсационных заметок с далеко идущими неприятными последствиями и прочего, — от этого, к сожалению, еще никто не застрахован. Нужно бороться. Находитесь в себе силы и мужество противостоять им. Как оказалось, Драновский прекратил заниматься аллотрансплантацией именно по этой причине — из-за «необычных условий».

И тут невольно мне вспомнились строки из письма колумбийского коллеги Хорхе Эрнана Карвахала, присланного в Махачкалу:

«Позвольте мне... искренне поздравить вас. Я прекрасно сознаю, каким ценным является ваш научный вклад в дело обеспечения здоровью и полноценной жизни современного и грядущего человечества. Вы пересаживаете зубные зачатки беззубым людям, и они растут. Это граничит с фантasiей... Благодаря вашему научному подвигу идея будущего становится реальностью. И я надеюсь, что в скором времени мне также удастся успешно пересаживать зубные зачатки...»

Мысленно еще раз повторив эти слова, я, грешным делом, подумал: а не может случиться так, что изобретение советских ученых, сделанное много лет назад и только в 1978 году узаконенное государственным авторским свидетельством, а в 1984-м — признанное наконец и Минздравом СССР, окажется доступным раньше, скажем, жителям Колумбии и других далеких и близких стран и уже потом, когда-нибудь в отдаленном будущем — нам с вами, советским людям?

Но погодите, что же это? Нам сообщают... Снова прокраился замолкший было «голос» из подворотни: «Остановите профессора Драновского!»

А не пора ли нам с вами, читатель, потребовать остановить его самого? Оградить замечательного доктора от клеветников и завистников. И помочь благу сбыться?

г. Махачкала

На снимке: команда ЦДКА (слева направо) — А. Гринин, В. Никаноров, Ю. Нырков, В. Бобров, В. Чистохвалов, Г. Федотов, В. Соловьев, А. Водягин, И. Кочетков, В. Николаев, В. Демин.



Станислав ТОКАРЕВ,
Александр ГОРБУНОВ

БЫЛА КОМАНДА ЦДКА...

С «Юностью» добрые отношения у меня завязались более двадцати лет назад. И настолько добрые, что, став не так давно главным редактором журнала «Спортивные игры», я зачастил в дом на Маяковской, поскольку журнальное дело было для меня в диковинку, для консультаций с одним из старых своих приятелей в «Юности». И однажды, не удержавшись, похвалился: мол, и в портфеле нашей редакции появилось кое-что о белых пятнах в истории — истории спорта, разумеется. Коллега был заинтригован, попросил почитать, а почитав, предложил напечатать фрагменты из этой документальной повести в «Юности». «Только фрагменты...» — подчеркнул он.

Предложение застало меня врасплох. Но, поразмыслив, трезво оценил ситуацию: тираж журнала «Спортивные игры» — 150 000 экземпляров, в продажу через киоски «Союзпечати» поступает всего ничего — 9000 (остальное идет по подписке) на всю страну, и, следовательно, история о разгроме в 1952 году футбольной команды ЦДКА будет доступна лишь для весьма узкого круга лиц. Вот почему, посоветовавшись со своими сотрудниками, я согласился на совместную публикацию. В нашем журнале эта документальная повесть называется «Точка разрыва» и публикуется полностью с июньского номера по октябрьский.

Дмитрий РЫЖКОВ

Команда, которой нет, — великая и неповторимая ЦДКА (позже ЦДСА) первых послевоенных лет. Собственно, главный армейский футбольный клуб жив и поныне, но, тасующий игроков и тренеров, то и дело плачевно удаляющийся из высшей лиги в первую, прежнему ЦДКА он не наследник. Когда после поражения на Олимпиаде 1952 года нашей сборной «команда лейтенантов» приняла на себя позор и бремя несправедливого наказания — была разогнана, — произошел разрыв. Парторг того ЦДКА и той сборной Юрий Нырков, человек по-военному несентиментальный, сказал нам тем не менее: «Команда, как человек: убьешь — не воскреснет, душа отлетела».

В 1948 году Борис Андреевич Аркадьев писал о своей команде:

«Команда ЦДКА играет преимущественно пасом на соседа. Ее передачи коротки и быстры. Игроки не разбегаются от мяча, а концентрируются у мяча. Атаки ЦДКА не прекращаются с потерей мяча, так как некоторая кучность нападения позволяет сразу же начать борьбу за потерянный мяч, что в целом создает устойчивый напор и территориальное преимущество над противником в течение игры. Если динамовцы для длинной и точной передачи обрабатывают мяч, то армейцы больше играют коротким пасом в одно касание, то есть друг о друга, как о «стенку». Игра ЦДКА строится на контрасте этой быстрой игры в одно касание с обводкой, которой великолепно владеет большинство команды».

Обратите внимание — не прекращать атаку с потерей мяча. Когда в начале 70-х годов мы увидели в исполнении «Аякса» и сборной Голландии то, что потом было названо «тотальным футболом», послышались ахи и охи: «Ах, прессинг при потере мяча! Ох, постоянное движение всех!» Аркадьев начал делать это в конце сороковых.

В книге бывшего председателя Комитета по физкультуре и спорту Н. Н. Романова «Трудные дороги к Олимпу» сказано: «Для получения разрешения на поездку на международные соревнования я должен был направлять на имя И. В. Сталина специальную записку, в которой давалась гарантия победы». Книга вышла в прошлом году...

Обратимся к размышлениям о И. В. Сталине Константина Симонова («Глазами человека моего поколения»): «...— в последнее время Тито плохо себя ведет.— Сталин встал и прошелся. Прошелся и повторил:— Плохо себя ведет. Очень плохо».

Затем — официальное сообщение Коминформа, необоснованные, грубые обвинения против руководства компартии Югославии — «изменническое поведение, подлое заигрывание с империалистами...» Газетные карикатуры, на которых наш недавний друг и союзник то в виде кобры, изрисованной символами доллара и фунта стерлингов, то жабы, то — с кровавым зазубренным топором...

Все это к тому, что современный читатель, особенно молодой, знающий о спортивных событиях 50-х годов понаслышке, очень мало, а кое-чего не знающий вообще, должен рассматривать их в контексте времени. К книге Романова нам придется еще не раз обращаться — не только за фактами, но и опровергая те или иные передергивки. Однако не след бы нам с вами забывать, что сплошь и рядом не автор был властен над описываемыми им событиями, а они над ним: время контузило его, и деятели его ранга тех лет порой остаются в душе на всю жизнь сгорбленными...

И вновь процитируем Н. Н. Романова: «При подготовке к Играм решили создать сборную на базе ЦДКА. Старшим тренером назначили Б. А. Аркальев... и предоставили ему право подбирать состав. Такое решение было принято не без прямого вмешательства, если не сказать — давления, со стороны группы влиятельных военных...»

Для того чтобы продолжить цитату, нам, авторам, придется постараться сохранить спокойствие, ибо далее черным по белому написано: «Б. А. Аркальев не заметил (или не захотел взять на вооружение) то новое, главным образом, в тактике игры, что показали наши соперники... Учебно-тренировочная работа была организована слабо и велась с явно недостаточными физическими нагрузками. К тому же Аркальев, что с ним часто бывало и раньше, без конца экспериментировал с составом, особенно в линии нападения... В его экспериментах отчетливо просматривалось недоверие к игрокам других клубов».

Но обратимся к другому свидетелю — Ю. А. Ныркову. Вот что пишет он в журнале «Советский воин»: «С ранней весны 1952 года под руководством Аркальева мы тренировались в Леселидзе. Наша команда была мощным, слаженным коллективом с ярко выраженным атакующим характером и умением противостоять превратностям игровой судьбы. Но вдруг — из ничего, в воздухе — сформировалось мнение, что сборная, дескать, должна представлять не одну-две команды, а чуть ли не все ведомства и организации, культивирующие футбол. Вокруг Аркальева, привыкшего в ЦДКА к свободе действий, появилось много людей, которые начали настоятельно советовать, подсказывать, предостерегать и напоминать... По свойствам характера он не был к этому готов... Не сумев противостоять тщеславным административным амбициям, демократичный Аркальев против воли тасовал состав... Якобы тренировочные матчи (их истинный смысл не был секретом для игроков) отнимали у кандидатов в сборную — их было человек 60 — массу сил... Вскоре идея о том, что отличные игроки, сведенные вместе, автоматически превращаются в замечательную команду, дала трещину: сборная свела вничью контрольную встречу с торпедовцами Москвы, занявшими в 1951 году 12-е место. Увы, сборная мало чем отличалась от коллектива, переживавшего не лучшие времена».

Как видите, картина рисуется иная. Привлечем еще одного свидетеля — известного журналиста В. К. Хомуськова, который был тогда замполитом олимпийской делегации. Вот его рассказ.

— У меня сложилось впечатление, что и на этапе, когда основной костяк начал вырисовываться (скажем, по кандидатуре вратаря сомнений не возникало, задача состояла лишь в том, чтобы убедить зенитовца Леонида Иванова сменить заношенные, но приносящие удачу свитер и кепку на новые), тем не менее начальственные болельщики страсти клокотали вовсю. Важно было протолкнуть «своих» в поездку, вороти, так сказать, в историю. И потому вмешаться в тренерские дела считал себя вправе каждый — секретари ЦК ВЛКСМ А. Шелепин и В. Семичастный, сам Н. Романов, его заместители, армейские генералы, среди которых патрон BBC Василий Сталин, генералы ведомства Берии, ответственные представители ВЦСПС...

Неожиданно и драматично было появление в команде Боброва. После роковой травмы 1946 года (повреждение мениска и разрыв передней крестообразной связки) операцию делали за границей. Прошла она неудачно, левое колено так и не вылечили, да и правое, как пишет врач О. Белаковский, «произвело тяжелое впечатление». Годы шли, а играть впопыхах Бобров просто не умел — может быть, вечные боли и влекли за собой повышенную нервозность, отсюда стычки с Аркальевым, отсюда, возможно, уход в BBC, куда он был приглашен играющим тренером.

Тогда в Леселидзе BBC была одним из спарринг-партнеров сборной. Аркальев увидел своего любимца и понял, что именно такого лидера — способного в нужный момент до предела накалить игру и сотворить чудо — не хватает главной команде страны.

О. М. Белаковский вспоминает, как в Леселидзе Борис Андреевич то и дело уводил его, врача BBC, погулять и высматривал: «Что там у него? Вы можете мне сказать, что у него?» — «Спросите у Мироновой». — «Да знаю я, Олег Маркович, все знаю... И все-таки, может быть...» Аркальев решил на беседу с Бобровым. Уговоров не потребовалось. «Сыграем,— тотчас сказал Бобров.— Все будет нормально». И выбрали его капитаном.

Меж тем кандидатов перевезли в Москву, поселили на станции Челюскинская, вновь пошли контрольные игры, вновь — по мановению то одной, то другой руководящей десницы — в составе возникали новички. Сыграли сегодня хорошо за свою команду — завтра пробуйся. Это было нарушение одного из главных принципов Аркальева: «Игрок должен за несколько дней знать, что он выйдет на поле, потому что знание это настраивает его душу на торжественный лад, мобилизует. Конечно, если необходимо, надо соблюдать конспирацию по всему составу, но игроку сказать обязательно — хотя бы один на один». Впрочем, пишет Нырков: «Хотя Аркальев и рассматривал Олимпиаду как дело всей его жизни, но решал он теперь далеко не все».

Кто же все-таки решал? Мы еще не упомянули этого человека, исполненного энергии, стремительного и категоричного в решениях, не терпящего возражений, достаточно широко, но не глубоко и весьма субъективно знающего спорт, что порой отзывалось на спортивных делах самым отчаянным волонтеризмом. Он пользовался личным авторитетом у Сталина, был членом Оргбюро ЦК ВКП(б). Речь идет о первом секретаре ЦК ВЛКСМ Н. А. Михайловой.

Начиналась серия товарищеских матчей в Москве со сборными стран народной демократии. Михайлова за несколько дней до приезда, скажем, венгров мог послать доверенное лицо к Романову с требованием немедля назвать наш состав. Романов звонил Аркальеву или второму тренеру М. Якушину, те, естественно, отвечали, что пока не узнают, в каком составе прибудут соперники, фамилии своих назвать затрудняются. Но Романов, зная нрав Михайлова, настаивал. И продиктованный все же состав везли в дом на углу проезда Серова и Марсейки, и Михайлов, положив список на стол под стекло, заключал: «Изменений не допускать».

«Как вел себя в этой обстановке Аркальев?» — спросили мы В. Хомуськова. — «Знаете, мне кажется, он про себя посмеивался над этой нашей суетой. Был на редкость послушен, вежливо, подчеркнуто корректен, и лишь глубоко во взгляде — ирония». — «А Якушин?» — «Якушин, хитрец, держался нейтрально». — «А Бутусов, третий тренер?» — «Бутусова же взяли, поскольку считали, что он, в прошлом великий бомбардир, может всем поставить удар. А он человек простой: «Ты кэ-эк долбани с носка и прям в девяtkу».

Прошли товарищеские игры. Со сборной Польши 0:1 и 2:1. Две ничьи со сборной Софии — оба раза 2:2. Успешно — 1:1 и 2:1 — сыграли с венграми, в боевых порядках которых были стоявшие на пороге мировой славы Пушкаш, Кошиш, Хидегкути. 3:1 выиграли у сборной Румынии, съехали в Финляндию — 2:0, победили чехословацкую команду — 2:1. Настроение обретало, если можно так выразиться, осторожно-оптимистический оттенок. В газетных отчетах сборная фигурирует как команда ЦДСА, выходит на поле в армейской форме, но состав журналисты на всякий случай не приводят. Лишь изредка проскальзывают фамилии динамовца Трофимова, спартаковца Ильина, зенитовца Иванова. Впрочем, наша тогдашняя читающая публика привыкла не то чтобы верить, но не сомневаться, не размышлять: раз так пишут, значит, так надо.

Несколько дней перед отъездом в Хельсинки провели в Ленинграде — своего рода акклиматизация. Были размещены в гостинице «Астория». Проводить делегацию прибыл лично

Н. А. Михайлов. Накануне отправления в двойном «люксе» Рогульского он собрал команду и уведомил, что есть мнение написать письмо товарищу Сталину с торжественным обещанием стать чемпионами.

Нам известны не многие подробности того собрания, но мы представляем себе, какая воцарилась тишина. Встал Аркадьев. Легкое заикание, еле слышный звук «э» перед некоторыми словами всегда придавали его речи особую чеканность, медлительную основательность. В ту минуту, думаем, Борис Андреевич заикался более обычного. Он сказал, что подобная постановка вопроса не совсем корректна, спорт есть спорт, перипетии такого турнира предугадать невозможно. Игрови безмолвствовали, Михайлов ждал. И тут вскочил Александр Петров, прозванный за громогласность Граммофоном и известный тем, что мог кому угодно рубануть правду в глаза. Он категорически брякнул: отадим, мол, все силы, кости ляжем, подписывать же ничего не станем.

С тем и уехали.

...Прикидки, от своей бесконечности теряющие смысл, накачки, треплющие нервы... Зерна этих сорняков нашего спорта посыпали именно тогда, в 52-м. Василий Трофимов, крепкий, деятельный, ненасытный к игре правый край той сборной, говорит нам сейчас: «Помню ощущение перетренированности и апатии, мы с первого матча выглядели усталыми и подавленными». Игорь Нетто: «Мы все играли хуже, чем могли. Выходя, ты не думал, как творить игру, ты боялся ошибиться». Замполит делегации В. К. Хомуськов: «Чего-чего, а бодрости не наблюдалось — скорее либо взвинченность, либо удрученность. Вообще в Отаниеми, где жила наша делегация, улыбок, смеха не было».

Первый репортаж из Отаниеми появился в том же номере «Известий», что и очерк об открытии одного из «величественных сооружений сталинской эпохи» — Волго-Донского канала, и начинался так: «По красивой дороге подъезжаем к зеленой аллее. С укрепленной на стене картины «Утро на чайке Родины» на спортсменов ласково глядят родной Сталин». В Отаниеми предусматривалась обширная культурная программа: фильмы «Кубанские казаки», «Смелые люди», «Секретная миссия», «Полкан и шавка». Прибыл в полном составе ансамбль Игоря Моисеева...

Но вот характерный эпизод, рассказанный участником той Олимпиады, дискоболом и толквателем ядра Отто Григалкой. Несадол до открытия Игр американцы пригласили наших в гости в свою спортивную резиденцию Кепполя (спортсмены социалистического и капиталистического лагерей жили в Хельсинки раздельно). К Григалке подошел рослый негр, оказавшийся рекордсменом мира по толканию ядра Дж. Фуксом. Угадав по фигуре, по габаритам коллегу, попросил показать, как он толкает. Отто — как был, в цивильном платье, — вошел в круг и имитировал толчок. «О, русский, у нас с тобой похожая техника» — тем разговор и кончился. Нет, не кончился: Григалку вызвали в некую комнату, где некие лица сообщили, что за выдачу наших секретов его следует немедля выслать домой. Тем более пятно в анкете — «пребывание на временно оккупированной территории». На той территории, на острове Сульт, где фашисты заставили юношу копать окопы, где он с голоду в пору отлива вилкой ловил камбалу, а когда пришла Красная Армия, вступил в ее ряды и участвовал во взятии Берлина. Молчаливый латыш не посвятил сотрудников ведомства Берии в парадоксальное обстоятельство: когда он и его тренер Митропольский учились толкать ядро, современных пособий не было, обнаружился лишь в библиотеке ВНИИФКа журнал «Спортс иллюстрейтед» с кинограммой движений того самого Фукса. На руки им это не выдали — секретно! И пока Митропольский отвлекал ученых мужей анекдотами, Григалка быстремко сфотографировал кинограмму: по мутному отпечатку они и учились. Отсюда сходство, примеченнное рекордсменом. К счастью, все обошлось, Григалка занял в толкании ядра четвертое место, в метании диска шестое, принес команде очки.

Делегация насчитывала 800 человек, из них спортсменов 423. В списке против некоторых фамилий многозначительная фраза: «Расходы по особой смете». Спортсмены были готовы к подвигу, а за их спиной подозревающий, бдительный прищур. Впрочем, не весь ли народ-победитель после победы тотчас угодил под подозрение к «родному и любому»?

...Футболисты свой первый матч играли со сборной Болгарии — в городе Котка. «Играли, — вспоминает Трофимов,

без особых эмоций, без изюминки, неизобретательно». В составе: вратарь Иванов, защитники Крижевский, Башашкин, Нырков, полузащитники Нетто и Петров, нападающие Трофимов, Тенягин, Бобров, Гогоберидзе, Ильин. Счет открыли соперники. За 10 минут до конца получил травму Ильин, по правилам замен не допускалось, остались вдесятером. И в этой ситуации сперва Трофимов сравнял счет, потом решавший гол забил Бобров.

Да, Бобров, хотя в его кровеносных сосудах, как горько замечает доктор Белаковский, бежала уже не кровь — новокаин от обезболивающих блокад, а живший с ним в одной комнате Нырков вспоминает, что перед матчами Всеволод Михайлович бинтовал ноги более часа с расчетом, чтобы они хоть немного сгибаались...

Весть о том, что в $\frac{1}{4}$ финала предстоит играть с югославами, по словам В. К. Хомуськова, повергла руководство олимпийской делегации (Н. Романов, его заместители К. Андрианов и М. Песляк, секретари ЦК ВЛКСМ А. Шелепин и В. Семицветный, секретари ВЦСПС А. Шевченко и неизвестный нам по имени генерал ведомства Берии) в состояние шока. А вдруг да проиграшь? Команде «клики Тито»?! Кто-то даже предложил по политическим мотивам отказаться от игры. Переговоры с Москвой, с Н. Михайловым по прямому проводу с советской военно-морской базы Порккала-Удд, полученной нами в аренду после кампании 1939 года, вообще-то велись по несколько раз в день, а в тот день провод, верно, раскалился. И на противоположном его конце находились лица рангом повыше. Указание поступило — играть и выиграть.

Играть предстояло в Тампере, втором по значению центре страны, в 175 километрах от столицы, на стадионе тысяч на двадцать. Чтобы обеспечить хоть какую-нибудь поддержку, закупили 200 билетов, привезли ансамбль Моисеева, экипаж польского парохода «Баторий», швартовавшегося в порту Хельсинки: было — и подтвердилось — опасение, что местная публика станет болеть против нас, поскольку не так давно мы были в войне неприятелями.

Нападение поменяли: Трофимов, Николаев, Бобров, Марютин, Бесков. Тактический расчет строился на том, что Бесков с Бобровым образуют сдвоенный центр, на левый же край станет врываться жадный до гола Петров. Впрочем (пишет со слов Трофимова в книге о нем А. Нилин), Бесков на предолимпийских сборах нервничал так, что потерял сон. Его лечили...

Заглянули на тренировку югославов: те обращались с мячом легко, артистично, били же снайперски.

«До сих пор с досадой вспоминаю, — писал в книге «В воротах «Зенита» Леонид Иванов, — как перед выходом на поле некоторые деятели настойчиво внушили нам необходимость победить, победить во что бы то ни стало, бесконечно напоминали об ответственности за исход, словно речь шла не о любимом футболе, а о боевом сражении. И когда английский судья Эллис вывел команды на поле, один из наших защитников, пробегая мимо меня, невесело бросил: «Сегодня мы, Лена, гладиаторы. Надо стоять насмерть» (по воспоминаниям Ныркова, то был Башашкин).

И началось. С того, что югослав Огнянов пушечно угодил мячом в Крижевского — тот упал без сознания. Его привели в чувство — но не команду. Она словно в stupor впала; словно ножи в масло, вонзались форварды в нашу оборону, забив три гола. В перерыве в раздевалке царило потрясенное молчание. Иванов закрыл лицо новой своей фуражкой. По раздевалке метался Валентин Гранаткин. Уверял, что противник зарывается, просил ему, старому футболисту, поверить: «Своим темпом они роют себе могилу! Цедековцы, вспомните, вы же были их в турне сорок пятого года! Ребята, не все потеряно, надо, надо играть!»

Второй тайм — четвертый гол. На трибунах не только аплодисменты и свист, самое оскорбительное — смех. Не смех ли кинул уязвленного Боброва на прорыв? Один гол отквитали. Но тут же Зебец забил нам пятый. Оставалось полтайма, югославы перебрасывались мячом в «квадрате».

И тут — взрыв. И детонатор — вновь Бобровский характер. «Во мне что-то оборвалось, — рассказывает Нырков. — Кто-то кричит на меня. Я на кого-то кричу. Мы все становимся одержимыми. Если бы о таком превращении прочитал, не поверил бы. С мячом Бобров, за его спиной двухметровый жестокий Црнкович. Сейчас размажет по земле. Но удар уже пошел. Вратарь Беара лежит и колотит кулаками по белой черте. И опять Бобров в атаке. Щечкой под острым углом — 3:5. Бесков подает угловой, Бобров взлетает птицей. 4:5. Югославы тянут время. За полминуты до

конца рвется вперед Петров, Трофимов кидает ему на ход. 5:5.

Таким было чудо в Тампере. Верить ли нам Н. Н. Романову, пишущему, что в дополнительное время мы господствовали на поле, и лишь то, что «наши нападающие вернулись к прежней беззубой манере», Николаев и Бесковы, «находясь в положении, когда невозможно не забить» (с трибуны, что ли, видней?), не забывали, помешало победе? Другие-то свидетели утверждают, что утомленные команды имели равные шансы, равно их не использовали, что Иванов творил невероятное...

«После матча я едва вскарабкался на этаж — ноги не двигались», — говорит Нетто. «Югославы шли к себе, качаясь, с лицами, как у мертвцев», — говорит Хомуськов. Но у автора книги, с которой мы так часто вынуждены спорить, видно в памяти не чужой труд и пот, а свой страх.

Далее — цепь загадок. Н. Н. Романов пишет, что в день переигровки поступила телеграмма от Сталина с заданием ознакомить с ее содержанием всех футболистов. Она «еще выше поднимала ответственность каждого за исход матча, но... вместо уверенности породила нервозность». Никто из опрошенных нами футболистов о телеграмме не помнит. Впрочем, амнезия может быть объяснена: стольких они наслушались призывов, подкрепленных пугающим именем «лучшего друга советских физкультурников», что даже к имени этому как бы адаптировались — подсознание помогло сохранить рассудок. Документ, есть основания считать, был, но у руководства вызвал противоположную реакцию: если такое значение придается успеху, то какие же почести могут за них последовать! Кавалькада машин понеслась из Хельсинки в Тампере. Приезжие устремились подбадривать, настраивать спортсменов, разобрали и развели в стороны своих...

Еще загадка — замена опытного Фридриха Марютина на Автандила Чкуасели. Знали ведь, что парню всего 21 год, что он ни разу не был в основном составе, это его первый в жизни международный матч. Да и русский язык он знал неважно. Оборотистый Хомуськов, уже сумевший с помощью традиционных русских сувениров завоевать симпатии стадионной полиции, ухитрился подтащить к самой бровке скамейку, на нее сели Якушин, Гиби Антадзе и работник ЦК ВЛКСМ Григорян, умевший говорить по-грузински. Якушин непрестанно давал Чкуасели указания, а те в два голоса выкрикивали перевод. И все равно бедняга бежал не туда, пасовал не тем, и Нырков орал Петрову: «Саша, ты поближе, врежь ему, что ли! Что он мечется, как идиот?» На левом фланге царила бесполковщина, играли, по существу, вдесетером.

Сейчас М. И. Якушин на наш вопрос о причине той замены отвечает: «Это я предложил в какой-то мере сделать неожиданность тактического порядка, но он не оправдал...» Оснований не верить такому уважаемому человеку у нас нет, первоначальная идея, верно, исходила от Михаила Иосифовича, имела спортивную окраску. Но, похоже, окрепла под влиянием другого соображения — что Чкуасели — динамовец и грузин. Ведь если руководство делегации надеялось на победу («Мысленно вертели дырки у себя в лацканах»), — как образно выразился Хомуськов), не исключено желание и потрафить вельможному покровителю «Динамо», которого «не зря великий Сталин мингрельцем пламенным назвал» (из стихов тех лет). А может, и самому «великому». Конечно, сомнительна способность любить «малую Родину» со стороны владыки и его палача, среди жертв которых был и цвет грузинской нации. Но действовали по принципу «каши маслом не испортишь».

И испортили.

Исход известен. На 5-й минуте Бобров открыл счет, на 21-й югославы сквитали, потом Эллису, проведшему, кстати, первый матч безупречно, показалось, что Башашкин в своей штрафной сыграл рукой, хотя мяч попал, по одним сведениям, в ключицу, по другим — в предплечье. Пенальти. 2:1.

А потом Игра кончилась. Двадцать изможденных, ничем друг перед другом не виноватых людей рубили и косили друг друга по ногам, толкали, швыряли друг другу в лицо ругательства и бессмыслицы политические обвинения (несомненно, и соперником наших перед матчем настраивали соответствующим образом)...

К концу от потери физических и моральных сил они даже бегать не могли. Капитан югославов Златко Чайковский брел к нашим воротам, ведя мяч, перед ним пытался Петров. «Иди на него!» — кричал ему Иванов, но он, похоже, не слышал. Чайковский и ударил-то метров с три-

дцати, потому что шагать дальше сил не было. Иванов угадал направление полета, но мяч попал Петрову в ногу, от нее в сетку, бесславно увенчив путь сборной на Олимпиаде.

В раздевалке за стеной хором пели югославы.

Наших тотчас загрузили в автобус и отправили в Отаниemi. Кто-то в салоне сказал: «Даже водички не догадались дать». В город не выпустили: вечером предстоял отъезд на Родину.

В Ленинграде на вокзале их никто не встретил, на трамвае добрались до окружного Дома офицеров. Сложна история этого осанистого здания на углу Литейного и Кирочной: когда-то там помещалось Офицерское собрание, после Революции — Петроградский комитет партии большевиков, позднее — Дом Красной Армии, где в сорок втором блокадном году собрали спортсменов — посланцев фронта и они под оркестр маршем прошли в Таврический сад, чтобы пребежать традиционный весенний кросс. Об этом событии, всколыхнувшем голодный и холодный город, вселившем надежду в сердца его жителей, написал первую газетную заметку молодой поэт Михаил Дудин. В сорок девятом в этом доме слушалось пресловутое «ленинградское дело»: одним из сфабриковавших его был подручный Берии Абакумов, которому в том же зале в пятьдесят четвертом году предстояло быть приговоренным к расстрелу.

На следующее утро, когда подъезжали к Москве (вспоминает Нырков), гадали — не то шутя, не то всерьез, — не повезут ли по колыбельной, минуя столицу, прямиком на северо-восток. Но поезд подошел к перрону, тут тоже никто не встречал. Разбрелись по домам.

Олимпиада еще продолжалась, но возобновился прерванный чемпионат страны: он в том году разыгрывался в один круг, предварительно было заявлено и начало борьбы 15 команд. 5 августа ЦДСА выиграл у «Динамо» (Москва) 1:0, 9 августа — у тбилисцев 3:2, 13-го — у «Крыльев Советов» 4:2. По календарю следующий матч предстоял с киевлянами 16-го...

5 августа в Хельсинки состоялось торжественное закрытие XV Олимпийских игр. Через несколько часов руководство делегации вылетело в Москву и во второй половине дня 6-го было вызвано в Кремль для отчета...

На председательском месте сидел Г. Маленков — «хозяин» отсутствовал. Н. А. Михайлов восседал среди «судей», вид имел непристойный. Особенную активность проявлял Берия, видя повод убрать главного соперника «Динамо» (нет тут вины орденоносного спортивного общества, основанного чекистами-дзержинцами), как до этого, посадив братьев Старостиных, убрал «Спартак»... Говорят, на том заседании Берия называл Аркадьева старым хлюпиком (Борису Андреевичушел 53-й год), паршивым аполитичным интеллигентиком и грязно ругался.

Настоящий русский интеллигент, патриот, но не квасного розлива, в пору «борьбы с космополитизмом» Аркадьев на мимоходом оброненный коварный вопрос, правда ли, что ему нравятся картины французских импрессионистов больше, чем родных передвижников, не обнуряясь, отвечал утвердительно. Аркадьев не подлаживался ни под каких меценатов. Дома открыто говорил, что Берия — личность мерзкая, рассказывал жене, как прямо с приемов в Георгиевском зале по случаю парадов физкультурников увозили в личную резиденцию сластолюбивого палаца приглянувшихся ему физкультурниц. Дочь Бориса Андреевича говорит, что отец ее был «инопланетянином».

Маленков удалился в апартаменты Самого. Вернувшись, передал его волю: сей же миг составить и представить бесседу Романова с журналистами об итогах Игр. Подчеркнуть успехи, коротко отметить недостатки. Примчались из «Правды» и «Известий». Через несколько часов Маленков унес текст, возвратился с указанием подчеркнуть еще успех атлетов братской Венгрии, занявших третье место, чехословацкого бегуна Затопека. Материал увезли в типографии, Романову и остальным велено было ехать в Комитет физкультуры и ждать.

Ночью последовал звонок Маленкова, был передан приказ — команду ЦДСА разогнать. Вопрос — нет сомнения — решил Сталин. Глубокий — и печальный — смысл имело написанное Нырковым: «Сборная выступала под флагом ЦДСА, мы воспринимали это как тактическую хитрость, но не знали, чем она для нас обернется». Маленков спросил Романова, правда ли, что армейцы были основой сборной, тот верноподданно подтвердил ложную версию. Не тогда ли впервые прозвучала носившаяся потом в воздухе роковая

для «команды лейтенантов» формула: «Проигрыш врагам равносителен утрате воинской частию знамени — в этом случае часть расформировывают, особо виновные подлежат каре». Заслуженные мастера спорта были лишены званий (кроме Боброва). В их числе — Аркадьев.

Сказано, что в безумии есть своя логика. Борис Андреевич пытался ее найти. Семье он пояснил: «Очевидно, надо показать, что поражение потерпел не весь наш футбол, а всего одна команда».

16 августа в день матча с «Динамо» (Киев) погода была ненастная, но не настолько, чтобы встречу отменить. Однако автобус за командой не пришел...

Так — без уведомления любителей футбола — в классе «А» стало в середине сезона не 15, а 14 команд. 4 сентября в календарном матче за коллектив г. Калинина (МВО) вышли играть Гринин и Демин, позднее появились остальные армейцы, в газетах их имен не упоминали.

Ныроков, партрорг, ходил на прием-к другу команды маршала Н. Н. Воронову: «Николай Николаевич, может быть, товарищу Сталину неправильно доложили? Играли ведь за сборную мы четверо, пусть нас отчислят, но почему команда должна страдать?» Воронов обещал навести справки, но при следующей встрече печально сказал, что ничего не может сделать. Ныроков не знал, что тогда над самим Вороновым нависла туча: в застенках Берии по указанию Сталина выколачивали из переводчицы времен боев с фашистами в Испании «компромат» на французского коммуниста-добровольца Вольтера (под этим псевдонимом фигурировал будущий Главный маршал артиллерии). Лишь мужество Норы Чето-девой спасло Воронова.

Если в газетах уже помещались квалифицированно сочиненные глумления «рабочих и колхозников» над «композиторами-формалистами» и «мухоловами-генетиками», то почему бы не организовать, так сказать, всефутбольное осуждение? В ЦГАОР, в особой папке, хранятся протоколы собраний команд класса «А» и «Б» по обсуждению приказа Комитета физкультуры (оказывается, был такой, хотя его и не видели) «Об участии команды ЦДСА в Олимпийских играх».

ОДО (Киев), начальник команды майор Лаевский: «Игроки ЦДСА Петров, Николаев, Бесков (?!), Крижевский (?) зазнанием и трусостью нанесли ущерб престижу советского спорта». «Крылья Советов» (Куйбышев), Гулевский: «За время пребывания под тренерством Аркадьева я ничему не научился, абсолютно не чувствовал поддержки, на меня смотрели как на жертву». BBC, Крижевский: «Полностью признаю вину, прошу дать возможность загладить».

На собрании «Спартака» сперва звучали вопросы. Парамонов: «Почему расформировали ЦДСА, если в сборной были игроки из других клубов? Тимаков: «Почему вся вина на Аркадьеве, разве Комитет стоял в стороне?» Терентьев: «Уточните все же, ЦДСА играл в Финляндии или сборная?» В. Мошкаркин, который вел собрание, беспрепятственно отвечал: «На товарищескую игру в Финляндию выезжал ЦДСА, он же — с добавлением игроков тбилисского (!) «Динамо» — выступал как сборная, а потому несет ответственность за провал». А дальше? «На меня Аркадьев произвел впечатление не тренера-воспитателя, а заблудившего философа, оторвавшегося от игроков, он видел в нас не живых людей, а механических работников» (Тимаков). «Мне была установка играть только на Боброва, что считало неправильным (Ильин). «Метод Аркадьева был построен на сплошной беготне, большим недостатком было отсутствие большевистской критики и самокритики, которую зажимал Аркадьев» (Нетто).

Выписку из этого протокола один из нас показал Игорю Александровичу Нетто — благородному, совестливому человеку». «Ничего, ничего подобного я не говорил! — удивился он.— О Борисе Андреевиче? Он был для меня кумир. И Ильин не говорил. Толик-то, пацан?.. Слушайте, а было ли вообще то собрание? Я лично не помню».

Вспоминается другой протокол — собрания рижской «Даугавы». Экземпляр написан о руки, к нему подклюют перепечатанный, но уже с несколько другим текстом, к нему еще печатный вариант, отличный и от второго...

15 января 1953 года, через два дня после сообщения ТАСС о раскрытии террористической группы «врачей-убийц», открылась Всесоюзная научно-методическая конференция по футболу.

Во вступительном слове зампред Комитета К. А. Андрианов сказал: «Наши так называемые ведущие тренеры Аркадьев и Бутусов показали свою несостоятельность, неспособ-

ность подготовить команду к Олимпиаде... Книги Аркадьева вредны, потому что уводят нас от установок советской школы, ее наступательного порыва...» Так была обозначена главная жертва.

С докладом выступил председатель всесоюзного тренерского совета А. А. Соколов. Опустим обязательный земной поклон величайшему из великих и его новому шедевру «Экономические проблемы социализма в СССР», которым надлежит руководствоваться нашему футболу. Приведем выдержки, в которых — квинтэссенция: «Тренер, оторвавшийся от масс игроков, безразлично относящийся к сигналам снизу, не способен давать новое направление. В этом отношении характерен Аркадьев — он не терпел критики, работа шла без творческого обсуждения, игроки его боялись, из-за своей любви к иностранным словам он был им непонятен... Заморочив умы различными теориями в области универсализма, в области техники, тактики, аполитично забыв о воспитании, он показал себя кичливым, зазнавшимся человеком. Как он реагировал на критику? Послушайте его перлы из выступления на тренерском совете. «По прошествии времени удивляюсь, сколько нами сделано ошибок. Мы не смогли найти к футbolistам индивидуального, интимного подхода». Скажите, пожалуйста, он пожелал интимности! На поводу у Аркадьева шли многие наши тренеры, принявшиеся рассуждать о путях совершенствования техники, а ведь нас путь Пеки Дементьева, многократные повторения упражнения с мячом где-нибудь на пустыре не устраивают, и пустыри ликвидируются — так же, как беспризорность. Нам нужно резкое повышение общей физической подготовки... А как выглядят наши тренеры с точки зрения идеологии? На тренерском совете я задал вопрос т. Маслову, над чем он сейчас работает в области марксизма-ленинизма. Т. Маслов замялся, потом ответил: «Я занимаюсь изучением биографии товарища Сталина». Понимаете? Тренер, а еще не изучил — вот его лицо... Мы, товарищи, должны бороться с проникновением к нам реакционной идеологии, что касается Аркадьева, то я думаю, мы еще проведем подробный разбор его книжки», мы это дело подымет».

Но тренеры в основном говорили о качестве полей, инвентаря, судейства либо вообще отмалчивались, и это по тем временам смело. Равно как сесть в зале рядом с Борисом Андреевичем, на что решился тренер «Трактора» Ю. Н. Ходотов, хотя ближние стулья пустовали. А на защиту встал Петр Зенкин, тренер команды города Калинина: «Почему это Борис Андреевич попал в такую опалу? А где был тренерский совет? Там, товарищи, как и в отделе футбола, боятся критики и самокритики, я это со всей ответственностью заявляю, там у них сплошная заручка». Светлая память храброму Зенкину.

Аркадьев не каялся, не посыпал пеплом и без того седую голову. Говорил, что, должно быть, не работал так, как нужно для советского футбола, мало подготовил молодых игроков: «Ради своего чемпионства мы недвигаем наш футбол вперед, этим я грешил». Говорил, что сборная была похожа на легендарных строителей Вавилонской башни, которые так и не заговорили одним языком...

Итоги подводил Андрианов, он был баగров и гневен. Нельзя зачеркнуть заслуги перед нашим спортом покойного вице-президента МОК, но из песни, тем более застенографированной, слова не выкинешь: «Вот что, товарищи, пишут трудающиеся: «Проиграв грязной клике Тито, команда ЦДСА опозорила не только себя, но и народ, всех людей, борющихся за мир во всем мире».

Страшную угрозу таили эти слова, но до смерти Сталина оставалось уже 48 дней...

* Книга Б. А. Аркадьева «Тактика футбольной игры» и поныне настольная книга каждого тренера.



Рисунок
И. Оффенбаха

Мне сегодня под утро Берия приснился. Вошел ко мне в спальню и говорил:

— Говори, что знаешь?

Я говорю:

— А-а... я и не знаю ничего! Я, если честно, только недавно узнал, что было пятьдесят лет назад. А что было вчера, у-узнаю, значит, только в... две тысячи тридцать восемьмом году!

И — скорее под одеяло! Ну, а он одеяло-то скидывает и говорит:

— Ладно, рассказывай, что знаешь! Как, — говорит, — сейчас со шпионами?

— Если честно, то мы настолько отстали, что можем интересовать теперь только археологов!

И — одеяло тяну к себе. А он вдруг ростом стал больше и говорит:

— А где сейчас наши?!

Я говорю:

— Если честно, то такое ощущение, что — везде! У меня т-такое ощущение, что это ваши специально не дают нам чай, кофе, молоко и квас, чтобы мы пили — в-водку! П-поезда, — говорю, — под откос пускают. А еще хотят народ без зимней одежды заморозить, как ф-французов в восемьсот двенадцатом году!

Тут он еще осанстее сделался, пунцовев.

— А как, — говорит, — с врачами-вредителями?

Я одеяло-то подтянул чуть повыше и говорю:

— Если честно, то такое ощущение, что ни врачей, ни вредителей сейчас вообще нет! Вот недавно, — говорю, — мой сосед пошел к зубному, так пока он в очереди просидел, зубы у него сами от старости выпали!

Гляжу, а гость-то ночной еще громаднее сделался.

— А как, — говорит, — с национальным вопросом?

Я одеяло-то поддернул немножко и говорю:

— Если честно, то з-за границей нас всех зовут русскими. Но сами мы даже Р-россию называем — Нечерноземье!

Тут гость раздулся — даже окно заслонил. Пенсне на носу — как фары автомобиля, который вот-вот задавит.

— А что, — говорит он из-под поголки, — сейчас на Колыме?

Ну, я одеяло уже почти на голову натянул.

— Если честно, — говорю, — лагерей нет, но с-с продуктами так же!

Сказал, смотрю — мать честная! — а он уже всю комнату собой занял, вот-вот дом развалит!

— А что, — спрашивает, — такое: перестройка? У нас на том свете... в ад, об этом много спорят. Иуда, — говорит, — особенно интересуется.

— Если честно, — говорит, — это когда каждый может п-показать, на что он с-способен. Но почему-то не каждый торопится показывать.

Сказал и — юрк быстрее под одеяло с головой. Ноги прижал к подбородку и затаялся. И тут слышу треск и чувствую — кто-то меня давит и душит.

«Мамочка милая, — думаю, — вот до чего наша пассивность довела!» И даже проснулся от страха. Смотрю: за окном рассвет бледный, а на мне — груда журналов, которые с полки упали.

«Ох, — думаю, — слава богу, что это все во сне было...»

Лев ЛАЙНЕР

ТЕНЬЩИКОВ В КОЛЫМОВЕ

На заседание художественного совета пришел молодой художник.

— Ну-с, юноша, — сказал председатель худсовета, — чем порадуете?

— Картину для выставки привнес, — отозвался художник.

Он развернул бумагу и выставил картину на обозрение.

На картине была изображена богато обставленная комната. В центре ее за столом сидели двое мужчин — один пожилой, один молодой и две женщины — в той же пропорции.

— Я реалист! — с надрывом сказал художник слегка обиженным тоном. — Все написано, как есть в квартире директора магазина Теньщиков! Вот две «Сони» с «Шарпом» — два телевизора с видеомагнитофоном! Вот хрустальная люстра с пятьюдесятью одной подвеской! Вот комбинированная мебель, кото-

рую в народе называют «стенка», из Югославии. В глубине ее — «стенки», а не Югославии — чайный сервиз на девяносто шесть персон!

— Н-да, — многозначительно сказал художественный мэтр со стажем. — Что-то во всем этом есть. Есть что-то... Вижу, что вы учились у старых мастеров. Даже названия как-то перекликаются. Помните у Сурикова — «Меншиков в Березове», а у вас — «Теньщиков в Колымове»... Н-да! Это радует...

Член худсовета — дама в роговых очках — задумчиво протянула:

— Скажите, я правильно угадала, что женщины, сидящие за столом, — супруга и дочь Теньщиков?

— Конечно, правильно, — охотно отозвался молодой художник.

— Скажите, — подхватил художественный мэтр со стажем, — а пра-

вильно ли я угадал, что мужчины, сидящие за столом, — это сын Теньщиков, который помоложе, и сам Теньщиков, который постарше...

— Конечно, неправильно, — бурно отреагировал молодой художник. — Это сотрудники ОБХСС.

Наступившее тягостное молчание разрядил председатель худсовета.

— И что же они делают? — спросил он осторожно.

— Как что? — удивился художник. — Составляют опись имущества.

— Послушайте, — в свою очередь удивился художественный мэтр со стажем, — но ведь ваша картина называется «Теньщиков в Колымове». Где же сам Теньщиков?

— Он и есть в Колымове, — опять охотно ответил молодой художник. — Есть такой симпатичный городок в Сибири.

— И что же он там делает? — задумчиво протянула член худсовета — дама в роговых очках.

— Как что? — еще раз удивился художник. — Срок отывает.

Федор ФИЛИППОВ

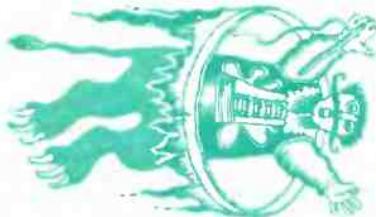
Цирковые гекзаметры

Дева в пространстве парит, впившись в загубник зубами,—
Вывод отсюда простой: пальца ей в рот не клади!

Публика охает дружно при каждом броске акробата,—
Лонжу лишь стоять — публика дружно свистит...

Мышцы стальные надув, гири тягают атлеты:
Точку опоры им дай — и поломают рычаг.

Как электроны в ядре, скачут джигиты по кругу!
Что остается, увы, им, коль арена кругла?!



Прыгает лев сквозь кольцо, грозно глядит дрессировщик...
Встретиться б в Африке им — кто бы запрыгал тогда?

Клоуны падают глупо — зрители громко хохочут,—
Очень приятно порой умным себя сознавать!

Жонглера увидев, и я попробовал дома, на кухне:
Двадцать тарелок — итог и от жены нагоняй!

Если из публики вдруг увалень выйдет отважный —
«Рыжим» окажется он, даже когда и брюнет!

Делает слон реверанс, хоботом машет игриво...
Жалко мне, други, слона: за что же животное так?!

Фокусник из котелков зайцев и кур вынимает...
Если б он в жизни так мог — стал бы народ потешать?

Держится обруч, крутясь на тренированием теле,—
В деле серьезном любом навык необходим!

Вот икарийские игры: ногами кидают друг друга...
Так из приемной иной вылетишь, как от пинка!

Шестеро на одного влезли — кряхтит он, но терпит...
Вот он, закон бытия: ишу взвалил — и неси!

Славное зрелище — цирк,— там насмеешься изрядно.
Все же на жизнь он похож больше, чем жизнь на него!



Рисунки В. Ковала

В номере:

Проза

Валерия НАРБИКОВА. Равновесие света дневных и ночных звезд. Повесть. Предисловие Андрея Битова. (15)

Бенедикт САРНОВ, Елена ЧУКОВСКАЯ. Случай Зощенко. Повесть в письмах и документах с прологом и эпилогом. (69).

Наследие

Надежда МАНДЕЛЬШТАМ. Воспоминания. Предисловие Михаила Поливанова. (34)

Поэзия

Николай ПАНЧЕНКО (30), Рудольф ОЛЬШЕВСКИЙ (31), Семен ЛИПКИН (32)

Иосиф БРОДСКИЙ. Стокгольм. Декабрь. 1987 (66). Стихи (67)

Публицистика

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ. Что же делать с этой молодежью? (2)
20-я комната. Заседание девятнадцатое (8)

На перекрестке надежд. Интервью с Олегом ПОПЦОВЫМ, секретарем МО СП РСФСР (62).

Культура и искусство

Олег КОКИН. «Борис и Глеб» — вновь с нами (33).

Наука

Всеволод МАРЬЯН. Помогите благу сбыться! (87)

Спорт

Станислав ТОКАРЕВ, Александр ГОРБУНОВ. Была команда ЦДКА... (90)

Зеленый портфель

Виктор КОКЛЮШКИН. Под одеялом (95)

Лев ЛАЙНЕР. Тенщиков в Колымове (95)

Федор ФИЛИППОВ. Цирковые гекзаметры (96)

Издательство ЦК КПСС «Правда»
Москва

Оформление обложки А. Сальникова
Главный художник О. Кокин
Художник Ю. Чижевский
Технический редактор О. Трепенок

Адрес редакции: 101524, ГСП, Москва,
К-б, ул. Горького, д. 32/1
Телефон для справок — 251-31-22

Сдано в набор 24.05.88. Подп. к печ. 07.07.88.
А 02012. Формат 84×60 1/4. Офсетная печать.
Усл. печ. л. 11,63. Усл. кр.-отт. 19,53.
Уч.-изд. л. 17,75. Тираж 3 100 000 экз.
Заказ № 2530.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда»,
125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24

© Издательство ЦК КПСС «Правда»,
«Юность», 1988 г.

**ЛЮДМИЛА
ФЕДОРЕНКО,
Фотоклуб «Зеркало».
г. Ленинград.**



Безбилетник.

Для каждого фотографа выставка его работ — большое событие в творчестве. И особенно заметно оно, когда происходит впервые, отделяя один этап осмыслиения окружающей действительности от другого. Именно такой стала первая в «Юности» экспозиция работ Людмилы Федоренко, всего несколько лет назад взявшей в руки фотоаппарат. Тогда, конечно, не думала и не мечтала Людмила, что станет участницей престижного и популярного ленинградского фотоклуба «Зеркало». Именно здесь сделала она свою первую экспозицию. Фотографии ее многое рассказывают о Ленинграде. Людмила в мягкой и лирической манере воссоздает портрет любимого города, останавливая свой чуткий взгляд на неповторимых ленинградских двориках, старинной архитектуре, подмечая жанровые сценки на улицах.

Не менее интересны созданные ею портреты, по которым видно ее желание передать черты характера и свое отношение к объекту съемки, свой взгляд на мир.

Ю. БЕЛОВ



Автопортрет.



Дождь.



Здравствуй, кот.

АНОНС

До конца этого года и в начале следующего читайте в нашем журнале:

- «Колымские рассказы» Варлама Шаламова и его переписку с Борисом Пастернаком,
- Лев Разгон — «Непридуманное» — продолжение книги,
- Антон Антонов-Овсеенко — повесть в документах «Берия»,
- Евгения Гинзбург — «Крутой маршрут»,
- Юрий Щербак — «Чернобыль», документальная повесть — вторая часть,
- монолог Владимира Войновича,
- Владимир Амлинский — «В марте 1953-го»,
- Андрей Битов — «Преподаватель симметрии» — вторая книга,
- Иван Твардовский — «Страницы пережитого» — продолжение книги,
- Рой Медведев — «Они окружали Сталина»,
- «Балкарцы: выселение и возвращение»,
- хроника: «Как судили Иосифа Бродского»,
- 20-я комната. Диалоги с читателем:
- «Все-таки: Тверь или Калинин? Мариуполь или Жданов?»
- «Информационный голод и независимая пресса»,
- «Альтернатива комсомолу — бред или реальность?»,
- поэма «Россия» Максимилиана Волошина,
- стихи Андрея Вознесенского, Наума Коржавина, Булата Окуджавы, Владимира Рецептера, Роберта Рождественского, Олега Чухонцева,
- «Испытательный стенд» — стихи и проза молодых.

Юность, 1988, № 8, 1—96
Индекс 71120
Цена 70 коп.

